ЮЖНОЕ СИЯНИЕ

Одесский
литературно-художественный
журнал

3 (39)'2021

Главный редактор
Станислав АЙДИНЯН

Выпускающий редактор
Сергей ГЛАВАЦКИЙ

Отдел поэзии
Людмила ШАРГА

Отдел прозы
Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

Отдел литературоведения
Евгений ДЕМЕНОК

Отдел литературной критики
Александр КАРПЕНКО

Общественный совет:
Евгений Голубовский (Одесса), Владимир Гутковский (Киев),
Олег Дрямин (Одесса), Олег Зайцев (Минск),
Вера Зубарева (Филадельфия), Андрей Костинский (Харьков),
Марина Матвеева (Симферополь), Юрий Работин (Одесса),
Олеся Рудягина (Кишинёв), Анна Стреминская (Одесса).

Свидетельство о регистрации: серия ОД № 1563-434-Р от 16.11.2011 г.
Учредитель – Общественная организация «Южнорусский Союз Писателей»

E-mail редакции: aurora_australis@lenta.ru
Интернет-версия журнала: ursp.org

© «Южное Сияние», 2021

В НОМЕРЕ

Станислав Айдинян. **Журналу «Южное Сияние» – 10 лет.** *Слово редактора* 4

ПОЭЗИЯ

Одесса: Сергей Главацкий. **Девять жизней.** *Цикл стихотворений* 6
Одесса – Санкт-Петербург: Ирина Дежева. **Почти родная первая звезда.** *Стихотворения* 13
Одесса: Татьяна Орбатова. **Рапсодия ночных окон.** *Стихотворения* 18

ПРОЗА

Одесса: Алексей Рубан. **Возвращение.** *Повесть* 22
Одесса – Нью-Йорк: Галина Ицкович. **Брат убил брата.** *Рассказ* 37

ПОЭЗИЯ

Одесса: Илья Рейдерман. **Между летальным и витальным.** *Стихотворения* 46
Одесса: Галина Маркелова. **Разве это не любовь?** *Стихотворения* 51
Одесса: Игорь Потоцкий. **Стихи из разных тетрадей** 57

ДРАМАТУРГИЯ

Одесса: Александр Хинт. **Завтра и вчера.** *Пьеса* 61

ПОЭЗИЯ

Киев: Елена Лазарева. **Коль скоро крылья отказали.** *Стихотворения* 75
Кишинёв: Наталья Новохатняя. **Окно и тысяча примет.** *Стихотворения* 80
Белгород: Александр Оберемок. **Трамвай Альтаир Бетельгейзе.** *Стихотворения* 84
Москва: Татьяна Аксёнова. **Чей отклик обликом весом.** *Стихотворения* 89

ПРОЗА

Одесса – Москва: Ольга Ильницкая. **С точки зрения яблока.** *Рассказы* 95

ПОЭЗИЯ

Москва: Виктор Коркия. **Стихи разных лет** 103
Курск – Москва: Александр В. Бубнов. **Тут я не вол – словен я тут.** *Палиндромические тексты 2021 года* 109
Борнмут: Борис Фабрикант. **И кажется, что всё произойдёт.** *Стихотворения* 113
Торонто: Александр Амчиславский. **Будто пробуешь будущее.** *Стихотворения* 117

ПРОЗА

Кишинёв: Наталья Родина. **Ненавистное имя.** *Документальная повесть* 120

«ОКОЕМ»

Архангельск: Майк Зиновкин. **Стихотворения** 147
Москва: Никита Брагин. **Стихотворения** 149
Петах-Тиква: Вадим Гройсман. **Стихотворения** 150
Москва: Ганна Шевченко. **Сказ о деревьях.** *Рассказ* 152
Москва: Илья Кришту́л. **Здесь и там.** *Рассказ* 154
Москва: Татьяна Попова. **Последние земляне Рая.** *Рассказ* 155
Рига: Алексей Жуков. **Счастье по акции.** *Рассказ* 158

‹ФОНОГРАФ›

Одесса: Валерий Нетребский. **Аура Сенной площади. Выстрел на Тверском бульваре.**
С предисловием Ст. Айдиняна 162

‹СЕТЧАТКА›

Москва: Галина Данильева. **Собачья площадка в лучах Арбатско-Поварских переулков** 167

‹ЛИТМУЗЕЙ›

Одесса: Евгений Деменок. **Давид Бурлюк. Сувениры.**
Стихи из альбома в парчовом переплёте. *Окончание* 181

‹КНИЖНАЯ ПОЛКА› ЕЛЕНЫ СЕВРЮГИНОЙ

В поисках «водяных» знаков. *О книге Светланы Андроник «Островенное»* 204
Угнать автобус и не опоздать на фестиваль. *О книге Аксаны Халвицкой «Синопсис о сапиенсах»* 207
Нет никаких гарантий, или поэзия «конца». *О книге Владиславы Ильинской «Анекдоты о дожде»* 209
Сквозь решето Эратосфена. *О книге Бориса Вольфсона «Канатоходец, или После постмодерна»* 211
Синдром Демиурга. *О книге Дмитрия Близнюка «Снегопад в стиле модерн»* 214

‹КНИЖНАЯ ПОЛКА› АЛЕКСАНДРА КАРПЕНКО

Сердца четырёх, или Любовный квадрат Андрея Баранова. *Заметки о романе «Полёт бабочки»* 217
Кино на бумаге, или Двойное зеркало мира. *О книге Светланы Астрецовой «Зеркальный лабиринт»* 219
Жизнь как обратная перспектива Бога. *О книге Александра Лазарева «Жисть»* 221
«Небо как плащаница». *О книге Константина Кедрова «Взметаметафора»* 223
Поэт полусвета, или Раскадровка жизни Юрия Влодова.
О книге Людмилы Осокиной «Фильмы о Юрии Влодове» 225
«Заговорённые». Окольцованная бесконечность. *О книге Лады Миллер «Заговорённые»* 227
«Родина – значит любовь». *О «Еврейской книге» Бориса Фабриканта* 229
«Ластвуйся и высотствуй». Летопись лета и полёта. *О книге Германа Власова «Пузыри на асфальте»* 231

‹ШКАФ›

Коломна: Александр Руднев. **«Зачем мы, поэты, живём?».** *О творчестве Ильи Рейдермана* 234

ЖУРНАЛУ «ЮЖНОЕ СИЯНИЕ» – 10 ЛЕТ

Журнал «Южное Сияние» был, по мнению его друзей, изданием с большим будущим, теперь он стал изданием с немалым прошлым. Десять лет отделяют нас от сентября 2011 года, когда вышел первый номер. Он начался в другое, более светлое, более лёгкое время.

С тех пор журнал остаётся литературно-художественным и ежеквартальным. Согласно реалиям сегодняшнего дня очень существенно, что помимо «бумажного», как правило, небольшого тиража, каждый выпуск находит отражение на сетевых порталах «Мегалит», «Журнальный мир», «ЛитБук», «Интелрос», «Lit-Web» и др.

Основателем журнала, как и Южнорусского Союза Писателей, чьим органом издание является, справедливо нужно назвать Сергея Главацкого, который с первого дня существования и по сей день стоит на посту выпускающего редактора и во многом определяет состав номеров, их литературное наполнение и направление. Немало сил и времени в литературную часть деятельности вкладывают верные соратники С. Главацкого – заведующая отделом поэзии Людмила Шарга, заведующая отделом прозы Ольга Ильницкая, заведующий отделом литературоведения Евгений Деменок, заведующий отделом критики Александр Карпенко. Деятельное участие в работе отдела критики принимает Елена Севрюгина, ведущая свою «Книжную полку».

У журнала сложился свой круг авторов, большинство из них – члены ЮРСП. Но есть и зарубежные авторы, представляющие все стороны горизонта. Кроме Украины, России, Беларуси, Молдовы, авторы живут в США, Канаде, Германии, Франции, Израиле и т.д. Большей частью это уже состоявшиеся, зрелые творцы, присылающие в редакцию поэзию, прозу, литературоведческие и критические материалы. Известна особая любовь издания к наследию Серебряного века. Были опубликованы статьи, исследования, посвящённые Ивану Бунину, Николаю Гумилёву, Антону Чехову, сестрам Марине и Анастасии Цветаевым, Велимиру Хлебникову, Григорию Петникову, Михаилу Зенкевичу, Михаилу Булгакову, Аркадию Аверченко, Анатолию Виноградову и многим, многим другим.

«Южное Сияние» не раз предоставляло страницы для отражения современных актуальных событий, как, например, творчеству лауреатов Международного арт-фестиваля «Провинция у моря», международного поэтического конкурса «45-й калибр», победителям международного Грушинского интернет-конкурса и Международной премии им. Игоря Царёва.

При выборе материалов, идущих в номер, редколлегия предпочтение отдаёт не тем, кто творит в русле принятой литературной моды, а современным авторам с «лица необщим выражением», по выражению Е.А. Боратынского, – то есть имеющим свой литературный «нерв», свой голос и свою поэтическую или прозаическую «тональность», определённо отличающую от других пишущих. Писатель, поэт не может оставаться только холодным экспериментатором. Эмоции эстетически оснащённые, сопряжённые с гармоническим строем Вселенной – это то, что отличает вошедших в мировые антологии… Яркий талант заметен издалека и, как правило, проявляется рано. И если такой талант, молодое дарование попадает в поле зрения, то находит своё место в оглавлении очередного номера. Только это если получилось художественное произведение, а не первые, робкие пробы пера, – для таких текстов есть сугубо молодёжные издания. Иной раз мы сталкиваемся с распространённым, к сожалению, явлением, когда авторы, вопреки объявленному намерению редакции не вступать в переписку или полемику с присылающими свои тексты, всё же шлют уже много раз опубликованные в других журналах, альманахах, порталах старые опусы. Однако перед публикацией идёт предварительная проверка, не допускающая тиражированных давних сочинений писателей, чей девиз – «печататься всегда, везде, любой ценой!».

В 2020 году, заканчивая рецензию, названную «Южное Сияние в разгар затишья» на 4 номер года, Лара Ольгина в «Литературной газете» писала – «Думается, что долгие зимние вечера вполне можно посвятить увлекательному и интеллектуальному чтению, которое представляет на суд читателя «Южное Сияние» (04.12.2020). Вот такие северные слова о южном издании…

Отрадно сознавать, что и наши постоянные авторы, известные писатели, тепло отзываются на десятилетие журнала, на его юбилей. Ярким примером может служить поздравление главного редактора альманаха «Диалог» Рады Полищук – «Поздравляю с юбилеем ЮС, с новым юбилейным выпуском! Это большое и радостное событие. Долгий путь пройден – нервы, силы, бессонные ночи, блестящие находки, радостные открытия и ожидание – что там впереди. Увлекательное путешествие! По себе знаю и желаю ПРОДОЛЖЕНИЯ! Всем большой привет, всех поздравляю. Доброго пути! Всего самого хорошего. Рада».

И таких тёплых поздравлений со всех концов планеты редакция получила немало.

Станислав Айдинян, *главный редактор литературно-художественного журнала «Южное Сияние», заместитель председателя Южнорусского Союза Писателей, действительный член Российской академии художественной критики, действительный член Европейской академии естественных наук, действительный член Международной академии современных искусств, член учёного совета Литературно-художественного музея М. и А. Цветаевых*

СЕРГЕЙ ГЛАВАЦКИЙ

ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
цикл стихотворений

I

я так хотел, чтоб океан
в окольных розовых пещерах
пел атональным василиском
тому, кто зёрна разбросал,
а мы курили фимиам
и принимали то на веру,
что можжевельник с тамариском
способны нас вернуть назад.

прости, я был неправ, прости,
во мне всегда идут сраженья,
и ослепительные рощи
с нечеловеческим лицом,
заискивая у жар-птиц,
обыскивают отраженья
и продвигаются на ощупь
к осаде огненных лесов,

как будто еры на-гора,
чтоб можно было возвратиться
в эпоху броских слов на ветер,
в бассейн нежности ночной,
в любое вечное вчера,
в любую паузу сторицей,
когда лишь оттого я светел,
что ночь стоит передо мной,

как будто это в первый раз,
и все слова в далёкий космос
сутулой радиоволною
не замурованы уже,
в любой шалаш, в любой гараж,
боготворя обратный осмос,
чтоб разбудить в нас неземное
и улыбнуться дать душе.

и в этом смысл. этот зов
назад мы источаем сами,
не обнаружены глазами
судьбы и выброшены за
объём дыханья парусов,
распотрошённых полюсами,
над осаждёнными лесами,
в литраж дыхания Творца.

II. ЯЩИК ПАНДОРЫ

Кипящего счастья вериги,
Признаний клокочущий яд
Вошли в наши тонкие книги,
Что молча на полках стоят.

И был ли у книг этих автор?
Кто замер на этих листах?
Но летом слова были правдой,
Чтоб ложью по осени стать.

И что есть безумью мерило,
Когда, оттолкнув волшебство,
Ты ящик Пандоры открыла
И сразу закрыла его?

И где справедливости сила,
Когда, для других умерев,
В июне себя мне вручила,
Сквозь пальцы ушла в сентябре?

Шаги словно мили морские,
Печаль словно вязкий Гольфстрим…
Сплотились все в мире стихии
В попытках тебя покорить.

Склонились над нами иконы,
Дороги сошлись в один путь,
Сцепились все в мире законы
В желании лето вернуть.

Но нам бы подальше от чуда,
Чтоб спрятаться наверняка.
Соскучившись через минуту,
Увидимся через века.

Удушье, как в сердце горилла,
Ведёт меня на эшафот.
Ты ящик Пандоры открыла
И тут же закрыла его.

III. ПРОЕЗДНЫЕ БИЛЕТЫ

Потом пожалеешь, что изморозь в пальцах,
Зенит мельтешит, как фантом акробата,
Проворный, как чучело неандертальца,
И брезжущий, словно погост вороватый.

Значительно позже, когда перестанешь,
Посетуешь на каменеющий иней,
И вспомнишь одно из погибших свиданий,
Красивое, словно пожары на льдине.

Потом пропадёшь, как апрельская вьюга,
Надышишь на несколько слов кислорода,
Тогда и начнётся твоя Кали-Юга,
Тогда и зачнётся исподняя крода.

Что масса протона нам, *что* – скорость света,
Янтарные горлицы в айсбергах – навзничь? –
Рассвет и закат проездные билеты
Крадут в одной кассе, и нас ими дразнят.

Мы просто проходим. Как боль из предсердий.
Вплотную друг у другу. Не видя ни знака.
Как будто так надо, так надо для смерти,
Для той, для которой любой – одинаков.

Ведь мы оцифрованы ею с рожденья,
Мы – лишь вероятностей наших останки,
А солнце двуликое шлёт нам виденье:
У каждого в жизни свои полустанки.

Мерещится явь, прикипевшая к ножнам,
И суть без названья бросается в ноги,
И нам наше имя покажется ложным,
И в облаке встретят нас лживые боги.

Пока же – гляди, как возводится Китеж,
И мы ещё живы, пусть воздух прохладней,
На том полустанке рассвета увидишь
Незримое облако из голубятни.

IV. ЧАСТИЧКА МОЕГО АДА

Как и шестнадцать лет назад,
Я не смотрю тебе в глаза,
Не засыпаю, глядя в них –
Мы не одни, но мы – одни.

Как и шестнадцать лет назад,
Я в каждой нашей встрече – сам,
Я помню каждый божий миг,
Пока мы помнимся людьми,

Я верю сказанным словам,
Нам больше нечего скрывать,
Ты всех забыла, ты со мной,
С моей проклятой тишиной.

*

Стоп-кадр мой, моя река,
Я номер старый твой храню,
Шестнадцать лет я жду звонка
И сам, как телефон, звеню.

Смотрю тебя – всегда, везде,
Как чёрно-белое кино,
И в самой тёмной темноте
Цветным мне кажется оно,

И, точно брошенный слепой,
Забыв, что фильм давно отснят,
Шестнадцать лет живу с тобой,
Как ты шестнадцать – без меня.

V.

Через тысячи проклятых лет
У истории мира в подбрюшье
Я смогу Ей сказать своё «нет»,
И забрать у Неё свою душу.

По моим безымянным костям
Не ходить ни жене, ни шалаве.
Отрезая себя по частям,
Ничего от себя не оставить,

Разметать этот садик камней,
Растолочь, в мезосфере развеять,
Чтоб не помнил ни атом о Ней,
Этой крайне существенной фее,

Истребить, как волшебный пейот,
Каждый атом истлевшего тела,
Потому что он помнит Её,
Как всё тело моё помнит в целом!

Вместе с ним, не жалея корней,
Уморить, задушить свою память,
Чтоб ни кадра на кадре – о Ней,
Этой крайне вещественной даме…

Разорвать, как последний койот,
Каждый атом души, как заразу,
Потому что он любит Её –
Так, как любят все атомы сразу!

Только так, только так, только так
Стать пожарищу той целлюлозой,
Что не помнит свой прошлый гулаг,
Прошлой жизни тягучую прозу.

Только так стаей белых листов,
О себе позабыв подчистую,
Стать тому, кто веками готов
Куковать без Неё вхолостую.

Расколдованный, выйду в тираж,
Буду к людям искусственным ближе.
Но как только замёрзнет мираж,
Наяву тебя снова увижу.

…Пусть в камине горит чистый лист –
Ты на пачку бумаги умножь всё,
И, узнав, как мой обморок чист,
От меня ты сама отречёшься.

VI. ИЗ ЖИЗНИ ТУМАНА

Острова в тихом омуте, как гематомы.
Посреди океана динамик лагуны.
В моей памяти ширится наша истома,
В твоей памяти вновь расцветают лакуны.

Эти чётки гипноза, цианистый синтез,
Симбиоз небывалого и бытового…
Для тебя это некий вещественный index,
Для меня – это вечный существенный повод.

Не судьба, говоришь. Но судьба – кто такая?
Не знаком. Я к тебе каждой клеточкой ближе.
А динамик лагуны всю ночь громыхает,
И пустоты твои – мою память услышат.

Для тебя это что-то из внутренних фото,
Тайной жизни тумана, тылов расстоянья…
Для меня же – сиамский близнец небосвода,
Наяву переснившийся codex слиянья,

Что качается в памяти, как паутина,
Как живая единоутробная небыль,
Древний атлас исхода из-под гильотины
Без услуг кукловода, без зебры до склепа…

Для тебя это что-нибудь вроде кроссворда,
Череда нежных встреч наподобье пунктира,
Для меня же – инкарнационная хорда,
Наизусть пережитая летопись мира.

VII. ОКНО НЕВОЗМОЖНОСТЕЙ

Окно невозможностей настежь открыто
В дополненную нереальность спасенья.
Но в точке Лагранжа ты сходишь с орбиты
И падаешь в вечный Гольфстрим воскресенья.

У леса язык заплетается к ночи,
А длинные руки ночных океанов
Хватаются за колокольные очи
И внутренних будят во мне великанов.

Мой мир совершенный, где зло – на шампуре,
Где напрочь отсутствуют первопричины,
Где маятник стал нечувствителен к буре,
И сон тишины громовой – чертовщина,

Он есть, он заведомо в нас существует,
Он вывернут будет потом наизнанку,
И внутренний мир станет внешним не всуе,
А вследствие нашего с небом цугцванга.

И мир мой с твоим миром объединится,
И общий наш внутренний мир станет дивом,
Таков подноготный закон небылицы,
Хорошая, вечная, прямо из мифа,

Мечта под тропическим ливнем салютов,
Ты снилась де-юре и станешь де-факто,
Ты этого хочешь, ты веруешь в чудо,
Ведь всё, что ты видела – сны катаракты,

Закинувшей якорь в исподнее зренья.
Окутавшей коконом небо седое…
Но внутренний мир не приемлет старенья,
Мы с лиц своих смоем живою водою

Весь морок цыганский от Взрыва большого,
И внутренний мир наш, двух зрений зигота,
Для всех станет домом, дворцом изразцовым,
Исходным – грядущему новому – кодом.

VIII. ЖИЗНЬ ДЕВЯТАЯ

Ты спросишь меня, отчего
Живу не за руку с судьбою,
Себя потеряв самого,
Ничуть не дружа с головою.

Ты спросишь меня, почему
Я жизнь свою так изувечил,
Зачем торопился во тьму?
А я тебе сразу отвечу:

Вся спешка моя оттого,
Что мне без тебя неуютно,
Что жизнь без огня твоего
Бессмысленна и безрассудна,

Исчезли у радуг цвета,
А звуки – всего колебанья,
И скомкана прана – до льда,
И выжата – до основанья.

И чаще стараешься спать,
Чтоб жить в сновиденьях иначе,
С твоей западнёю, судьба,
С твоим поцелуем горячим.

Вот давеча снилось: вдвоём
С тобой Новый год мы встречаем,
И чайки клюют водоём,
И счастливы мы больше чаек,

И в чьих-то палатах чужих,
В которых случайно осели
И нас там забыли, лежим
На чьей-то измятой постели.

Проснёшься, а боль – белый шар,
Кружащийся, гладкий, нейтронный,
В котором витает душа
Беспомощным высохшим дроном,

И нет ни намёка на то,
Что боль состоит из молекул,
Что шар распадётся потом,
Когда-то в грядущем, как лего.

Ведь вся эта жизнь – как клубок,
Который распутать не в силах,
И только снаружи есть бог,
А выше, чем бог, лишь могила.

IX.

широколиственная церковь
металлургических религий
в себе скрывает хороводы
доисторических офелий
а смысл жизни исковеркан,
мечты недетские безлики,
и жизнь – не больше, чем работа,
и смерть проходит свой афелий.

так *welcome, maybe, baby, welcome*
туда, где конвергентный скрежет,
где мнемонически опасны
зеркальные сквозные глуби,
где абразивной дрелью белка
грызёт извечный свой орешек,
и тридцать витязей прекрасных
ветвь под русалкой дружно рубят.

неважно, что в душе ты птица
и что тебе всегда семнадцать, –
как дерево, темнеют сказки,
мечты ссыхаются, как глина,
жизнь превращает в небылицы
всех тех, кто мог к тебе примчаться,
и после всяческой утряски
поймёшь, что ты и сам – былина.

ИРИНА ДЕЖЕВА

ПОЧТИ РОДНАЯ ПЕРВАЯ ЗВЕЗДА

***

Ты. Несут капусту и шербет
И столько милых лиц, как кажется, повсюду
Давай не будем брать сервант с посудой
До первых царских я не дотяну
Временщиков, затягивающих платья
В вечном насморке, гляссе и в рыжике пальто
За молоток повесят
Накладные братья
Фигой чекан уложат смузи дэвы
Наложенным блиндажом
Как под нижней губой
Собирался пот
Лошадиный Лувр
И бабочка из-под Набокова
Ты пас скот, пас, снёс
Смог на поскот
Песок смыл, просеял, и выпасся
Явился и забродила я
Как Тот порыв
Любовной милости переполняясь
Смятенье и росу протягивая и прося
Не умирать
Не жить не улыбаясь
Мы. Внесли поправки. И конвой
Так нов, как кажется, повсюду
Давай возьмём лишь мелкую посуду
Я всё же обещала
В трепетном молчанье
Ополченской каждой твари
Когда всё кончится
Немного покурить…

***

Впору рвануть в камины
Каменным графитом
Сырым нутром
Скрошены цели, цепи, морские липы
У меня есть своя, – говорит эпоха –
Ложка. Свисло дно
Я как плохая наследница, наездница и протоиерей

Отхоже горьких загорелых суток
Из фрамуги гласных – цепной спектакль
То льнёт как лён. То лён, то бес
Сыскарь, вратарь и прибауток
Сузились ветры до мечты
И стрельнули
Полныя веры чудесе
Ты клён, конечно, диспетчер миленькой
Ты выдумал простейшее и сник
Прикинувшись сперва слепым и спешным
Оркестром хиленьким
Потом слегка златым
Излишне пьяным
Выглядел конец сановничьей рубашки
Явь как падаль падала, падала
И светился нежно
Грустный незаметный лик…

***

на ушники на ручники на мордники
на лобное на грудное на тельное
на бёдра на колени на погоны на персты
О шея, падая и брея
коптит и вязнет
вязнет и кипит
копна твоих несносно вычурных
на день немного чёрное и ласковое Время
на нос на полторы секунды
на цветы на горб
на думай и ползи
ан нет
на жито на мороз на пару слаще
на сказано на пето на века
на соль на перец на компот
как на свиданье на кол
на горе ты прав
на много ярче
почти родная первая звезда…

***

Набросай кресты на голос
Под огонь славнейший град
Просит Он, но там же млад
То ли чей-то сивый Космос
То ли вскользь пустой парад
Будет рад, что мы однажды
Не притёрлись
Вера спит
Стена пожухшая журчит
Ей можно помнить
Двоемирье и потоп
Бесед и монологов
Сутью забросай кусты кто млад
И прячься, сваливай, беги

И мри себе, но мне не сообщай
Подробностей любовного абсцесса
С животными или с принцессой
Мне пусто уж давно где несвят
Горы спят
И там, на берегу
Смолчишь
Или расскажешь…

***

Я поняла, ты манка
Ты каша манная в носке
Как в сне смеющимся однажды
На остром ржавом козырьке
Ты три минуты выдержать приманку
Не смеешь. Праща не горит
Восходит кипятком Помпея
И судорожь поёт Магритт
И все зацепки бесполезны
И тушь моя за облака
Слегка махнула
Драмы слезли
И съели плёнку с молока
Дыши, порог
Ты суть и запах
Ток благолепного сурка
Скорбит отчаянье и запад…
А то и сыпет
Белкину
Белую лепту
В здешнюю пяту
Манная крупа

UNDA

Ты видишь то, чего не вижу я
Так засыпает облако теплом и пахлавой
На молодом сугробе
Unda глубину индикта
Проорёт цикадой
И плесень в благородном сне
Как красно-голубой покой покажет
Так как же мне любить
Не зная смертных, праздник
Постыдная икра
И слежка прототипных вёрст
Потопы снятся светлякам
И потому иссох пергамент
Не обратив вниманье
В колыбельной позе
На поцелуи в небеса
Ни смерти, ни тебя
Ни мать не знает обособленных
При верфи, при лампасах
Кто тебя захочет полюбить

Однажды отпуская
Как улику
Ту наводную свечу
А тот и спросит
На Парнасе
Здрасьте
Ваш я?

***

Войди в мой ад с утра
Так мудренее
Запатентуй Луну
И пару вещих снов
Искусанная самой жирной елью
Как будто годна
Но на что?
Я так хочу, чтоб это были строки
Мне б только взгляд
Мне б только взгляд
Войди в мой рай в ночи
И смой пороки
Ты пойман, безоружен, взят
Война, любимый
Правды с горем
Не пульс, не соль, не авангард
Чуть-чуть разбавленные корни
И мчится тройка наугад…

***

Стоит ли сей
Купринский, Достоевский, Пушкинский
Матрац давнишних грозных слёз
Столетней крови я давлю фасад
В психозе схож и предок, и предатель
Ной, родной, не то что плачу
Всем ветра пасли
Наполовину хищных львов
В Бизерте все ль слабы
Когда и пропасть, и провал
В надежде на пути к восточной смерти
Чтобы в ничто нигде
С детьми тот век играл …

***

My dear soul
Ideal ра
Падёт весна
И все поднимут
Тон в тон закапает вода
И спев как диво
В дуб навылет
Sa va мой друг

Sa va конечно ты ответишь
И пропиликает фа фа диез фа наземная среза
Как вымру и раскаюсь за тебя
Как плачут дети
Но что поделать? Что поделать
Мы подошли под маску Шеллок
Купили нож с отливом туши
Руфь больше ждёт
Когда потушат
Все звёзды, горе, знамя, зев
Мой дорогой прозрачный голос
Красивых рук красивый жест
My spring will fall
And everyone will raise
И так похож наш деревянный путь на сухость
Нотр-дам…

***

И отведён в толпу тот взгляд
На каганат
Уж пуст
Разбавлен солью
Сорванных из-под полы цыплят
Меридианом, непогодой, скудной ролью
Шах нам, мат
И мать
А им взлетать
И парки огибать консолью
Ритм и порох
Зарожденья Бытия
Тот взгляд давно отпущен
И наша кровь – пароль
Как будто лучше
Падать и смереть
Должна…

ТАТЬЯНА ОРБАТОВА

РАПСОДИЯ НОЧНЫХ ОКОН

ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА

Выдохнут детство своё, скажут: мы были.
Скажут: глядели сквозь небо и землю,
жгли травяную память.
Долгие проводы, значит, короткие крылья.
Скажут: когда мы забыли себя,
небо кололи шипами.
Выдох глубокий, как сон. Бездорожья узоры.
Чтобы идти, недостаточно слова «дорога».
Скажут: а роза упала на лапу Азора,
рабскую волю его оцарапав немного.
Свет перекрёстков, как путь в облака отражений,
в слёзы, что угля чернее,
в силу, что жаждой змеится.
Скажут: любовь – очевидный закон умножений,
яблочный пудинг – на завтрак – с мечтой и корицей.
Зубик молочный уносит бесстрастная фея
в атомный хаос. Белеет журавль Нагасаки.
Вечер облатками полон. От жизни мертвея,
каждый рождённый – гуляющий зверь в зодиаке.
Каждый с заглавной записан в единую книгу.
Роза ветров на закладке с лавандовым цветом.
Скажут: пусть роза упала, но есть земляника,
новое имя и путь в безымянное лето.

ВСПОМИНАЯ ДОЖДЬ

Вспоминая дождь, говорю – жара.
Мне бы ливней долгие вечера.
В небе плуг – по кукольным нитям вжик,
по мечтам заоблачным – кто там жив?
Раскалился воздух, и водосток
не поёт.
Июль, окна – на восток.
В прошлом – запад, Вудсток и рок-н-ролл,
но недавно дождь сказал: богомол.
Он всегда был в памяти – богомол,
и обряд с мячом или футбол,
и поля сражений или круги,
heavy metal, золото и долги.
Богомол.
Он жив, но на бис – один,
словно Гильгамеш или Аладдин.

Вязнет мушка в мифах и в янтаре,
взят «на мушку» Зигфрид в большой игре,
на игре помешанный гитарист
в полупрофиль вылитый Ференц Лист.
Вспоминая дождь, говорю – потоп.
Пусть Эзопу он на один глоток,
но по морю пенному вечерком
чей-то мальчик шествует босиком.
Он кому-то шепчет: иди, иди.
И идут дожди вслед за ним… дожди.

РАПСОДИЯ НОЧНЫХ ОКОН, или ТЕНЕВОЕ

«Архетипы походят на ложа рек,
высохших, потому что их покинула вода,
которая может вернуться в любое время».
Карл Густав Юнг «Вотан»

1.

Сказать бы многое – от встреч
до направленья взгляда.
Дано словам куда-то течь
в пределах звукоряда.
Сказать о солнце над пчелой
напевными псалмами…
Но говорила тьма со мной
знакомыми словами –
о долгом времени своём
в оконной крестовине.
Чирикнул вечер воробьём,
не лёгок на помине,
и пульса нить почти в натяг,
и воздуха – на выдох,
и сон на глаз кладёт медяк,
второй медяк не выдав.

2.

Всего-то ночь и мотылька полёт,
но тень его – трепещущая сила.
Ужасна тень, а мотылёк красивый,
он словно Богу ужин подаёт.
Безмолвный гость, но звук его пыльцы,
слетел на пыль оконную до срока
глубоким эхом, словом или слогом,
напомнив мне усиленное «рцы».

3.

На кисточках небесного зонта
давно исчезла линия заката.
Душа моя на краешке окна
глядела, как ягнят пасёт Геката.
Похожие на юные стихи,
на чёрный пепел писем и видений,
на свод имён, на гласы панихид,
но глубже вдоха, времени, идеи.

Теснясь на разветвлении дорог,
кудряшками впечатываясь в космос,
они дышали тьмой и пили срок
в своём порядке до озноба костном.
Направо – ели сёмгу рыбаки,
налево – пятилистники сирени
искали девы, наперегонки
бежали их взлохмаченные тени
в попытке уплотниться веществом,
в желании одном – осуществиться.
И был казённый мир большим окном,
в котором тени обретали лица.

4.

Птиц не слыхать – по ту сторону дерева
тайное имя полётами меряют.
Некуда выше, лишь вдаль и вокруг,
или – на ангельский луг.

Рыб не видать – по ту сторону вод
лепят из старого слова восход,
чем-то сродни невесомой плотине
с каплей тенаровой сини.

Спит южный город в сиянье огней,
и просыпается болью камней.
Свет по ту сторону окон –
всё ещё лунное око.

Всё ещё сон. Голоса по ту сторону,
снова зовут меня рыбы и вороны,
чтобы сказать, как бессмыслен вопрос
там – по ту сторону грёз.

5.

Небо распахнулось, сквозняком
в дом вошло, качаются от ветра
аспидные брички облаков.
Кто-то тянет: на Большом Каретном…
Стук-постук копыта. Не спешат
вечности безликие служаки –
ждут, пока неведомый левша
цепь куёт блохе большой собаки.
Кажется, нет яда горячей,
чем из пасти сумрачного зверя.
Рыбы, звери – окнами ночей
в сон приходят к каждому – по вере.
Мама мыла раму, – говорят
и плывут по облачному краю.
Раму мыть – запутанный обряд –
раму надо мыть, не умирая.
Если же тоска весомей рам,
ночь доносит давний плач Рахили.
Матерь Божья… – шепчут до утра
яблони, что не плодоносили.

6.

Хай-тек, барокко и ампир…
Но цирк всегда один – бродячий.
Когда болезнь качнула мир,
он стал одышливым, сидячим.
И маска справилась с лицом,
и каждый знал свой список окон,
лишь тень беспутным двойником
могла пройти сквозь поры стёкол.
Струись, Летейская вода,
теки, текила, шерри-бренди,
от буйства тени до стыда
за общий дух, что разом сбрендил.
Ветошный воздух или круг
в пространстве вечных геометрий…
Но, может, новый Флеминг вдруг
напишет бога в чашке Петри.
И незачем тогда кричать
в своём раю седому Мунку,
и ангел – главную печать
положит в старенькую сумку.

7.

…Слышу древний распев. Но во сне плачет город.
Город падает крышами в ноги соборов,
осыпается шёпотом стен до утра,
и клубится по взлётной, до гребня крыла.

Город-камень и свет, или город-дитя
от зачатия до гробового гвоздя,
и ведёт его за руку море,
не шумит, не бунтует – глаголет.

Город – звук, собиратель домов и людей,
моё имя возьми на растопку, владей, –
пусть потянется дымом за чайкой
и утешится рифмой случайной.

———

ВНОВЬ

Вечер, туман, свобода
слов, отмолчавших в кровь.
Где-то начало года
значит «как будто вновь».
Вновь испечённым хлебом
выдохнет чья-то печь.
Между землёй и небом
ветра хмельного речь.
Между окном и птицей
с бездной играет век:
будет тебе землица,
будет и человек.

АЛЕКСЕЙ РУБАН

ВОЗВРАЩЕНИЕ
повесть

Мальчик за столиком замер с полуоткрытым ртом. Полина улыбнулась, отсалютовала ему флягой и сделала глоток. Коньяк побежал по сосудам, мгновенно ударив в голову, – почти забытые ощущения человека, ограничивающегося двумя бокалами вина в праздничный день. Мальчишка не отрывал от неё глаз, угловатый подросток в выгоревшей на солнце майке и бейсболке, из-под которой лезли во все стороны непослушные светлые волосы. Не удержавшись, Полина показала ему язык, ещё раз приложилась к нагревшемуся металлическому горлышку, убрала флягу в рюкзак и не спеша тронулась с места. Пройдя с десяток метров, она остановилась и обернулась. К столу, на котором нехитрые безделушки из камня и ракушек пытались поймать взгляд гостя города, подплывала толстуха в сарафане и гигантских размеров шляпе, по-видимому, мать юного коммерсанта. Заложник удивления, мальчик продолжал смотреть в одну сторону, и только шлепок родительской ладони между лопаток вывел его из оцепенения. Полина удовлетворённо хлопнула себя по бедру и продолжила путь.

Двадцатью минутами ранее её машина въехала в ворота автостоянки. Женщина в строгом брючном костюме тёмно-синего цвета, лёгкий макияж, волосы уложены в стильную причёску, вышла из салона. К ней приблизился некто в форменном комбинезоне, они перекинулись десятком фраз, несколько купюр перешли из рук в руки. Женщина завела машину в указанное место, выключила двигатель и потянулась за примостившимся на заднем сиденье рюкзаком. Четверть часа спустя возле авто стояла Полина в джинсах и футболке, со стянутыми в хвост волосами, без следа косметики на лице. Она с наслаждением потянулась, подставляя лицо разогревавшемуся для очередной тепловой атаки солнцу, и пружинистым шагом пошла к выходу под аккомпанемент чмоканья об асфальт новых кроссовок. Выйдя за ворота, она встретилась взглядом с ракушечным мальчишкой, незадолго до этого наблюдавшим за явлением солидной дамы не первой молодости. «Это знак», – подумала Полина. Перед самым поворотом, за которым открывалась площадь, она остановилась у зеркальной витрины магазина одежды. Там, в таинственном мире, где рождаются отражения, она видела своё лицо, идеальную внешность для шпиона или вора-карманника, черты, равнодушно брошенные на холст сонным от скуки ремесленником. «С возвращением, Поля», – еле слышно прошептала женщина из плоти женщине в стекле.

Привокзальная жила обычно и размеренно. За пределами Города бурлило варево бытия, пучась и пузырясь, ежеминутно угрожая всей массой броситься через край котла. Все бежали за всеми, потеряв надежду попасть в пункт назначения в срок, спешили по инерции, забыв, куда и зачем стремились. Родители не успевали за детьми, система образования за новыми потребностями нового мира, доходы за ценами. Только здесь, в Городе, время, казалось, остановилось. Полина знала, что на самом деле это было не так. Горожане ходили на работу в офисы, почти у каждого телефон имел доступ к Сети, неумолимый прогресс просачивался во все щели, чтобы затем, расправив плечи, печатать шаг по узким, дышащим стариной улочкам. Но здесь, на площади у вокзала, об этом можно было ненадолго забыть. Так же, как и много лет назад, здесь не стихал ветер, трепавший платья хозяек с табличками «Сдаю жильё» в руках, так же грохотала по брусчатке тележка торговца пирожками, и механический голос диспетчера нечленораздельно объявлял номера прибывавших и отправлявшихся электричек. Даже поэт в застиранной тельняшке и морской фуражке с кокардой, предлагавший приезжим за символическую плату сложить для них стихи, будто бы был тем же самым человеком, что и сорок лет назад. Полина постояла под порывами ветра, позволив ему от души помотать хвост волос, а потом зашла в будочку крошечного магазинчика «Продукты-напитки». Её взгляд пробежал по полкам – хлеб, колбаса, чипсы и пиво, всё те же вездесущие пирожки – стандартный набор для непритязательного туриста. «Пачку красных и зажигалку», – сказала она продавщице в синем фартуке. Та, видимо, почувствовав запах алкоголя, оторвалась от потрёпанного журнала и уставилась на Полину, пытаясь на ощупь отыскать озвученную пачку на пластиковой горке возле кассы. «Правее, ещё правее, стоп, теперь чуть вверх и… Отлично!» – радостно провозгласила

Полина, когда искомый предмет наконец-то оказался в пухлых пальцах. Она расплатилась, убрала сигареты в карман джинсов и щёлкнула колёсиком зажигалки. «Да, сегодня я буду ещё и курить», – сказала женщина огненному язычку и покинула магазин, оставив продавщицу на растерзание демонам любопытства.

Выйдя на площадь, Полина без промедления осуществила своё намерение. Она ожидал приступа кашля, как год тому назад, но в этот раз всё обошлось. В голове закружилось, и мягкая лапа будто бы толкнула её изнутри. Она вспомнила называвшиеся табаком инфернальные смеси, которыми все травились тогда, и в который раз подивилась выносливости человеческого организма. Изредка затягиваясь, впитывая в себя звуки и запахи, со слегка накренившимся сознанием и запретным вкусом юности во рту она дошла до края площади, перешла дорогу и свернула к остановке. Сигарета отправилась в урну – и в этом был ещё один знак – как раз тогда, когда подкатил её трамвай. Вместе с немногочисленными пассажирами, поставившими свои дела выше ленивых радостей утра выходного дня, она поднялась по ступенькам. Свободных мест хватало, и Полина устроилась на одиночном сиденье у окна в самом конце вагона. Усевшись, пристроив на коленях рюкзак, она осознала, что выбрала это когда-то своё любимое место машинально, словно всё происходило тогда, и в кармане у неё лежал ученический проездной на месяц. Трамвай выглядел по-другому, он и был другим, современным и (Полина улыбнулась) эргономичным, без компостеров и напоминаний о том, что лучшим контролёром остаётся совесть. И всё же, глядя на нехотя просыпавшиеся улицы, на приближавшиеся ветки деревьев, норовившие залезть в открытые окна, убеждаясь в том, что водитель по-прежнему сбрасывает скорость, чтобы не поломать их, Полина чувствовала, что где-то один за другим рвутся канаты, соединяющие её с реальностью. Вцепившись руками в рюкзак, женщина у окна вспоминала.

***

– Я не понимаю. Я просто отказываюсь понимать. Может, ты объяснишь нам, что всё это значит?

Нависая над тарелкой супа, отец распалялся. Как и всегда, в моменты сильного возбуждения его голос срывался на визг, голова маятником ходила влево-вправо, и с волос падали крошки перхоти, неряшливыми звёздочками ложась на воротник спортивного костюма.

– Витя, я прошу тебя, успокойся, тебе нельзя нервничать. Сейчас Поля нам всё расскажет, мы во всём разберёмся, всё решим, правда ведь, детка? – мать, сгорбившись, опёрлась спиной о кухонный стол, глаза умоляюще перебегали с мужа на дочь, нервные пальцы комкали халат на груди.

– Да, пускай уж изволит, я хочу знать, что происходит с моим ребёнком.

Поля молчала, опустив взгляд в тарелку, механически помешивая ложкой остывающую жидкость. Полоски лапши трепетали в супе, словно водоросли, покачивавшиеся в морской воде у бесконечно далёкого побережья. Дождь за окном монотонно стучал в стёкла.

– Тебе двадцать лет, ты взрослый человек и должна отвечать за свои поступки. Есть же ответственность перед собой, перед нами, в конце концов. Мы с мамой всю жизнь посвятили тебе, дали образование, ни в чём не отказывали. Гимнастика – пожалуйста, музыкальная школа – на здоровье, только учись, работай на своё будущее. Полина, я, кажется, к тебе обращаюсь, – Виктор Иванович бросал слова в спину удалявшейся по коридору дочери.

В гостиной, одновременно служившей родителям спальней, он поймал её за руку и развернул лицом к себе. Девушка вырвалась и попятилась, наткнувшись спиной на пианино с откинутой крышкой. Клавиши громыхнули басами. В дверях показалась мать, тёмный силуэт, слабо подсвеченный пробивавшимся из кухни электрическим светом, и тогда Поля закричала.

– Ни в чём не отказывали? А вы хоть раз спросили, нужно ли мне всё это? Все ваши философы, которые давным-давно сгнили в могилах, о чём они писали? Какое это отношение имеет к реальной жизни, а она проходит, понимаете, проходит! Вы ничего не хотите видеть, вас так устраивает, а на меня через несколько лет вообще уже никто не посмотрит. Да какие там несколько лет! Мне двадцать, а я ни разу по-настоящему не оттягивалась, не жила. Что мне та гимнастика, если ноги кривые, их ничего уже не выпрямит. А это долбаное пианино, кому сейчас такое интересно? Сейчас совсем другая музыка, но разве вам объяснишь?

Удар кулаком по клавишам снова заставил пианино вскрикнуть, на этот раз в более высоком регистре. Поля увидела, как отец отступил на несколько шагов назад, схватился рукой за грудь и повалился в кресло. «Витя, Витенька, да что же это такое?» – бросилась к нему мать, и Поля рванула ручку двери своей комнаты.

Позже, уже за полночь, Вера Сергеевна постучалась в дверь и, не дождавшись ответа, на цыпочках вошла внутрь. В комнате было темно и тихо. Женщина села на край кровати, ладонью провела по закутавшему тело одеялу.

– Полечка, доченька, ты не спишь?

Несколько секунд ничего не происходило, потом одеяло зашевелилось.

– Деточка, не обижайся на папу, ты же знаешь, у него сердце, ему нельзя нервничать, но он же так за тебя переживает, мы оба переживаем, просто нам нужно понять, а мы не можем, не можем ничего понять, и потому это всё… – Вера Сергеевна лихорадочно шептала, сбивалась, начинала заново, и руки её подрагивали на плотной ткани пододеяльника. – Нам, наверное, многое не видно, сейчас жизнь так быстро меняется, новые порядки, увлечения, молодёжь по-другому на вещи стала смотреть. Раньше всё иначе было, более спокойно, размеренно, понятнее как-то, но это нормально, общество развивается, от нас ничего тут не зависит. Ты говоришь, что мы не интересуемся твоей жизнью, но ведь это не так, и я, и папа, мы задаём тебе вопросы, просто ты почему-то не хочешь отвечать. Но это ладно, ты уже взрослая, у тебя свой мир, но зачем же так с учёбой? Третий курс заканчивается, большая часть позади, а ведь это твоё будущее, тут папа абсолютно прав…

Одеяло вздыбилась, из-под него в темноту протянулась рука, пальцы нащупали выключатель настольной лампы. В узком снопе света Вера Сергеевна увидела лицо своей дочери, бледное, смятое, с двумя засохшими дорожками слёз под горящими глазами. Женщина и девушка неотрывно смотрели друг на друга.

– Не волнуйся, мама, – шевельнула губами Поля, – и папа пусть не переживает. Я соберусь и всё сдам. А по поводу моего мира – ты права, жизнь действительно очень быстро меняется, многое просто не получается объяснить. Не переживай, давай спать, завтра всем рано вставать.

– Конечно, доченька, конечно, – засуетилась Вера Сергеевна, – видишь, всегда можно договориться, мы же родные люди все. Всё будет хорошо у нас. И ты должна знать, что всегда можешь нам доверять. Я же понимаю, одной учёбой жить нельзя, у тебя увлечения разные, интересы, и если ты нас захочешь познакомить с каким-нибудь мальчиком, мы же только рады будем…

– Спокойной ночи, мама, – Поля щёлкнула выключателем. Вера Сергеевна дёрнула рукой, будто пытаясь что-то сказать, потом поднялась и растворилась в темноте, закрыв за собой дверь. Всхлипнув, Поля натянула одеяло на голову. Дождь на улице не прекращался. Она долго плакала и лишь на рассвете забылась кратким беспокойным сном. Ей снились водоросли, мерно покачивавшиеся в прозрачной воде у далёкого, бесконечно далёкого побережья.

***

Трамвай подкатил к остановке, и Полина, закинув рюкзак за спину, вышла наружу. Здесь, на границе владений живых и мёртвых, время замирало, уходило в глухое подполье, отказываясь менять персонажей и декорации. Разомлевшие на жаре собаки всё так же лежали с высунутыми языками в траве под каменным забором, всё так же стелилась пыль над землёй, и бабушки у входа горбились над вёдрами со своим неизменным товаром. У женщины в сером платье и косынке на голове Полина купила два букета, жёлтый и синий, цветы, которые торговки собирали за Городом, на подступах к лиману. Расплачиваясь, глядя, как морщинистые руки отсчитывают сдачу, Полина вдруг осознала, что «бабушка» была всего на несколько лет старше её, и девочка внутри рассмеялась чистым смехом детства. Она шла по дорожке между могил, глядя на громоздившиеся по обеим сторонам постаменты с крестами и ангелами, памятники, возможно, одному из самых больших заблуждений человечества. В памяти всплыла фигура мужа в кресле за письменным столом, его руки, то поглаживавшие полированную поверхность, то вдруг внезапно прыгавшие вверх и наискосок, ладонями нарезавшие ломтями воздух в такт лихорадочно выбрасываемым словам. Говоря о религии, будь то на лекциях или дома, он не сдерживал эмоции. «Я не понимаю, – гудел его бас, – как миллиард верующих могут считать, что лишь они безоговорочно правы, а остальные миллиарды, те, у кого другой бог, и у кого его нет вообще, заблуждаются. Они посмотрят на тебя с такой себе снисходительной улыбочкой, возможно, даже выслушают твои доводы, но в душе ты для них останешься в лучшем случае дурачком, который сам топчет своё спасение, но скорее еретиком, а еретиков надо давить и жечь. И никто из них, никто не скажет мне, как их бог может обрекать своих возлюбленных чад на вечные муки, отпустив им несчастных семьдесят-восемьдесят лет, бросив, не спросив, в этот мир, ничего не объяснив, напичкав картонными догмами, наделив плотью, а потом наказав отринуть все её желания». Мало кто, лишь ближайшие друзья и Полина, знал, что Фёдор Степанович в течение многих лет изучал религиозные системы Востока. Интерес этот был сугубо теоретическим. В закрытом, обособленном от мира обществе духовные практики воспринимались как нечто абстрактное, и даже намёк на подобное увлечение мог запросто разрушить карьеру верного идеологии доктора философских наук. И всё же Полина до сих пор помнила, как, поднимая голову над книгой, он говорил ей, глядя прямо в глаза: «Понимаешь, если мы не правы, и там что-то есть, оно должно быть вот таким. Перед тобой миллионы воплощений, ты будешь подниматься и снова падать в эту бездну, раз за разом, пока не перестанешь быть человеком, вознесёшься над всеми человеческими гнусностями и увидишь вещи такими, какие они есть». Однажды вечером муж поймал Полину, за чем-то зашедшую в его кабинет, за руку, посадил на диван и прочитал ей единственный художественный текст, который написал в жизни.

Прошло уже немало лет, а я по-прежнему
Удивляюсь при мысли о моём друге Дяде Фёдоре,
Думаю ночами о человеке, жизнь которого
Должна была бы сложиться по-другому,
А вышло так, как вышло, и мне кажется,
Так и проявляется ускользающая от нас истина.
Вам, безусловно, знакома его история,
Многократно изложенная, раскрашенная, смонтированная,
История мальчика, познакомившегося с говорящим котом,
Научившегося есть бутерброды так, как вкуснее,
И оставившего бетонные коробки, чтобы стать ближе к земле.
Дальнейшее, повторюсь, хорошо всем известно –
Животные, люди, буколические декорации,
Появление родителей, возвращение домой, неизбежное взросление…
На этом месте обычно принято ставить точку,
Закончилась одна история, а другую пусть пишут другие,
Оставим детское детям, потому никому и не ведомо,
Что мальчик подрос, долго наблюдал жизнь и однажды,
Упёршись лбом в необходимость, преисполнившись решимости,
Во второй раз покинул город бетонный.
Врать не буду. Как попал он в далёкий Непал,
Как монахом буддийским стал, я не знаю,
Как не знаю, каким путём шёл к просветлению.
Но как-то бывший Дядей Фёдором в прошлой жизни
Письмо домой написал, и его содержание
Я могу передать тем, кому интересно.
«Дорогие мама и папа, и вы, остальные живые,
С тех пор, как мне открылся дзен,
Я отказался от оценочного восприятия реальности,
Поэтому дела у меня никак, уж простите.
Я любил и люблю вас, и говорю вам спасибо,
Но, не стану скрывать, всегда чуял,
Хоть и не мог выразить: что-то тянуло
Меня вниз, где майя раскинула сети.
Мамины платья и съёмки выгодный ракурс,
Загашник Матроскина, куда вечерами
Он залазил, мурлыча, пересчитывая, постукивая когтями,
Фоторужьё Шарика, через дуло которого
Он созерцал природу, мечтая о журнальных обложках,
Игорь Иванович Печкин, которому, чтобы стать добрее,
Никак не обойтись было без велосипеда.
Дальше всех них ушёл от мирского папа,
Но и он отказывался признать, что наука
Никому не позволит разорвать цепь сансары.
Так что, мама и папа, и вы, все живые, знайте,
Никогда не вернусь в мир я ваших иллюзий».
Монах с бритой головой, бывший Дядя Фёдор,
Поставил точку и лёг спать, намереваясь
Следующим днём проделать путь до ближайшего города
И опустить там письмо в почтовый ящик.
И всё сложилось бы именно так, но на рассвете
Что-то вздёрнуло худого высокого человека с лежанки,
Он зажёг в лампаде огонь и долго перечитывал
Ровные, аккуратно выведенные строки, а потом
Его бесстрастное лицо вдруг исказила гримаса,
Человек в клочья порвал лист бумаги
И отдал их на волю утреннего ветра.
Это всё, что мне известно, что увидел во сне я,
И дальнейшая судьба моего друга детства
Укутана плотным покрывалом майи.

Позже, много позже, после его смерти, уже заведуя кафедрой, Полина смогла по-настоящему оценить написанное. Она так никогда и не узнала, что заставило мужа доверить бумаге *такие* мысли, совпадение ли его имени с именем героя мультфильма, или же за этим стояло нечто значительно большее, некое потаённое страдание, разъедавшее изнутри своей невысказанностью. Тогда она была слишком молода, чтобы задаваться подобными вопросами, потом было уже поздно.

Если бы Полину, преподавателя философии, спросили об её отношении к религии, она предпочла бы промолчать. Разбираться в сложнейших системах человеческих верований, классифицировать, препарировать догмы и постулаты и верить – эти вещи лежали в совершенно разных плоскостях. Она знала, как отчаянно люди нуждались в любви, как терзали их болезни тела и сомнения духа, как страшила их неизвестность завтрашнего дня и неизвестность за гробом. Они готовы были молиться кому угодно, чтобы потом, едва почувствовав облегчение, продолжать идти своим кривым путём, спотыкаясь, оступаясь и порой увлекая за собой в пропасть шедших рядом ближних. Полина ничего не знала о боге, она знала только о любви, любви к своим детям и внукам, к делу, к жаркому солнцу в голубом небе и запаху цветов. Пока человек жив, он должен любить, тем сильнее, чем быстрее утекало его время. В этом мог заключаться единственный смысл существования, и этого было достаточно.

Полина свернула с дорожки, прошла узкой тропой между могилами и остановилась у блестевшей свежей краской ограды. Дважды в год она перечисляла деньги работавшей на кладбище женщине, и та вместе со своим сыном приводила могилы в порядок – красила прутья ограды, обрезала всё время норовивший пленить их плющ, очищала от грязи плиты. Полина поставила рюкзак на землю и села на корточки между двух мраморных надгробий. «Привет, я дома», – шепнула она и положила на каждую плиту по букету. Ничего не зная о загробной жизни, помня только о любви, она вполголоса разговаривала с памятниками. Полина рассказывала им, как прожила этот год с его радостями и огорчениями, рассказывала о людях и событиях, не надеясь, что её услышат, просто по-другому было нельзя. Потом наступила тишина и ещё шум ветра и голоса птиц. Полина поднялась на ноги, достала флягу и сделала третий за день глоток. Она ещё немного постояла, провела рукой по плитам и, прикрыв за собой дверцу ограды, двинулась в обратный путь. Выйдя за ворота кладбища, она вынула из кармана телефон и отбила короткое сообщение. «Добралась, поселили, скоро начинаем», – появилось на экране. Почти сразу же ответом ей высветились сложенные колечком пальцы. Полина выключила телефон и зашагала к автобусной остановке, поджидавшей её в двух кварталах.

***

– Капиталистической гидрой они нас пугают. Херня! Есть одна настоящая гидра – алкоголизма. Чем жёстче с ней рубишься, тем она страшнее. Не успел одну выпить, как сразу две появляются.

Веня залпом махнул желтоватую жидкость из рюмки, опрокинул в себя гранёный стакан с газировкой и, подтверждая сказанное, мгновенно наполнил самогоном обе ёмкости. Народ одобрительно загоготал. Ударник «Секатора» ухмыльнулся, подтянул ноги в заляпанных джинсах к груди, обхватил их руками и фантасмагорической неваляшкой начал раскачиваться взад-вперёд на стуле. Капли пота с жёстких ершистых волос падали ему на лицо, бежали вниз, оставляя на коже пьяные дорожки. Освобождённый от армии по причине плоскостопия, Веня водрузил чугунную заводскую болванку на идею родителей о высшем образовании для сына, для вида сколько-то часов в день отирался в подай-принеси должности на всё том же заводе, основной же доход ему приносили махинации с перепродажей инструментов и аппаратуры. Он не пропускал ни одной сходки на музыкальной бирже, а в тусовке хохмили, утверждая, что барабанщиком в панк-группе он стал исключительно из желания как можно реже расставаться с милыми сердцу и карману чудесами электроники. Впрочем, ритм Веня держал уверенно и, несмотря на торгашескую жилку, мог быть недурным собеседником.

– Точняк. В понедельник после праздников захожу в швейку, а там такой перегарище – мухи на лету заспиртовываются. Думаю, блин, я же пришла только, не успела ещё надышать, потом смотрю, а там рожи через одну похмельные, посмотришь раз и жить не хочется. Тут заходит Клавдия наша, принюхивается, рот открыла, орать уже изготовилась, а потом плавненько так закрывает и ничего, идёт к столу своему, тетрадку достаёт и начинает по теории жарить. Видать, сама хорошо отметила, не иначе.

Метр пятьдесят с небольшим, Лера восторженной сиреной завизжала в ручищах своей новой пассии, коротко стриженного амбала, в три раза больше хрупкой басистки. Типичное пролетарское дитя, она с трудом устроилась на учёбу в швейное училище и второй год балансировала там на грани вылета, всё свободное время проводя в поисках алкогольно-любовных приключений. Гедонистическая философия Леры не предполагала долгоиграющих отношений, и единственным её постоянным партнёром вот уже два года оставался бас. Играла она кое-как, сполна компенсируя лажи отвязнейшим поведением на сцене, безотказно заводившим публику вкупе с предельно откровенными нарядами.

– Год, может, полтора. Это максимум. Вы сами всё увидите. Сейчас просто нужно жать, не сбавляя, сейчас именно то самое время, главное его не упустить. Не факт, что такое ещё раз повторится на нашем веку. За нами сила. Они не понимают, какая в этом мощь, какая энергия, да что они, даже мы сами до конца не понимаем, не чувствуем. Нет искусства, по силе воздействия сравнимого с музыкой, потому что из них из всех музыка самая абстрактная, у неё нет формы, её не пощупаешь. Но только она пробуждает в человеке настоящие эмоции, взывает к внутренней истине, не на уровне сознания, глубже, там, где не получится себе соврать. Запомните мои слова, рок-н-ролл – это таран, мы лабаем, а он крушит всё это, все декорации, и однажды они рухнут, и тогда мы спляшем на обломках.

– А что за ними, чувак, что за декорациями? – прозвучал в тишине чей-то голос.

Рома потянул загадочным лицом, улыбнулся, поднял рюмку, замысловато крутнул ею в воздухе и выпил. Стол вновь загоготал, зазвенел, проливая, матерясь, затягиваясь, переживая только что отгремевший концерт. Поля, собрав все силы, чтобы не сморщиться, обречённо поднесла рюмку ко рту. Она ненавидела эту жидкость, пупырышки солёного огурца, едва-едва перебивавшего омерзительный вкус, эти тупые толчки в голове, никакого пробуждавшегося ощущения смелости, лишь мысли о том, как ей вновь придётся маскировать запах перед возвращением домой. Но не пить было нельзя. В тусовке употребляли поголовно, и если ты хотел стать её частью, ты должен был быть как все. Она смотрела на Рому, в джинсе, цепочках, заклёпках, ничего лишнего, ровно столько, сколько нужно. Рому во главе стола, на месте, занимаемом по праву фронтмена и композитора, автора, нет, не текстов, посылов, сгустков идеологии. Когда он начинал говорить, замолкали все, пьяные панки с ирокезами, их дурковатые подруги, и даже амбал с Лерой в руках покачивал бритой башкой в такт словам. Рома, который через пару месяцев после своего появления в Университете стал лидером культа имени себя, рок-бунтарь и пьяница на сцене, один из лучших студентов курса, несмотря на сомнительные музыкальные увлечения. Ходили слухи, что у его родителей были связи. Полю не интересовали возможности семьи лидера группы «Секатор», тот самый, которым они планировали резать прогнившие декорации. Она смотрела на двух девушек слева и справа от него, на расстоянии, но одновременно чем-то с ним связанных, он никогда не афишировал свои отношения, но Поля понимала, они были, их не могло не быть. От этой мысли хотелось сжаться в комок и выть, долго и протяжно, выть о своих кривых ногах и невыразительном лице, о маминых робких разговорах о мальчиках, о невыносимой несправедливости, с которой легко миришься в книгах и кино, и которая ежедневно давит тебя равнодушной массой. К горлу подкатило. Поля быстро встала и, ничего не говоря, вышла из подсобки Дома культуры, на один вечер превратившейся в гримёрку музыкантов. Она пробежала по коридору, влетела в туалет и упала на колени над унитазом, едва успев бросить металлический крючок в петлю.

– Не пошло? Продукт вроде нормальный. Ничего, привыкнешь, здесь главное регулярная практика. На, вытрись, – Веня протянул ей махровое полотенце. В другой руке он держал стакан, желтоватая муть в котором колыхалась в такт покачиваниям тела.

– Спасибо. Ничего страшного, желудок не в порядке целый день, съела, наверное, не то что-то в столовой, – бормотала Поля, вытирая лицо, пытаясь уступить барабанщику дорогу. Внезапно Веня схватил её за плечи, дохнув в лицо смесью табака и самогона.

– Слушай, у меня свободно сегодня, предки на смене оба, может, ко мне завалим, проведу профессиональный практикум, – он был сильно пьян, с застывшими, ужасающе неживыми зрачками.

– Нет, но у тебя же…

– Наташка в деревню уехала, на месяц, тётка у неё там болеет, так что не напрягайся, где ты ещё такой шанс поймаешь? От Ромки-то тебе никогда ничего не обломится, даже не мечтай, не твой уровень ни разу.

Дёрнувшись под рукой, мотнув головой так, что длинные волосы хлестнули ударника по лицу, она вырвалась и бросилась прочь по коридору. Поля бежала и бежала, но хриплый голос в ушах преследовал её на морозной улице до самого дома.

***

Парень с наушниками на шее что-то обсуждал с продавцом у прилавка. Хозяин, как всегда в мешковатой футболке и защитного цвета штанах, поредевшие волосы стянуты на затылке в пучок, стоял спиной к входу на стремянке, перебирая товары на верхней полке. Полина подошла к мужчине вплотную, на секунду застыла, выдерживая паузу.

– К старым друзьям теперь приходится подбираться с тыла, – мрачным голосом изрекла она.

Мужчина в хаки покачнулся на ступеньке, выбросив в воздух непарламентское слово. Щетинистое лицо угрожающе повернулось и тут же расплылось в бегемотской улыбке.

– Полиныч! – Веня с грохотом обрушился на землю, похоронив женщину в объятиях, – ты, блин, так до инфаркта доведёшь. Здорово, подруга! – гудел он, проминая вопившие о пощаде кости.

– Это ты скорее меня прямо тут раздавишь, боров, – Полина не без труда освободилась из гостеприимных лапищ. – Слушай, у тебя время есть сейчас, а то я как обычно, всё по плану.

– Для таких гостей – хоть полцарства и музей. Хозяин я тут или нет, говори, куда идём.

– Музей на сегодня отменяется, культуры мне на работе хватает, а вот перекусить что-нибудь не откажусь, с утра ещё не завтракала.

– Момент. Игорёк, – Веня махнул в сторону продавца, – я с дамой на променад, вернусь – разберёмся с аккумуляторами этими. Тут в трёх минутах, – нависал он над Полиной, – кафешка, чаи-кофеи, в топку тоже есть что кинуть, готовят вроде бы нормально.

– Веди уже куда-нибудь, я сегодня без гастрономических претензий.

У входа в кафе они сели за столик, заказали по кофе. Вене принесли необъятную лепёшку, лопавшуюся от распиравшей её начинки, Полина удовольствовалась мясным супом и салатом. Бывший барабанщик усердно пыхтел, перемалывая зубами огромные куски. Время от времени он пытался что-то сказать, но Полина останавливала его взмахом руки. Когда с трапезой было закончено, Веня залпом выпил половину чашки и удовлетворённо зарычал.

– Спасибо хоть не отрыжка, с тебя сталось бы.

– Куда нам до вас, столичных интеллигентов, мы университетов не кончали. Давай, короче, рассказывай.

– Что тебе рассказать, стабильно всё. Работа, кафедра, поездки-конференции. Молодёжь на пятки наступает, конечно, но старая гвардия пока держится крепко, а там дальше видно будет, ты видишь, как всё быстро меняется.

– Живёшь там же?

– Ну да. Сева с женой и Колей в другом крыле, дом большой, места всем хватает.

– И что, нормально общаетесь, никто никого не грузит? Кстати, а что у вас, девушка, с личной жизнью, неужто так и не нашёлся принц хрустальный? Ты смотри, в случае чего знаешь, на кого можно рассчитывать, – Веня ущипнул Полину за плечо, в ответ получив чувствительный тычок в грудь.

– Вениамин, без фамильярностей, вы сколько уже лет в браке?

– Да тридцатка скоро, – Веня вдруг посерьёзнел. – Ты не думай, я же знаю, как я Вальке обязан. Если бы не она, меня б, наверное, сейчас здесь не было. Парился бы на нарах, а то и на кладбище. Ты же в курсе, как я тогда жил, бабки эти, мутки постоянные, девки. Даже к тебе подкатить умудрился. По пьяни, конечно, но какая разница? Мне, веришь, так стыдно потом было, я же понимал, что ты другая, не как мы все, чистая, не от мира вообще. Простишь меня, а? – его лицо умоляюще сморщилось.

– Нашёл что вспомнить. Когда это было? Главное, что все всё пережили, ну и выводы для себя сделали.

Полина знала, что когда страна рухнула, Венины манипуляции с аппаратурой приобрели ещё больший размах, окончательно скатившись в криминал. Не рассчитав своих возможностей, он задолжал крупную сумму местному авторитету и всерьёз подумывал о бегстве за границу. Его спасла Валя, рыночная торговка, в лихое время умудрившаяся подняться до владелицы магазинчика со шмотками, в юности ходившая «побалдеть» на концерты «Секатора», безответно влюблённая в барабанщика. Она предложила Вене погасить его долг взамен на штамп в паспорте и обещание верности до гроба. Последнее бывший панк, по его словам, смог сдержать, отчасти из благодарности, отчасти из страха перед иррациональной проницательностью жены. Сейчас они владели магазином радиоаппаратуры, приносившим небольшой, но стабильный доход, дело, позволявшее Вене считать себя по-прежнему преданным рок-н-ролльным корням.

– Слушай, – прервал Веня молчание, – а давай по пятьдесят. Не каждый день так встречаемся всё-таки.

– Не траться, всё есть, – Полина оглянулась по сторонам, вытащила флягу и щедро плеснула в полупустую чашку кофе.

– Фирма! – выразил восхищение Веня, – чему-то мы тебя научили, это факт. А себе?

– Мне пока хватит, может, вечером, там поглядим.

– Ну, давай тогда, – Веня смачно выпил залпом получившуюся смесь, даже не размешав жидкость. – Вот он, кайф забытый, с Валькой особенно не разгонишься, сама понимаешь.

– Ты бы рассказал, что ли, как вы живёте.

– Как живём, как живём? Нормально, грех жаловаться. Денег хватает в принципе, какие у нас теперь уже расходы, здоровье, разве что, но пока держимся. Наши тоже ничего. Справляются. Только… Я ж тебя не даром спрашивал, как вы общий язык находите в одном доме. Ты в курсе, у нас внуков двое, Дима с Лизкой. Приезжают, ничего сказать не могу, на праздники, на каникулы, общаться пытаемся, но вот понять я их не могу. Втыкают постоянно в телефоны свои, ни фига вокруг не видят. Я как-то попытался их порасспрашивать, чем интересуются, туда-сюда, потом по Сети полазил, посмотрел на всё это. А там муть какая-то, ресницы в полметра, шмотки, хоть глаза повырывай, танцы эти, короче, ты продвинутая, в курсе должна быть. Вот скажи, это мы такие старые, или действительно мир катится?

– Да всего понемногу. Вспомни, ты когда с «Секатором» рубился – ну это же дичь полная. Даже по меркам нынешних родителей, что уж про то время говорить. Ты не думай, – осадила она вскинувшегося Веню, – группа обалденная была, особенно тексты, да и музыка Ромкина, всё предельно чётко и по сути. Мы это понимали, а бабушки-дедушки-родители нет. Сейчас наша очередь не понимать, и это нормально. Зато посмотри, они сейчас все за здоровый образ жизни, за экологию, мир к лучшему изменить хотят. Тоже со стереотипами борются, только не квасят, как некоторые в юности.

– Да я знаю, не всё так просто, – Веня задумчиво посмотрел на дно чашки, – но как мне понять их?

– А тут просто всё. Любить надо, а когда любишь, и интерес, и понимание сами приходят, спрашивать хочется и самому делиться. Только зажимать в себе это чувство не надо, бояться его, стыдиться. Это я тебе не как преподаватель говорю, а как женщина.

Они долго сидели, разговаривая, вспоминая прошлое, и Веня употребил ещё пятьдесят с кофе.

– А знаешь, что Валька недавно выдала? – выкрикнул он в какой-то момент, разгорячённый выпитым. – Вот сейчас у тебя дело, а тогда, типа, дрянь какая-то, ни денег, ни вида, угар один. По молодости ещё нравилось, а теперь понимаю – стыд стыдом. Дуры все бабы, – заревел он шатуном, – ни хера в музыке не смыслят. Посади меня за барабаны, я тебе и сейчас завалю – закачаешься. Ты вот, правда, врубаешься, хоть и профессор.

– Доктор наук, нам чужих регалий не нужно. Ладно, пора уже мне дальше, хорошо посидели.

– Не то слово. Полииииныч! – Веня снова облапил собеседницу. – Что, к Лерке теперь?

– Ага. Дома она, не знаешь?

– А где ей быть ещё? Дом-семья, все дела. Звонить не будешь, опять не предупредишь? А если в магаз ушла или ещё куда?

– Ничего, подожду. Береги себя, если всё нормально будет, в следующем году увидимся.

Полина уже встала из-за столика, когда Веня вдруг окликнул её.

– Ну и зачем тебе всё это? Ты же не просто так приезжаешь с тусовкой бывшей повидаться, можешь не рассказывать даже.

Полина помолчала, послала бывшему барабанщику воздушный поцелуй и повернулась к кафе спиной.

***

– Да чего ты телишься? Не знает она. Твои когда с работы будут?

– Как обычно, наверное, к семи.

– Так куча времени ещё, десять раз всё выветрится. Тащи тару.

Поля принесла из кухни две белые чашки в фиолетовый цветочек и поставила их на письменный стол. Лера достала из кармана перочинный нож и привычным движением срезала с горлышка пробку. Забулькав, полилась тёмно-красная бурда.

– Ну, давай за встречу. Всё по науке: до полудня бухают алкаши, а после уже культурные люди потребляют.

Поморщившись, Поля выпила. Сегодня неожиданно отменили последнюю пару, преподаватель слёг с гриппом. По дороге домой девушка наткнулась на Леру, прогуливавшую училище и изнывавшую от безделья. Выяснив, что дома у Поли никого не было, басистка стала напрашиваться в гости с таким напором, что отказаться не представлялось возможным. В магазине (конечно же, по инициативе Леры) была приобретена бутылка дешёвого вина. Продавщица потребовала паспорт, долго вертела в руках замусоленную книжечку и в итоге, всем видом выражая недовольство, всё же выбила чек.

– Видела, как она на меня зыркала? Все они такие. Ненавидят нас, потому что мы молодые, жопы пока не отрастили и шмотки кайфовые носим, а не эти робы их серые. Ну и хер с ним, лет пятнадцать пройдёт, и мы такими заделаемся. Работа от звонка до звонка, муж брюхастый и спиногрызы. Будем на них орать, а они нам – шли бы вы, дорогие родичи, лесом, хоть сейчас пожить нам дайте. И никогда ничего здесь не изменится. Ладно, – Лера добила остатки вина в чашке, – пошли посмотрим, как живёт в стране интеллигенция.

В комнате родителей Лера походила вдоль стен, трогая пейзажи в рамках, кружевные салфетки, задержалась у книжного шкафа.

– Ого, и что, читала всё это? – протянула она, растягивая гласные. – А предки у нас кто?

– Папа инженер, мама бухгалтером работает, – тихо сказала Поля, чувствуя, как против воли краснеет.

– Ну-ну. А ты вроде как филолог?

– Нет, я на философском.

– Да один хрен, как по мне. А в чём разница?

– Это совсем разные вещи. Филология языки изучает, структуру их, историю. А мы… Как тебе сказать… – Поля замялась.

– Языком скажи, не в лесу живу, дома телевизор тоже есть, про политическую ситуацию в мире наслышана, и к нам в швейку лекторы захаживают. Разберусь как-нибудь.

– Понимаешь, нас с первых дней учат, что философия – это не наука, а мировоззрение. По сути, каждый из нас является философом, потому что он размышляет о своей жизни, о жизни других людей, у него есть собственная система ценностей. Но только единицы свои мысли укладывают в стройную сложную схему, и мы эти схемы изучаем, чтобы понять, что правильно, а что нет, как нужно жить.

– Ну и кем ты будешь после Универа своего?

– Я пока не думала серьёзно, два с лишним года учиться ещё, но вообще хотелось бы преподавать, делиться с людьми важными мыслями.

– Преподавать? Других учить жить собираешься? Ща я тебе про жизнь расскажу. Магнитофон в доме имеется?

Магнитофон отечественного производства родители подарили отличнице-дочери в честь окончания школы. Они вернулись в комнату Поли, аккуратную и чистую, как и вся квартира. Лера достала из сумки кассету, поставила её в лоток («Новьё, позавчера записал, только гитара и голос пока») и нажала кнопку. Звон стальных струн наполнил комнату, и сочный баритон Ромы локомотивом потянул за собой вагоны строчек.

Не искажают лиц воспитанные дети,
Не станут строить рожи Машенька и Петя,
Сие пристало лишь безграмотному йети,
Не искажают лиц воспитанные дети.

Я старый панк, пою я обо всём на свете,
О том, что правят всем масоны на планете,
И не нуждаюсь в вашем дружеском совете,
Не искажают лиц воспитанные дети.

Бывает, я бухаю пиво на рассвете,
Потом стихи приходят в голову в клозете,
И наплевать, что ни за что на белом свете
Не искажают лиц воспитанные дети.

Ты мне расскажешь о Галлеевой комете,
Расскажешь что-нибудь про обухи и плети,
Но я с прибором клал на всё на белом свете,
Пусть корчат рожи невоспитанные дети.

– Вот, сечёшь, где настоящий кайф? Обо всём же спел. Вот она – жизнь, и никакой философии не нужно. Есть мы, а есть они. Им надо закрыть нас в клетке, и они закроют рано или поздно, но лучше поздно.

– А разве нельзя по-другому? – подняла глаза Поля. – Ты говоришь о будущем, как будто оно предопределено. Но разве тебе кто-нибудь мешает менять жизнь? Можно ведь научиться многим вещам, получить профессию, в конце концов, встретить достойного человека…

– Достойного?! Пффффф! – вино попало Лере не в то горло, и она фыркала им во все стороны. – Где ты их видела, достойных? Разве что в Универе вашем, которые тебе расскажут, как жить, а сами под юбку пялятся. Ну а если ты чего-то хочешь добиться, вали отсюда в столицу. Там у таких хоть какой-то шанс есть. Лучше бы вообще из страны, но хрен тебя кто выпустит. Возьми Ромку. Ему здесь нечего делать, он талант, он об этом знает, для него это всё так, для раскачки. Группа – это Ромыч. Рано или поздно он переедет в столицу и нехило там нажмёт, вспомнишь ещё мои слова. Найдёт нормальных музыкантов. Я же играть-то толком не умею, а для Веника это просто оттяг, он бабло на аппаратуре рубит и с места не двинет. А тебе я так скажу. Ты девка умная, не из нашей швали, не нужно тебе это всё. Гни свою тему и не тушуйся, не зажимайся. Фигурка у тебя ничего, спортивная, – Лера перехватила взгляд, который Поля бросила на свои колени, – да ладно, ноги и ноги, не в них одних счастье. Фэйс тоже потоварнее сделать можно, макияж там, умные люди подскажут. Хочешь с серьёзными научными дядьками тусоваться – без этого никак.

– Я не знаю, – почти прошептала Поля, раздавленная потоком информации, – это какой-то параллельный мир.

– Ну да, параллельный, а в этом тебе ничего не светит. Ты думаешь, я не вижу, как ты на Ромыча смотришь? Забудь, подруга, тут даже не другой мир, это, блин, другая галактика. На него роты баб ве-

шаются, только выбирай. Он молодец, не козыряет этим направо-налево, но кому надо, тот в курсе. Все же понимают, он ненадолго здесь, кайфанули, ну и ладно. Чем ты его возьмёшь, философией своей? Так он в этих делах не хуже рубит, оно и моржу понятно. И все разговоры про клавишницу в группе, всё это голяк полный. Ну выцыганишь ты клавиши у предков, балалайку дешёвую, ну изобразишь на них чего-то там, и дальше? Всё равно как надо ты не сыграешь. Тут без вариантов, либо ты в этот драйв врубаешься, либо нет. Можно всё правильно делать, по нотам, а не качнёт никого. Сваливай, короче, поскорее из тусовки, всё равно ты там чужая, и Ромку из головы выброс. Он растопчет и не заметит, не потому что злой, просто так устроен. Я ж и сама с ним была, недолго, в начале самом, любопытно, блин. Ничего, умелец. А ты, наверное, девочка ещё?

Полине удалось удержаться от слёз до самого ухода Леры. Лишь потом, вымыв чашки и проветрив комнату, она разрыдалась.

***

То, что кто-то из хозяев находился дома, Полина поняла, ещё поднимаясь по лестнице. Из-за двери с коричневой обивкой пробивался звук работавшего телевизора. Полина должна была трижды нажать на кнопку звонка, пока не услышала приближавшиеся шаги. На пороге стояла Лера в распахнутом на груди халате, с пальцами в мучной пыли.

– Ну ты, подруга, как всегда! Предупредить слабо было? Сегодня вечером внуки приезжают, я со вчера в готовке вся. Часа на три позже – в парадной бы разговаривали, и минут пятнадцать, не больше.

– Прости, прости, – Полина шагнула за порог, и они обнялись. – Я ненадолго, сильно тебя не отвлеку. Посижу в уголке, потрещим, пока ты готовишь.

– Прибедняешься? Не идёт тебе. Дуй в ванную, мыло на раковине, полотенце слева висит, я пока чайник поставлю. Крепче, извини, нет ничего, сама понимаешь.

– Вот и хорошо, что нет, – гостья наклонилась, расшнуровывая кроссовки.

Вымыв руки, Полина по узкому коридору прошла на кухню. Гастрономическое царство Леры, её стихия, её храм, бурлило. На плите булькало и шипело, и опытный кулинар затруднился бы разложить на составляющие смесь запахов в воздухе, и над всем этим телевизор на стене гремел нескончаемыми политическими дебатами. Лера взяла со стола испещрённый радужными пятнами пульт и убавила звук.

– Вообще не могу без него, целый день трещит, когда дома никого нет. Один раз электричество вырубили, так чуть с ума от тишины не сошла. Ахинея, конечно, полная, но вот ты скажи мне, – Лера, оживившись, ткнула пультом в сторону экрана. – Вот они всё трындят и трындят, обещают и обещают, а результаты где? Ты умная, с образованием, объясни, сколько им нужно хапнуть, чтобы успокоиться и начать для людей хоть что-то делать? Кстати, там печенюх два блюда полных, час назад всего испекла, или, может, что-нибудь посерьёзнее?

– Спасибо, дорогая, ничего не надо, с Венькой в кафе перекусила. Тут не в количестве дело, – Полина помешала ложечкой чай в большой пузатой чашке. – Человек так устроен, что ему всегда всего будет мало. Я это обычно на примере телефонов объясняю. Когда у тебя телефона нет, ты мечтаешь хоть о каком-нибудь, самом простеньком, кнопочном, лишь бы звонить можно было. Вот появляется у тебя такой аппарат, ты вначале радуешься, а через месяц радость спадает, хочется теперь в игры поиграть. А дальше по нарастающей: цветной, сенсорный, больше памяти, больше возможностей, видео, трансляции, виртуальная реальность, только что в космос полететь не получится. Короче, владычицей морской хочу быть. С деньгами то же самое. Себя, детей, внуков, потомков до седьмого колена обеспечил, а всё мало. Ты никогда не остановишься, потому что дело уже не столько в возможностях, которые деньги дают, сколько в самом процессе накопления. Ещё власть есть, там всё страшнее даже. Но это я так, теоретически, чтобы таких людей понять, нужно ими быть. Там совершенно другой взгляд на вещи. Это как здоровому человеку въехать в мышление алкоголика или наркомана.

– Я вот могу, – процедила Лера.

– Прости, – Полина дёрнулась, – я же не тебя…

– Да не парься, сколько лет уже прошло. Короче, всё с тобой понятно, так и не перестала умничать. Ну, тебе платят за это. Хотя ты права вообще, они тоже как белки в колесе. Колесо золотое, это да, конечно, а не останавливается. Ну разве что тряхнёт очень сильно, поломается что-нибудь, как у меня. Блин, да чего мы про муть всякую? Рассказывай давай, что да как.

Кризис, наступивший в стране после распада Империи, время нищеты, криминальных войн, забитых трамваев раз в час и выстуженных классных комнат, не пощадил Леру. Как и множество своих сверстниц без образования и привычки трудиться, она пыталась жить по инерции, не думая о завтрашнем дне, направо и налево пользуясь своей внешностью, что, впрочем, приносило мало дивидендов. Молодежь с более выгодными параметрами выигрывала вчистую, и Лере оставалось подвизаться в роли любов-

ницы мелкого пошиба бандитов. Затем не стало и этого. Алкоголь превратил миниатюрную девушку в грузную озлобленную бабищу, жившую, вернее, пившую на мизерную зарплату уборщицы в туалете на рынке. Однажды она отключилась прямо на улице, рухнув в снежный сугроб. Очнулась Лера в больнице, откуда вышла без двух обмороженных пальцев левой руки. «Я думала – всё, конец, – рассказывала она. – Зачем жить дальше, ради чего, кого? Решила, что буду пить, пока пьётся, чтобы вообще не думать. Об одном только просила: во сне откинуться, без мучений». Спасение пришло в виде рекламы социального наркологического центра на стене дома. «Я с богом не в ладах, – говорила Лера, – не любит он людей, по-моему, но здесь будто помочь решил, последний шанс дать. Социальный центр, прикинь, наркоманов конченых тянули, чуть ли не бомжей. Такое и сейчас редко встретишь, а уж тогда…». Несколько раз Лера была на грани срыва, но удержалась на краю, во многом благодаря поддержке Михаила, с которым познакомилась в центре. Институтский работник, он тоже не выдержал навалившегося груза перемен и беспросветно запил. От него ушла жена, забрав с собой двоих детей, жизнь стремительно катилась под откос, чудом затормозив у самой пропасти. Два таких разных человека, познавшие самые отвратительные края бытия, поженились. Лера устроилась продавщицей в магазине, Михаил с помощью старых друзей сумел восстановиться на работе. Счастьем для обоих стало то, что Михаил наладил отношения с детьми. «У нас теперь главная радость – внуки, – говорила Лера Полине. – Пусть не мои родные, не моя кровь, какая разница? Говорят, что придут на выходные, так я сразу готовиться начинаю, жарю-шкварю, Миша квартиру отдраивает. Потом они уходят, всё заново убирать приходится, так и жизнь наполняется». Полина кивала, думая о нерассуждающей любви и спасении от ужасов прошлого. Кошмары тускнели, но никогда не исчезали полностью, и панкушка Лера дремала где-то внутри, готовая пробудиться от неосторожного движения. «Видишь, как бывает, – сказала Лера уже у порога. – Когда-то я тебя пыталась жизни учить, не понимала, какой дурой была, а теперь ты мне по полочкам раскладываешь. Вот не знаю, зачем ты сюда наведываешься, ты, наверное, и сама не ответила бы. Да и хрен там, раз чувствуешь так, значит, так и надо». Они ещё раз обнялись, и дверь с коричневой обивкой закрылась.

***

В квартире было тихо. Полина постояла на лестничной клетке, а потом пошла вниз по лестнице. У неё был его номер телефона, в любой момент она могла позвонить, но, как и всегда, подавила в себе порыв. Приезжая в Город, она всякий раз полагалась на судьбу, всё должно было сложиться само собой. В этом ей виделся знак, ответ на вопрос, подтверждение того, что происходившее имело смысл. Открывая дверь подъезда, она подумала о Лере с её «так и надо». Полина села на лавочку у входа в дом и приготовилась ждать. Что если он так и не появится? Он мог засидеться допоздна у кого-то из друзей, куда-то уехать, поменять жильё, в конце концов, устроить за прошедший год личную жизнь. Будет ли она звонить ему в сгущающихся сумерках или вернётся на автостоянку и отправится домой? Потом Полина подняла голову и увидела его. Он молча смотрел на неё, голова чуть склонена набок, два магазинных пакета в руках. Она поднялась. Они молчали.

– Не хочешь поприветствовать даму? – прервала она тишину.

– Здравствуй, Поля, – не сводя с неё глаз, он поставил пакеты на землю. – Никак не научусь перестать удивляться. Ты зайдёшь или…

– Проходите, молодой человек, не задерживайте движение, – она сделала шаг в сторону, освобождая ему проход к подъезду.

Когда дверь за ними закрылась, она отправила его на кухню, а сама двинулась осматривать квартиру. Две комнаты, одна побольше, полки с книгами, диван, на столе ноутбук и гора музыкального оборудования, гитара застыла на подставке в углу. Она зашла в спальню, провела пальцем по поверхности телевизора, заглянула на балкон.

– Пыльновато, и балкон от хлама освободить не мешает, – сказала она, зайдя на кухню, – но в общем и целом твёрдая четвёрка, а как для холостяка, так и плюс накинуть можно.

– Пардон, – пробормотал он из-за двери холодильника, – ты же не сообщаешь о своём появлении. Знал бы – подготовился.

– Ладно, ладно. Продукты хоть нормальные покупаешь? Можешь пока пойти пыль вытереть, а я посмотрю, реально ли из всего этого что-нибудь пристойное сварганить.

Позже они сидели за кухонным столом. Полина достала из рюкзака фляжу и разлила по рюмкам остатки коньяка.

–Больше нет, – сказала она, потрясая пустой ёмкостью.

– У меня тоже, сам себя до теоретиков понизил, так, раз в пару месяцев, когда дело стопорится, разве что.

– Давай, теоретик, за встречу.

Они выпили.

– Если раз в пару месяцев всего стопорится, значит, всё неплохо.

– Да, грех, наверное, жаловаться. Вообще грех, без «наверное». Мне шестьдесят, а у меня по-прежнему заказы. И отсюда, и из-за рубежа. Фонограммы всякие, рекламы, даже к сериалам несколько раз писал. Рутина, конечно, ремесленничество зачастую, но всё равно стараюсь не скатываться. Дело же не только в заработке. Об искусстве тут сложно говорить, но ведь и себя надо уважать. Иногда какую-то мелодию интересную выкрутишь и самому приятно. Понимаешь – ну кто это услышит? Потребят ведь фоном и вкуса даже не почувствуют. Но мне, мне это важно, значит, ещё рано нафталином голову посыпать. На том и стою. Ну и за здоровьем следить стараюсь, пешком хожу, даже зарядку делаю по утрам.

– Да, шевелюра, у тебя всё ещё знатная. Венька вон совсем поредел, хотя пучок не срезает.

– Верность идеалам юности, ты же его знаешь.

– Ну да. А как слабый пол, на хайр всё так же западает?

– Поля, ну о чём ты? Сколько нам лет…

– Да ладно, не прибедняйся. Сколько у тебя жён официальных было?

– Три, я тебе говорил. Ну было, было. Перегорел я. Сейчас вспоминаю, как какое-то пятно сплошное, куча цветов, а ни один толком не ухватишь.

– Не любил разве никого?

– Да в том-то всё и дело, что любил. Вернее, мне казалось, что это любовь была. Особенно когда тебе дифирамбы поют, какой ты, мол, талантливый, как всё подмечаешь, выражаешь. Последняя жена при деньгах, кстати, была, продюсировать меня даже пыталась. Тогда-то, видимо, я и окончательно обломался, иллюзии посыпались. Она хотела, чтобы я ретро играл, тогда это в струе шло, бабло там, предложения всякие. А мне-то другого всегда хотелось. Я же инструмент в руки взял не для того, чтобы девочек охмурять. Оно, конечно, тоже хорошо, но как дополнение приятное, а суть же в ином. Сложно это объяснить, как оно в тебе зарождается, покоя не даёт, посреди ночи с кровати поднимает, потому что если ты это из себя не выпустишь, оно рано или поздно тебя убьёт, как кислота разъест изнутри. Поля, я столько наворотил в жизни, что никаким стыдом не отделаешься, не искупишь уже до конца. Но вот в равнодушии даже я сам себя не упрекну. Я всегда верил, что для творца важнее всего не прекращать реагировать. И на то, что снаружи происходит, и на внутреннее тоже. Сам ты ничего кардинально не изменишь, но хотя бы в себе, в своём микромире…

– Смысл в том, чтобы отражать? Возможно. Я своим студентам говорю – посмотрите на актёров, музыкантов, писателей. Ты их слушаешь, читаешь, они тебя плакать, заставляют, смеяться, о самых важных вещах доступно говорят. А сами очень часто пьяницы и бабники, за деньги тоже не дураки прогнуться. Почему? Наверное, потому что знают, что пить и изменять плохо, но ничего с собой поделать не могут, а талант ведь не задушишь, вот поэтому они так и убедительны.

– Да так и есть. И вот я стал спрашивать себя – и что, так оно всё и будет до самого конца? И, знаешь, понемногу стала эта раздвоенность пропадать. Видишь, пять лет уже один живу, и никаких матримониальных поползновений. Хоть чуть-чуть за грехи расплатиться пытаюсь, не активно, конечно, но хотя бы в чужие жизни перестал вмешиваться.

– Кто там знает, чьи грехи больше весят… Может, не так всё у тебя и криво было. Недавно прочитала фразу, один мудрый человек сказал. Что-то вроде: вы когда целуетесь, вы же ни о чём не думаете, вас нет, но в то же время вы есть. Говорят, нирвану описать невозможно, но как по мне, вот оно, нам доступное определение. С музыкой ведь так же, ты когда со сцены людям поёшь, это же как поцелуй. А целуясь, люди становятся счастливее, ты делаешь другого счастливее.

– Я когда-то думал, что буду разрушать декорации, а сейчас понимаю, что ломать-то ничего и не нужно, надо просто своим садом заниматься. Почему, почему, скажи, я тебя тогда не разглядел?

– Ты не мог, мы совсем другими были, всё было другим, глупо себя винить за это.

– Глупо, умно, я думаю об этом. Я не могу понять, зачем ты приезжаешь сюда, чего ты хочешь добиться, почему не отвечаешь на мои вопросы. После тебя я отхожу, долго отхожу, и потому что не понимаю, и потому что мне приходится возвращаться в прошлое. Ты не хочешь, чтобы я появлялся в твоей жизни, а сама возникаешь без предупреждения. Скажи, это ты мне мстишь?

– Не говори ерунду. Пойдём спать, поздно уже.

Они вымыли посуду и покинули кухню, выключив свет.

***

Полина проснулась посреди ночи. Он лежал рядом, его грудь равномерно вздымалась и опускалась. Она спустила ноги с кровати, вытащила из кармана висевших на спинке стула джинсов сигареты и зажигалку и вышла на балкон. Глядя на замерший в ночи город, Полина курила под тёмным небом с красно-

ватым оттенком, без мыслей, с чистым сознанием, прислушиваясь к песне нирваны. Потом она вернулась в комнату, легла в постель и погрузилась в сон.

Она видела себя у дверей квартиры Ромы, в браслетах и цепочках, с накрашенными ресницами и губами, над которыми она долго трудилась, время от времени заглядывая в открытый на столе журнал. Замок щёлкнул, и на лестничную клетку ринулся поток нигилистических панковских завываний. Рома стоял на пороге, за плечи его обнимала брюнетка со вздыбленными лаком волосами, покосившаяся футболка открывала белизну плеча. Поля булькнула распухшим горлом и бросилась прочь. Она долго бродила по городу, не чувствуя себя, мешая на лице кашу из слёз, туши и помады. Возле дома стояла машина скорой помощи, санитары загружали в салон носилки, мать билась в истерике, обрывая пуговицы на белом халате врача. Тем вечером заведующий кафедрой сообщил родителям по телефону, что студентка Стежко не сдала профильный экзамен, и ей грозило отчисление. Позже Поля не могла даже вспомнить, что писала, сидя в аудитории, и оставила ли на бумаге хоть что-нибудь, кроме наползавших друг на друга чернильных полос. Жизнь наполнилась бессонницей, запахом больничных палат, шуршанием пачек таблеток. Отец выжил и медленно восстанавливался после инфаркта, теперь в их доме разговаривали полушёпотом, старательно обходя в разговорах произошедшее. Одним утром сгорбленная Поля зашла в кабинет заведующего кафедрой. Фёдор Степанович слушал её бессвязный монолог, глядя в сторону, а потом вдруг прервал на полуслове. «Очень бы не хотелось терять вас, Полина, – сказал он, – вы действительно перспективная студентка. У вас хорошие способности к аналитике, память, умение вычленить важное в потоке информации. Но даже не это главное. Вы чувствуете философию, не как набор абстрактных идей, неприменимых в реальности, но как жизненные взгляды конкретного человека, плоть от его плоти, пускай он и жил столетия тому назад. Такая себе эмпатия сквозь время. Я искренне сочувствую вам, это счастье, что отец ваш поправляется, но согласитесь, всё ведь началось значительно раньше. Я не буду спрашивать, как отличница и активистка умудрилась завалить сессию, не привык лезть в чужую жизнь, но шанс вам дать готов. Как вы понимаете, у меня есть некоторое влияние, и я могу добиться для вас разрешения сдать все экзамены задним числом, скажем, до конца второй декады августа, это крайний срок. Если всё сложится удачно, вы перейдёте на четвёртый курс без каких-либо препятствий. Решение, конечно, я оставляю за вами, но ответ мне нужен до конца недели».

Поля впряглась в работу. Она не отрывалась от книг, позволявших отвлечься от воспоминаний о белеющих на широких плечах руках, слыша в соседней комнате шаги отца, понемногу возвращавшегося к жизни. Задолженности были закрыты ещё в начале августа. Всё это время Фёдор Степанович находился рядом, физически и незримо, консультируя, договариваясь с преподавателями по поводу индивидуального графика сдачи зачётов и экзаменов, подбадривая. В день закрытия сессии Поля вновь оказалась в его кабинете. Она благодарила, сбивчиво, путаясь в словах, и, как и тогда, он прервал её, на этот раз мягким жестом руки.

«То, что я сейчас скажу, может показаться вам странным, даже диким, я и сам чувствую себя стеснённым, но озвучить это должен. Лучше жалеть о том, что сделал, такая вот бытовая философия. Мне пятьдесят, я на тридцать лет старше вас, в разводе, детей нет. Бывшая жена – прекрасный человек, но, как выяснилось, характеры у нас несовместимы. Недавно мне предложили перебраться в столицу, в той же должности, но, сами понимаете, возможностей там значительно больше. Решение я уже принял, следующий год ещё поработаю здесь, необходимо уладить множество вопросов, а потом попрощаюсь с коллективом. Не буду ходить вокруг да около, мне нужна спутница. Сразу говорю – речь идёт об официально узаконенных отношениях. Иметь любовницу человеку моего статуса не пристало, да и, признаюсь, такая перспектива меня совершенно не прельщает. Я предлагаю вам стать моей женой. Не буду апеллировать к бесам и рёбрам, суть здесь иная. Насколько я мог понять, у нас с вами, Полина, много общего. Речь в первую очередь о мировоззрении, видении вещей, а что может быть главнее для философа? Считайте, что я тот самый чародей, который, чувствуя скорую смерть, ищет достойного ученика, чтобы передать ему свои знания и создать иллюзию продолжения жизни в другом человеке. Я, пожалуй, немало сделал на своём пути, но мне бы хотелось видеть результаты своих трудов рядом с собой, а не вспоминать студентов, которых, скорее всего, никогда больше не увижу. Я могу многому научить вас, развить и огранить ваши таланты, предоставить вам перспективу, которой вы лишены здесь, в Городе. Тридцатилетняя разница это, безусловно, существенно, но в столице значительно более либеральные нравы, к тому же там вас никто не будет знать. Я не рассчитываю на ответ в ближайшее время, у вас чуть меньше года, чтобы сообщить мне о вашем решении. Если вы согласитесь, то я добьюсь вашего перевода в столичный ВУЗ, это будет несложно сделать при наличии у вас диплома бакалавра. И помните, как и в прошлый раз, решение остаётся только за вами, оно никак не повлияет ни на учебный процесс, ни на моё к вам отношение».

Спустя полгода Поля сказала Фёдору Степановичу «да». Окунуться в иную жизнь было лучшим способом забыть, и это было неизмеримо важнее, чем наличие перспектив. Родители отреагировали спокойнее, чем она предполагала, они, пожалуй, были даже рады решению дочери на фоне недавних событий.

Фёдор сдержал своё слово, он стал для Поли всем: покровителем, наставником, а потом и мужем. Ему первому она рассказала обо всём, с ним первым она познала радость любви рука об руку с чувством покоя и защищённости. Пять лет спустя их переезда в столицу Полина родила сына Севу. Фёдор не помнил себя от счастья. Все месяцы беременности и после Полина не прекращала заниматься исследовательской деятельностью. Завкафедрой философии был прав, и своим карьерным ростом его жена была обязана в первую очередь собственным талантам и трудоспособности. Они счастливо прожили вместе почти тридцать лет, прожили жизнью, наполненной любимой работой, со знанием того, какой должна была быть семья. Муж ушёл, тихо и без мучений, когда Полине шёл сорок девятый год, успев взять на руки недавно родившегося внука. Полина не думала о новых отношениях, работа и заботы о семье занимали всё её время. Они жили вместе, сын, его жена и внук, в большом доме, где было достаточно пространства, чтобы не вмешиваться без надобности в жизнь других. У неё всё же были два краткосрочных романчика, бесследно прошедших, оставивших ощущение потерянного времени.

А потом ей стали сниться сны. Она видела Полю, потерянную в тусовке неопытную девочку, видела равнодушные лица, глаза, наблюдавшие за её трепыханием угодившей в сеть жертвы. Видения не прекращались, и однажды Полина решилась. Она отыскала в Сети Веню, записала адрес его магазина и через несколько дней сообщила родным о том, что собиралась на несколько дней уехать из столицы, чтобы поучаствовать в некой конференции. План возник в её голове сам собой. В Город возвращалась Поля, девочка в джинсах и футболке, с флягой коньяка и сигаретами, которые курил её муж. Она огорошила своим появлением Веню, получила координаты Леры и, наконец, появилась на пороге квартиры Ромы. С тех пор она приезжала в Город ещё четыре раза, всякий раз никого не предупреждая. Возвращаясь в столицу, она жила следующий год своей привычной жизнью, а в начале лета вновь являлись видения. Улыбаясь, Полина грезила, и незаданный вопрос не тревожил её сон.

***

Утро прошло в тишине. То, что происходило между ними накануне, не проявленное в словах, но всё же реальное, теперь казалось чем-то далёким, странной сказкой, рассказанной на ночь. Она сделала лёгкий завтрак, и они сидели за столом у окна, наблюдая, как растворялся в воздухе дым над чашками.

– Какие планы? – нарушил он молчание. – Побудешь ещё?

– Пора выдвигаться потихоньку. Обещала к вечеру быть. Мои в отпуск за границу едут, нужно им помочь собраться. Семейные дела, в общем. Да и пока голова ещё свежая… Пять часов за рулём в шестьдесят – это тянет на испытание.

– Поля, – он поднял чашку, подержал в воздухе, поставил на стол, не донеся до губ. – Ты так и не ответила мне. Ни разу, сколько бы я ни спрашивал. Ты сама говоришь о возрасте, и тут же эти игры, как у пятнадцатилетних. В чём смысл, объясни, я не вижу.

– Смысл… Он есть, просто у каждого свой. Возможно, существует и универсальный, но это уже по части священников с политиками. Слушай, а прочитай мне что-то своё, на твой выбор. Так, как ты сейчас чувствуешь.

Он помолчал, перевёл взгляд в окно и начал.

Когда отгремело всё,
Подошвы по полу, овации,
Когда охрана передала по рации,
Что можно в гримёрку вести,
Я, табакерочный чёрт,
Господи, прости,
Обходными путями, ха-ха,
Как всегда,
Низкими коридорами,
Картонными кулисами,
Угловыми курилками
Пронёсся, и да,
Вот она,
В гримёрку твою дверь,
А у неё никого,
Верь мне, дружище, верь,
Нет там барьера,
Нависшего затылком бритым,

Он не зол,
Просто жена, дети, кредиты,
Сорри, убежал я снова
Мыслию по древу.
Короче,
Зыркнул вправо, зыркнул я влево,
А ты по центру сидел,
И я тебе сразу с порога
Про творчество, вечность, про бога,
Поднял ты лицо
В трещинах грима,
Сказал – ну и что,
Все они глина,
Её месить – то наша задача,
Не бывает, не будет иначе,
Я сглотнул, лицом дёрнул и вышел,
Коридор меня принял и, слышишь,
Слышишь –
В пол подошвы, в ладони овации,
Захлебнулась на поясе рация.

Стало тихо. Её тень на стене дёрнулась, он сидел неподвижно.

– Ну вот. В этом и есть твой смысл. Я пойду собираться.

Они расстались почти без слов. Пересекая двор, Полина чувствовала его взгляд из окна. Ей захотелось обернуться, но она лишь ускорила шаг.

***

На стоянке она отдала охраннику талон, нашла свою машину, переоделась, отправив джинсы, футболку и кроссовки в рюкзак. Выехав за ворота, повинуясь импульсу, Полина притормозила и повернула голову. Мальчик с ракушками стоял на том же месте. Они посмотрели друг на друга, и он вдруг улыбнулся, так, словно знал секрет, известный только им двоим. Полина подмигнула своему юному сообщнику и направила машину в сторону трассы. По дороге она один раз остановилась, чтобы заправиться и выпить кофе. К своему дому Полина подъехала в мягком вечернем свете. Она открыла ворота, завела машину во двор, зашла в прихожую, присела на банкетку. Быстрые шаги простучали снаружи, дверь отворилась, и на пороге возник Коля.

– О, бабушка, привет. Уже вернулась?

– Как видишь, – Полина обняла внука. – Как вы тут?

– Да норм всё. Мама с папой на работе ещё, разгребают что-то перед отъездом. Слушай, идём я тебе видео покажу, вчера с пацанами сняли, больше чем триста просмотров уже.

– Ага, только дай хоть душ с дороги принять. Двигай к себе, я всё сделаю и приду.

– Ок, – Коля исчез, оставив дверь нараспашку. С минуту Полина сидела, не двигаясь. Она думала о любви и разобщённости, о его словах о мести. В рюкзаке пискнул телефон, извещая о низком заряде батареи. Полина поднялась, тряхнула головой и закрыла дверь.

Одним ничего не предвещавшим февральским утром я шёл на работу. Навстречу мне двигалась женщина, немолодая, хорошо одетая, с сумочкой на плече. Внезапно она остановилась, достала что-то из сумочки и поднесла к губам. Я подошёл ближе и увидел, что это была пудреница (ну или нечто похожее, в подобных вопросах я полный профан). Так или иначе, запускающий фантазию механизм сработал. История женщины, раз в год вырывающейся из привычного жизненного контекста, долго дремала у меня на задворках сознания, а потом, как это чаще всего и происходит, повесть была написана за несколько дней. Говорят, у каждого есть свой смысл, у вопросов ответы, а punk's всё так же not dead. Я хочу верить в это. Отдельное спасибо за иллюстрацию талантливому человеку Майе Владимировой. Она с удивительной точностью визуализировала образ, возникший однажды в моей голове.

ГАЛИНА ИЦКОВИЧ

БРАТ УБИЛ БРАТА
рассказ

I

– Долго ты ещё? Сколько можно? – в минуты раздражения Леля всегда нарочито артикулирует. Когда-то в нереально отдалившемся и как-то выцветшем в памяти доэмиграционном прошлом была она Еленой Георгиевной, но Америка сокращает и упрощает. Имя – наше всё, как сказал бы классик: оказавшись к середине жизни без отчества, Леля как-то резко потеряла неприступность светской дамы, а теперь так и вовсе стала находить некий шарм в сочетании детского имени и старушечьей маски, сложенной из сотни морщин и морщинок.

– Сколько можно? Павел, ты слышишь меня?

Блестящий оратор, известный правозащитник, неутомимый бабник, полиглот, остроумец, человек, сколотивший и промотавший как минимум два состояния, владелец диплома самого престижного учебного заведения страны прежнего и должности профессора одного из старейших университетов в стране нынешнего проживания сидит у стола на веранде и с напряженным вниманием гоняет по тарелке быстро застывающий ком картофельного пюре. На больном модного цвета розовая рубашка. Грудь рубашки и колени выглаженных брюк хаки покрывает клеенчатый передник, завязанный вокруг шеи по образцу младенческого слюнявчика.

У соседей по дачному кооперативу гости. Конечно же, позвали их обоих, а не одну только Лелю, но не хотелось бы тащиться туда с Павлом: колёсики тяжёлого инвалидного кресла то и дело соскальзывают с узенькой горбатой асфальтовой дорожки в размытую обильными дождями этого лета почву. Леля уже с середины дня начала готовить Павла к тому, что в гостях ему будет неинтересно: сам знаешь, кого туда пригласили и чего от них ожидать… Да и не услышит он пустую их болтовню, новый слуховой аппарат оказался очень неудачным и надевать его – чистое мучение.

Хитрость сработала: Павел промычал нечто утвердительное, вроде бы соглашаясь остаться, но вот – растягивает (скорее всего, нарочно) ужин. Если б он поторопился и достаточно быстро доел, она уложила бы его на веранде и включила бы платный русский радиоканал, чье энергичное жужжание обычно убаюкивает его быстрее любого снотворного. И можно было бы ещё застать чужой праздник и проглотить, не жуя, кусок светской жизни а-ля Пояс Борща (такая чуть снисходительная кличка закрепилось за ближними отрогами Катскилльских гор с прибытием первых русско-еврейских дачников ещё в начале прошлого века).

А ведь как, бывало, боролись за мимолётный интерес со стороны Павла различные дамочки, чьи внучки нынче с наигранным сочувствием и скрытой брезгливостью взирают на эту пару: статная не-совсем-ещё-старуха в неизменных тёмных очках, прячущих от любопытствующих чудные, глубокие, живые глаза, карие, оттенка пьяной вишни, и скособоченный крупный старик-скелет в кресле, прозрачные, тонкие, как закладки, пальцы прикрывают полуслепое лицо. Корабль, который никуда больше не поплывёт.

Леля сидит под катальпой, закинувшей длинную свою тень на щербатый пол веранды (повезло – на их дачном участке растут не плебейские, роняющие листья всё лето и совсем уж непристойно мусорящие осенью клёны, а эти экзотические красавицы в длинных серьгах), и ждёт конца пюрешной экзекуции, пережевывая, как жвачку, мысль о несправедливости судьбы. Вот что досталось ей в награду за долготерпение и верность – долгое, после инсульта и последовавшего за ним инсультика, десятилетие его беспомощности, сопровождающейся той же капризной требовательностью, которой Павел отличался со дня их первой встречи шестьдесят с лишним лет назад.

Сначала он был её стабильным, перспективным женихом; потом, в Москве уже, оказался рисковым и страстным любовником. Он был мастер случайных касаний (походя поправить воротничок, дотронуться до выпавшего из прически локона); те, кто знал этот сладостный код, читали тайные знаки в его оценива-

ющих взглядах и выверенных движениях. Но Леля с любого расстояния замечала вспышку пристального внимания, направленного не на неё, привычно-умело регулировала ситуации, возникавшие на каждом шагу, отмечала поздние приходы, отвлекала на домашние дела – а когда сложных ситуаций, требующих его неотложного присутствия, не находилась, создавала их на ходу. Ветреный супруг неизменно возвращался к ней, как будто предчувствовал, что именно такая женщина нужна будет ему в поздние его годы. Что именно такая затянувшаяся, унизительная старость ожидает его в конце блестящей жизни.

А она что же? Она стала женщиной, толкающей инвалидное кресло.

*

Леля помнила неприлично много. Страшно сказать, каким годом датировалось первое воспоминание-ощущение себя. Женщины столько не живут, как сказал о ком-то знакомый остряк. Сказал как припечатал. Старость возвращает человека в позу эмбриона. В лучшем случае, складывает вдвое. Но Леля пока держалась. На самоуважении, скорее всего. Читать она училась по неизвестно откуда взявшемуся в послевоенной ростовской коммуналке дореволюционному изданию романа Гюго «Несчастные» (это потом уже, при Советской Власти, они стали *Отверженными*) – от ятей и твёрдых знаков пришлось отучиваться уже в школе, – и полностью идентифицировалась с персонажами. Ей хотелось именно этой, книжной жизни, и, невзирая на достаточно благополучное, бессобытийное и неголодное детство, виделась она себе бедняжкой, недооценённой умницей Козеттой, за которой приедет когда-нибудь столичный Жан Вальжан.

С этого места поподробнее, как говорил тот же остряк. Утончённый Павел оказался ближе всех к искомому образу – был в нём некий жар, иррациональное стремление к справедливости, налёт жанвальжанства. Летние каникулы, проведённые Павлом в семье сокурсника, с чьей сестрой дружила только что окончившая школу Леля, обернулись скороспелой женитьбой, и уже к зиме Павел со свойственным ему благородством вытащил из Ростова всё её семейство, позволив юной хозяйке превратить их московский дом в вечную гостиницу.

(Это Леля так говорила: «Наш дом». Жили они в хорошей большой квартире, доставшейся Павлу в результате сложного размена, но не в доме же! – а слово нравилось, было каким-то просторным, исконно московским. В Москве она почувствовала себя толстовской героиней, барынькой).

Кстати, дух благородного мстителя-разбойника ощущала в Павле не одна Леля; ему непременно надо было за кого-то вступаться и что-то кому-то доказывать. Жан Вальжан №2 потому и стал законником (а потом разочаровался в социалистическом законодательстве и в конце концов был изгнан из брежневской Страны Советов – к счастью, конечно же, к счастью!), что позволял себе поддаваться благородным порывам и лезть в дела политические. Защищал кого не следовало, советы бесплатные давал на дому, минуя юрконсультацию. А результат? Павел был выдворен за рубеж вежливым полупинком, без особой трагедии, без последствий для оставшихся родственников. Просто вызвали куда надо и, безо всякого запроса с его стороны, «разрешили» срочно воссоединиться с несуществующими родственниками в Израиле. Времени на сборы дали несколько недель, а ведь могли бы и посадить, и в психушку закатать. А уж в Риме он сориентировался; изменение конечного пункта на Америку было делом техники.

Эмигрировав с двумя чемоданами, Павел только обрёл новую значимость, новый голос. Даже новый язык был ему не помеха – он свободно говорил на пяти и вообще любил учиться. Он стал одним из первых юристов, подтвердивших советское образование в Штатах, и одним из немногих с блеском сдавших тяжелейший экзамен-bar. И уже вскоре он нашёл, за кого заступаться и с кем спорить здесь, в среде эмигрантов. Леля же, просидев полгода на курсах паралегалов и прихватив между делом курсы делопроизводителей, быстро «взяла» (распространённое в русско-американском новоязе словечко) язык и вскоре вернулась в свою московскую роль верной делоправительницы. Она же эффективный менеджер, секретарша и поверенная в делах.

В американской жизни Павлово неуёмное желание справедливости только убыстряло обороты карьеры и придавало ему дополнительный вес. Другие законы, другое общество, где говоруна, свистающего всех наверх, проще возвысить, чем заткнуть ему рот более примитивным, брутальным «совковым» способом. Престижные университеты вызывали его на собеседование и немедленно предлагали преподавательские часы, а некоторые и кафедру. Он стал рупором русскоязычной общины, именем нарицательным. В конце концов он выбрал солидный Массачусетс и на время забыл о соотечественниках и их проблемах интеграции в американском обществе. А с выходом на пенсию вернулся в суетливый Нью-Йорк и поварился ещё в котле частной практики и, главное, русскоязычной светской жизни – это обязательное условие для тех, кто хочет, чтобы имя его было на слуху, а практика процветала. Его приглашали всегда и всюду, как пресловутого свадебного генерала. Быть Павлом было почётно. Собственно говоря, даже сейчас ещё почётно, хоть он и дремлет иногда за недоступным ему по медицинским показаниям столом.

*

Всё состоялось, мамочки! – Тем более несправедливо, что ничего не удержать. Здоровья не вернуть, вот что, вздыхает Леля про себя. А у дребезжащей двери уже топчется, возится с неработающей щеколдой Ника. Павел, как ни удивительно, замечает его прибытие даже раньше Лели, пуская вместо приветствия длинную, как резинка китайского шарика «йо-йо», струйку слюны на клеенчатую грудь.

*

Никой звала его по старой памяти одна Леля, да ещё Павел при встрече пытался вытолкнуть изо рта плохо поддающимся языком имя двоюродного брата. Новым знакомым он предпочитал представляться Ником, по-американски. Можно не уточнять, кто именно вытащил сюда, в Штаты, всю эту неблизкую родню. Павел мог всё, он и послужил тягачом-«паровозом», а потом уж извольте сами. Хотели Америчку, получайте.

Невысокий и щуплый Ника был из тех маленьких собачек, что ходят в щенках до старости, но за двадцать лет в эмиграции разошёлся в ширину, раздобрел, стал этаким округлым господинчиком, похожим на сводный портрет французских классиков. Прошлой зимой выяснилось, что Нике необходимо срочно сбросить вес, иначе впереди маячила четвёртая операция на сосуды. В результате всех этих расширений и сужений он стал похож на похудевшего Бальзака в слоновьих складках провисшей кожи и в одежде на полразмера больше необходимого.

Ника, ненамного моложе двоюродного брата, лучше всех остальных членов клана (а приехало их на Павловом хвосте не менее десятка, если считать младенцев и старцев) вписался в американско-русскую, без претензий на сплавку с местными, современность. Ника звёзд не хватал, но выполнил обязательную общеэмигрантскую жизненную программу, вырастив семью и выработав достаточное для комфортной (без излишеств, но всё же) американской пенсии количество лет в администрации городских коммунальных служб.

Лелины мальчики, да и сама Леля с Павлом предпочитали жить в Манхэттене, дружить с американцами, по-другому строить фразы. До недавнего времени никому из них не приходило в голову поддерживать общение с родственничками, после работы сбрасывавшими с себя, как рабочую униформу, американство и английский, охотно осевшими в бруклинском эмигрантском котле. Вот разве что покупка дачи вернула «к корням». Вполне в духе чеховских персонажей, они, зелёные от усталости к концу рабочей недели, выжимавшей из них лаймовый сок, мчались сюда. Подальше от брайтонских родственников, упорно приглашавших провести выходные у океана («– У нас здесь бесплатный курорт!»).

Но нынче наступили иные дни для великолепного Павлика – жизнь на пенсии съедает сбережения, а жизнь в полупараличе знакомит с новыми ценностями; и та, и другая сажают на строгую диету, – и пригодился невзрачный братец. Вот и сегодня заехал.

*

Очередная серия доморощенной мыльной оперы: «Преданный родственник не оставляет Лелю в несчастье». Освобождённый от мыслей о судьбах канализации, Ника резвится, как жук весной, находится в постоянном движении, планируя то и это, поездки к бесконечно празднующим что-то друзьям и походы на постоянно приезжающих с родины гастролёров, позволяющие убедиться в том, что жалеть не о чем, что без него всё там разложилось и зачахло, что мысль убога, а чувство разменно. Какое уж тут переживание – успеть бы пережевать жвачку художественных впечатлений. Пар уходит не в свисток, а в мысли о свистке.

Какие-то частички его жизненной энергии достаются и Леле с Павлом – вон, не поленился-таки, притащился сегодня на дачу из города, Павлу составить компанию и Лелю отпустить в гости. Леля не рассчитывала на сегодняшний визит, а потому радуется ему совершенно по-детски, расширяя прекрасные глаза, выдавая самую свою лучистую улыбку, обнажающую некогда белоснежные, а теперь хоть и пожелтевшие, но всё же собственные зубы.

*

Леля вообще, надо сказать, «держалась». Этот эвфемизм, принятый нынче среди Лелиных ровесников, стал расхожим способом обозначения того, насколько быстро старость захватывала позиции. Враг нью-йоркских женщин артрит не вывихнул ещё пальцы, варикоз пощадил стройные ноги. И, как упрямый жилец, всё не выезжающий из дома, идущего под снос, жила на лице её эта улыбка.

*

– Как хорошо, что ты добрался. Трафик замучил, да? – Леля изображает участие. Да нет, она правда сочувствует, самой приходится мучительно выползать из ужасных (верный признак наступления тёплого времени года) пробок на выезде из города, но зато здесь, в ближайших к цивилизации, каких-то полтора часа на север, Катскиллах, дороги просто-таки приглашают к превышению скорости. Она проделывает эту дорогу всего-то два раза за дачный сезон – в горы поздней весной, назад в город ранней осенью. Но никакие пробки не могут затмить очарование слова «дача» для русских душою эмигрантов разных национальностей. Есть всё-таки в летней жизни за городом нечто сладкое, давно забытое, напоминающее ранний рассказ Чехова, прочитанный ещё в школе.

*

У дачи было немало достоинств. Уже не былой массачусетский домина, но всё же. Веранда и гостиная, две спальни и комнатка для гостей – уж просторнее крохотной, давно не по средствам, манхэттенской их квартирки. Леле больше всего импонировала взаправдошность, не-праздность дома, выстроенного по старинке, из допотопных органических материалов, неряшливо, но крепко. Срубить дерево – это конец жизни, но выстроенный из него дом – это новое начало. Она любила начало сезона, слежавшиеся, с трудом перезимовавшие вещи с неистребимым запахом старого шкафа, перетряхивание и проветривание, нарушение паучьих планов. Дом охотно приспосабливался к их ежесезонному возвращению, набирал тепло, быстро выпускал сырость через незакрывающуюся дверь на веранду. Принимал их, в общем. А ещё у дома было прошлое. Не фальшивое, как между нею и Никой, состоявшее в основном из смутных намёков на несостоявшиеся чувства, а самое настоящее, пусть малосимпатичное и грязноватое, но полное мелких и крупных событий прошлое. Под краской обнаруживались обои, под фальшпотолком – антресоли, из-под проломившейся хлипкой внутренней перегородки выпадали свёрнутые в трубочку детские «секретики». Дети Лели и Павла тоже, бывало, засовывали всякую всячину в потайные углы московской квартиры; эта трогательная похожесть чужестранных детей на её собственных, давно выросших, вызывала приступ ностальгии по чужому прошлому.

Здесь когда-то жили-зимовали бессонные жёны строивших старую автостраду рабочих – не по-дачному, а постоянно, всерьёз. А теперь они, дачники, понарошку коротали лето, оставляя настоящую свою жизнь – зачатия и проклятия, долги и склоки – в городе до осени. Ежесезонный спектакль, с невсамделишными дружбами, тайнами-пустышками, псевдозанятостью, разыгрывался почти уже полвека – время здесь было замедленным, состав дачников не менялся, разве что дети, вырастая, один за другим переставали приезжать сюда – даже на выходные не выбирались. Лучше декорации для пьесы-детектива не сыщешь: у самого задника – каталпы, на авансцене – домишки, ограниченное число действующих лиц и постепенно раскрывающаяся сложная предыстория отношений, связывающая всех со всеми.

*

Да нет, это так, шутка, какой уж тут детектив. Измельчал контингент. Дачный занавес открывается, и вот – сцена первая, дуэт Ники и Лели.

– Ты же просила, я и приехал, – жиденьким баритоном вступает партия Ники. Он галантен с Лелей, таков их вечный менуэт, их сложившийся за десятилетия ритуал.

– Как Павлик?

– Павлик прекрасен, как всегда.

– Не ест, я смотрю. А что у вас с часами? – Ника внезапно прерывает политес.

Большие часы-будильник, приобретённые давным-давно в деревенском магазине антиквариата (антиквариат был соответствующий, из домов зажиточных катскилльцев начала двадцатого века, и являлся отражением деревенских вкусов, но мода на стиль «кантри» придала всей этой рухляди романтическое обаяние), действительно показывают что-то несусветное, но их день двигается сам собой, по расписанию, въевшемуся в самое естество – с начала лета, с начала года, со времени болезни Павла, с ухода на пенсию? Кто уж теперь упомнит.

Леля совершенно машинально начинает было вручную передвигать стрелки, но минутная вдруг беспомощно провисает, а часовая и секундная и вовсе падают с проржавевшего, по всей видимости, штырька. Теперь они лежат за стеклом, как мёртвые мотыльки, накопившиеся за ночь между оконными рамами.

Оставив в покое часы, она беспомощно оборачивается к Павлу, который действительно не ест, а развозит полужидкое, приготовленное в соответствии с указаниями патронажной сестры, блюдо по тарелке:

– Да, не ест. Измучил.

– Докармливать не пробовали? *«Ensure»* там, ещё какие добавки…

В Лелином голосе возникает быстрый, легко вскипающий, как кофейная пенка, гнев:

– Ты не должен его кормить, не беспокойся. Я ненадолго, посижу часок и домой.

– Чей сегодня день рождения отмечаете? Схожу поздороваться, – Ника уже наигрался в сестру милосердия и разворачивается к выходу. Он наведывается сюда достаточно часто и знает всех дачников. Леля видит его насквозь, понимает эту наивную хитрость – зимой Ника отнюдь не спешит примчаться по первому её зову в их городскую квартиру, а сюда, в горы, всегда готов. Часок-другой в гостях оборачивается визитом на весь уикенд. Ника здесь в фаворе. Вообще эмиграция смешивает слои социального пирога в этакую запеканку из всего, что попалось под руку. Невостребованные университетские преподаватели, получающие унизительное пособие, за праздничным столом радуются соседству бывшего слесаря, принятого на городскую работу и получающего солидную зарплату.

*

Странно, что эти люди, недавние жители белорусских и украинских местечек, принимали с одинаковым воодушевлением и лежалые Никины анекдоты, и тонкий сарказм Ляли, и (когда-то, до болезни) не делающее скидок на интеллектуальный уровень собеседника красноречие Павла. Всё съедали и просили добавки. Но всё-таки, всё-таки – анекдоты Ники им были ближе. Смеясь, подталкивали другу друга локтями, вертели наивными круглыми головами:

– Ну, Ник даёт… убил, просто убил…

Леля невольно ловила себя на том, что почему-то тоже хочет нравиться милым этим провинциалам. А потому – если Павел не протестовал, до конца просиживала на скучноватых застольях; превозмогая брезгливость, ела полусвежие салатики, невесть кем приготовленные в традициях складчины, в традициях русской кухни, то есть с большим количеством вредного ей майонеза; с фальшивым оживлением обсуждала дешевизну здешнего супермаркета с гостями-однодневками; гладила чужих собак. Хорошо, что её не щадили как уставшую от жизни жену инвалида, а попросту, по-соседски приглашали; значит, не замечали, до чего она отличается от остальных обитателей, или мудро прощали её хорошо замаскированный снобизм.

*

Ей не жалко, пусть Ника ест и спит на бесплатной (для него) даче, плещется в освежающей воде горного озера, но зачем притворяться, что он здесь ради них с Павлом? Хотя – он, наверное, действительно считает себя их благодетелем. Мерзко. В Москве Павел без грубости, но твёрдо и холодно выставил бы его. И выставлял, уж поверьте. Да и Леля смогла бы. Но сегодня хочется в гости.

– Потом поздороваешься, – поспешно говорит Леля, пытаясь остановить Нику и мучительно пытаясь выиграть время, пока сама она накрасится, наденет плащ-дождевик и будет готова шмыгнуть за дверь. Она наблюдает за собственной постыдной суетливостью с лёгким омерзением. Оттого, что её желание улизнуть так сильно, самой противно. Но другая часть её уже лепечет что-то, заговаривает Нику, отвлекает:

– Как твои? Тамара у внуков, наверно? Хочешь пить?

Ника неохотно тормозит, не выпуская щеколду, что-то говорит в ответ, принимает из её подрагивающих, напряжённых рук стакан компота со льдом (лёд не выпадает, как задумано, из ячеек старенькой формы, и её приходится простукивать, как лёгочного больного, в поисках расшатавшегося куска. Время, время!..). Но, увы, вступая в общение, он в то же время неуклонно замедляет её сборы. Это похоже на вязкий сон на грани кошмара, в котором движения замедлены и нарочито усложнены, а желанное спасение никогда не наступает.

– Я всё-таки пройдусь, ноги затекли. Два часа за рулём. Кровообращение, знаешь… – Ника предпринимает ещё одну попытку сойти с веранды.

Ход Лели:

– Подержи-ка зеркало, посмотрю на собственную стрижку. Представляешь, это наша помощница постригла меня перед выходными. Прямо здесь, на веранде, и стригла. Нехорошо, верно?

Когда Леля, бывало, выщипывала брови и усики над верхней губой рейсфедером, каждый чёрный с золотым отливом волосок выдирался с усилием, произнося сердитое «ах!». Теперь же её прежде такие живые волосы превратились в нечто воздушное, наподобие сливок с сахарной пудрой. Они каждое утро устилают подушку, остаются на щетке для волос. Они огорчают её, но сегодня ещё раз сослужат службу.

Она вручает Нике настольное зеркало и изгибается в отчаянном всплеске былого кокетства.

Невероятно, но старый трюк срабатывает настолько, что Ника пытается, не выпуская зеркала, поцеловать её в затылок.

– Леля, Лелечка.

– Это отвратительно, – спокойно резюмирует Леля. – Маразм всегда отвратителен.

Ника надувается, как мальчишка. Собственно говоря, в те далёкие московские дни, когда в самый первый раз попытался подступиться к Леле (и, разумеется, получил в ответ порцию ледяного презрения), он и был мальчишкой. Давненько он не решался приблизиться к ней! Но что-то изменилось, треснуло то ли в воздухе, то ли в самой Леле, и он почему-то решил, что сейчас наконец-то можно. Слабость и суетность её почувствовал, да-да, тщательно скрываемые, хорошо защищённые от посторонних взглядов слабость и суетность.

*

Павел на мгновенье встрепенулся в кресле – принял словечко «маразм» на свой счёт? – но снова погрузился в возню над тарелкой.

*

Ника, даже не взглянув на него, берёт Лелю за руку. Ей до озноба ясно, что никто давным-давно уже не дотрагивался до неё. Никины попытки почувствовать себя мужчиной, все ещё производящим тестостерон, постыдны и унизительны, но она нарочно не оттолкнула его руку сразу, в секрете от него вбирая это жалкое касание, складывая его куда-то в память эпителия (интересно, есть ли память у клеток эпителия? – никогда раньше не задумывалась об этом). Пожалуй, впереди у неё только короткие деловитые прикосновения врача, сиделки, а потом, когда-нибудь, служащего в морге или какого-нибудь скучающего патологоанатома.

*

Отобрав руку, она собирает рассыпанные, раскрошенные обломки разговора, но Ника идёт ещё в одну атаку, продолжая шептать:

– Лелька… ты чудо…

– Ты спятил, это ясно.

– Накажи его хоть сейчас, – достаточно громко шепчет Ника, и Леля вдруг понимает, что это всё – спектакль для больного. Никогда ещё Ника не шептал так выразительно, раздувая по-лошадиному ноздри, слишком крупные по сравнению с прочими чертами его довольно-таки мелкого, невзирая на полноту, лица – явно делал вид для Павла, чтобы тому стало ещё больнее.

Больной тем временем бледнеет всё больше, растягивая белые губы, силится издать звуки. Выходит сипучий полувздох, полусвист.

– Он же всю жизнь тебе, всю жизнь… Лель…

– Ты ведь брат ему. Не стыдно тебе? – чеканит Леля.

– А вот он с твоей сестрой не церемонился…

Леле кажется, что где-то упала чашка. Нет, это в собственной её голове натянулись струны, послышался праздничный звон крови.

*

Московские раскладушки никогда не пустовали. Испокон веку девочки, сестрички, провинциалки вытягивали друг друга в столицу: женихов другу другу искали, вступительные экзамены в различные непопулярные вузы сдавали, связи налаживали, концы связывали. Лелина младшая сестра Аля приехала из Ростова естественно и просто, по Лелиным следам, и остановилась, конечно же, у Лели с Павлом. Была она совсем другой: невысокой, мелкокостной, с бледной, в почти невидимых веснушках кожей, немногословной, без Лелиной царственной фигуры и осанки, хоть и с Лелиным вишнёвым светом в глазах. А ещё во взгляде сквозила нотка какого-то безумия, необъяснимая и неуловимая. Про таких говорят: «Что-то в ней есть», – и, не зная, как назвать это «что-то», несут чушь о глазах и волосах.

К моменту переезда в Москву Аля уже закончила институт и была дипломированным инженером с удачно оформленным откреплением. В ней, тем не менее, тихо жил неприкаянный гуманитарий, а инженерная должность была ни к чему. Алю удалось пристроить на работу в научную библиотеку уважаемого исследовательского института. За полгода работы она не потеряла провинциальной свежести и непосредственности, поэтому, когда пришла разнарядка и её как еврейку, не вошедшую в процентную квоту по организации, сократили, симпатизировавшая ей начальница без просьб замолвила словечко.

Теперь уже бывшая начальница познакомила Алю с начальником НИИ совсем другого профиля, располагавшегося через дорогу, и через неделю она приступила к должности личной секретарши. Ещё через полгода её из этого второго НИИ тоже сократили по той же причине, но благополучно вернули на должность библиотекаря первого НИИ. Третий переход через дорогу не состоялся: через несколько месяцев на старой новой работе Аля внезапно собралась и уехала, да не домой, а куда-то в деревню. Однажды Леля вернулась домой с работы, а Алиных вещей нет. Ни письма, ни прощальной записки, ни объяснения.

Леля списала всё на нервы, на разницу в возрасте, на отсутствие у сестёр общего детства и общих воспоминаний. Ну ладно, в Москве всё оказалось непросто, но они-то, родственники, тут при чём? Не хотелось считать сестрёнку неблагодарной, но Аля так никогда и не попыталась восстановить отношения с Лелей. Всего-то и надо было, что позвонить, и Леля приехала бы, примчалась, не спрашивая ни о чём, но звонка не последовало. Что-то произошло между ними, чем-то она обидела сестру? – Леля из принципа не спрашивала о ней, да и мама не упоминала. Что-то сказала вскользь о неудачном аборте, но у кого их не было, неудачных абортов?

Так прошло ещё полжизни. После папиной смерти Леля перевезла маму в Москву. За всё время, отпущенное маме в их доме, Аля ни разу не появилась у них, хотя, видимо, раньше родителей очень даже навещала и была в курсе маминого перемещения. На похороны мамы тоже не приехала. Собственно говоря, Леля с трудом отыскала её адрес, чтобы сообщить – послать в Алину тьмутаракань безответную телеграмму.

Когда она изредка вспоминала сестру, воспоминания были нечёткими, как кадры старого фильма, и грусти не было совсем. Ей даже приходилось делать усилие, чтобы оформить мысль в предложение «У меня когда-то была младшая сестра». Как будто сам факт существования Али был проявлением синдрома фальшивого воспоминания. То, что сделала она с образом сестры, повторилось потом многократно, когда стали один за другим уходить ровесники. Лелина память – штука странная, прихотливая даже.

*

– Знаешь, сколько у него было женщин? И он не знает – перестал считать после ста пятидесяти. А в первые годы ваши, – Ника делает округлый жест, объединяющий первые годы Лелиной семейной жизни в объёмистый пляжный мяч, – он, если не снимал двух девиц, считал, что день не задался. Ты поищи хорошенько в бумагах, наверняка должен быть список имён и дат. Бо-ольшой знаток был, – Ника-Бальзак без улыбки скалится своими новыми, крупнее прежних, чтоб рот не проседал, зубами.

*

Время, неторопливое, почти остановившееся время дачного домика всколыхнулось и покатилось вспять, как пресловутый мяч, раскручивая события в обратном порядке, стирая макияж старости с действующих лиц. Прошлое оказалось совсем рядышком – так из плохо задвигающихся ящиков комода торчат вещи прошлого сезона. Леля заглянула в такие глубины этого комода, что совершенно явственно прозвучал голос сестры:

– Я не разбираюсь в людях, поэтому мне всё время что-то чудится. Я никогда не могу сказать точно, что происходит на самом деле.

Была у Али странная манера говорить с ней жалобным, чуть капризным голосом. Леля думала, что Аля говорила о двуличных сотрудниках на новой работе. Видимо, это неумение понимать людей, читать секретные знаки, разбираться в недосказанностях у них было семейное. Или… ей не хотелось видеть то, что происходило на её глазах?

Вспомнилось, что некоторые Лелины подруги отдалились после Алиного бегства. Как будто бы она развелась с Алей и надо было выбрать, на чьей они стороне. Как будто она была в чём-то виновата. Леля ничего не могла понять. Получается, о романе Али и Павла знал не только Ника. Получается, её слепоглухоту считали некой тактикой. Все, значит, полагали, что она принесла в жертву собственную юную сестру, чтобы удерживать Павла дома.

Пружина воспоминаний раскрутилась ещё дальше, и она явственно вспомнила совместную поездку на море. Павел сам пригласил Алю. Широкий жест, что и говорить. Вчетвером (это было года за полтора до рождения младшего сына) заняли всё купе, играли в карты, смотрели на оживляющийся пейзаж за окном, хихикали без повода, выгоняли Павла в коридор, переодеваясь, а он протестовал:

– Что за дискриминация, так я полдороги простою за дверью.

Весело. Он был очень любезен и заботлив и даже взялся научить её плавать. Леля вспомнила Алин купальник в аляповатых фиолетовых розах (лямка всегда сползала с левого плеча, и Аля механически, бестолково всё поправляла её) и отрешённое её лицо, когда вместе с Павлом она выходила из воды (капельки

то ли пота, то ли морской воды над бледном лбу и над бесцветной верхней губой). Совсем простенькая внешность, фигурка никакая – тем более трогательной сестра казалась Леле.

– Зачем плавать, я тут, у берега, – как-то сказала Аля. Но Павел настаивал и учил её лежать на воде, подставлял ладони, ты что, боишься, а теперь на животике, ты, главное, греби, я уж не уроню… а она всё больше расстраивалась. А обратно ехать было как-то тяжко, и Аля больше не переодевалась в их купе с ней вместе, а всё бегала со сверточками в туалет.

*

– Сволочь какой, – неожиданно говорит Леля, удивляясь маминому словечку: и мужскому роду этой самой сволочи, и маминым интонациям, ростовскому говору. Удивляясь остроте чувств: как оказалось только что, её ежедневные чувства напоминают по вкусу бессолевую диету. Забытые, казалось, напрочь гнев, горе, ненависть толкаются, пробиваясь к выходу.

*

Мама, до Лелиного рождения совпартработница, с годами и появлением младших детей постепенно терявшая ответственные посты и съехавшая к старости до «технички» (уборщицы, если называть вещи своими именами), никогда Павлика не любила и благодарности за дочкину благоустроенную жизнь не испытывала, а Павлик краснел за тёщин внешний вид и примитивные высказывания, но терпел, конечно.

*

А сейчас… не краснеет. Ему вообще уже не стыдно, не больно, потому что его прежнего уже нет. Он хрипло дышит, спасаясь в полудрёму, и не высказать ему обид, претензий, оскорблений, которые пенятся на Лелиных губах, потому что они потеряли прежний смысл для Павла. Никак нельзя ни поссориться с ним, ни обвинить. Ах, спасительный слуховой аппарат, отказывающий именно в ключевые моменты! Леля всё знает про инсульт, но не исключает и элемент симуляции.

Слова, мелкие, неуловимо хрустящие на зубах, как плохо очищенная, налипшая на крутое яйцо там и сям скорлупа, не складываются в связные предложения.

*

То, что пыталась высказать Павлу взбешённая Леля, было настолько мельче, чем то, что она ощущала, чем далёкая память о сестре в её мышцах и тканях: щека помнила и горевала о тёплом касании Алиной щеки; ладони скучали по Алиным прядям, сплетаемых ею когда-то в тугую, неохотно поддающуюся такому насилию косу. А она-то, глупая, жаловалась на несправедливую участь старшей сестры, вынужденной заплетать по утрам косы младшей. Каждый миг её жизни с Алей приобрёл антикварную ценность, как только стало ясно, кто и почему отнял у неё сестринство. Вот что отнял у неё Павел – доверительные, доверяющие прикосновения. Полжизни прикосновений. Это простить уж совсем невозможно, да и зачем ему, этому остову человека, её прощение. Он эмоционально проржавел, истончился до инстинктов.

– Сволочь какой, – повторила Леля и дала старцу лёгкую пощёчину. Вдруг ужасно захотелось жить по-маминому, печенье макать в чай, шумно грызть сахар, издавать неприличные звуки, доверительно сообщая собеседнику: «Ну надо же, гороховый вчера варила…». И, самое главное, не стесняться называть подлость – подлостью, предательство – предательством. Предательство, наивысшая подлость, когда её дети, возможно, приходятся одновременно двоюродными и единокровными ребенку её сестры (был ли аборт, о котором упоминала мать? Родила ли Аля ребёнка после бегства из Москвы? Кто теперь разберётся) – эта мысль никак не додумывалась до конца.

Чашки в висках продолжали биться одна за другой, целый сервиз чашек. Она была одновременно предательницей и подло преданной, жертвой и преступницей по умолчанию. Внезапно Ника снова ухватил её пальцы. Держал и не отпускал. Удивительно, какую мешанину самых разнообразных чувств можно испытать от невинного касания. Леля оттолкнула было братца. Но он настаивал, наступал, и, неожиданно для себя самой, Леля прекратила сопротивляться его объятиям. В конце концов, они предоставляли терапевтически необходимое унижение – лечение унижением и для неё самой, и для обмякшего навеки, наблюдающего за сценой Павла. Вырезанные из картона бывшие люди отдаются бывшим когда-то страстям. Леля, не отклоняясь более, повернула лицо к Нике, и мертвечина его зубов сухо клацнула о её зубы. Они разыгрывали сцену соблазна для единственного зрителя.

Вдруг задуло, да, так, что весь сор с дорожки вмиг взлетел на веранду. Дождь и ветер включились одновременно, как будто кто-то воткнул в небесную розетку гигантский электроприбор непонятного назначения.

Ника засуетился: «Крыша!.. Крыша открыта!» – и покатился с крыльца в облако водяной пыли, в горизонтальные жалящие струи закрывать солнечный люк на крыше машины.

Леля, двигаясь с трудом (или это ей казалось? – как если бы она бежала по грудь в воде), подкрасив вялые губы красной умершей, липкой от старости, перезимовавшей на даче помадой, тоже направилась к дрожащей от ветра хлипкой двери. Бросила, полуобернувшись:

– А ты посидишь дома, – наказывая мужа за унизительный рассказ Ники, за не менее унизительное удовольствие от мерзкого старческого, «кости лязгают о кости», поцелуя, за собственную внутреннюю мертвечину и медленный распад, за потерю сестры, за многогранность, многоступенчатость тех унижений, которым она подвергалась годами и продолжала подвергаться теперь. Омерзение оказалось самой живучей эмоцией. На сегодня довольно.

Больной попытался возразить, издал жалобный, потоньше, звук. Но она в ответ скрипнула дверью, потом хлопнула так, что краска посыпалась. Перед глазами Павлика (он теперь – маленький, всеми покинутый Павлик) запорхала серая крупа, может статься, и новый инсульт.

*

Больной устал сидеть за столом, он ждёт, чтобы его переместили на канапе, но никто не поднимается на веранду. С улицы слышны голоса:

– Это она от перепада погоды.

– Поскользнулась…

– Не двигайте, не двигайте, ждём парамедиков.

– Неудачно… прямо на камень. Давно надо бы отремонтировать дорожку, куда смотрит менеджмент…

Больному безумно жалко себя. Не то чтоб до слёз, но жалко. Комната кружится, ускользает, отказывается организовываться в привычную картину. Больному страшно. Он было начинает беззвучно хныкать, но, притомившись, скатывается в дремоту.

ИЛЬЯ РЕЙДЕРМАН

МЕЖДУ ЛЕТАЛЬНЫМ И ВИТАЛЬНЫМ

***

Я во времени настоящем,
возмутительно ненастоящем,
лёгком, словно пивная пена, –
пузырьки, что лопнут мгновенно.
Люди, сделанные из картона,
(хоть и с кровью по-прежнему красной)
умирают без крика, без стона.
И не кажется смерть ужасной.
Я во времени настоящем,
возмутительно ненастоящем.
Нет ни тяжести в нём, ни боли,
лишь щепоть иронической соли.
Всё серьёзное – лишь помеха.
Праздник похоти. Праздник смеха!
И когда становится жутко,
говорят: это только шутка!

***

Между абсурдным, но привычным,
и абсолютно неприличным,
между витальным и летальным,
желудочным и генитальным,
работой, что не пахнет потом,
и глуповатым анекдотом,
существованьем виртуальным,
политиканством карнавальным,
между обедом и уборной,
звонком пустячным, сплетней вздорной,
– между всем этим, между, между…
Попав сюда, оставь надежду.

***

Существо по прозвищу Пост
поднимается во весь рост,
но на ножках стоит едва.
Тяжела у него голова!
Шестерёнки вращаются в ней,
а в глазах – десять тысяч огней.

Нам уже не угнаться за ним!
Ну а имени нет. Аноним.
И, как волосы, мысли растут.
Чёрт ли? Робот? А может, шут?
Существо по прозвищу Пост,
своё туловище волоча,
произносит заздравный тост,
говорит:
– Погибай хохоча!
Ибо век такой, ибо век, –
умер бог, человек, субъект…
Умер этот, и умер тот.
А за ними – и твой черёд.
Существо по прозвищу Пост,
отрубив истории хвост,
превосходную вяжет петлю,
и болтается в полный рост.
На могилу его я плю…

ФУ, ТУРИСТЫ!

Оголтело толпы рыщут,
на святыни смотрят дерзко.
Все они чего-то ищут,
жизнь свою считая мерзкой.
Среди радостей мгновенных –
ищут ценностей нетленных!
Всё хотят увидеть сами!
И вытягивая выи,
всё пожрут они глазами
даже камни вековые.
Восхищенье, крики, стоны,
охи, ахи, ликованье.
Больше нету Парфенона –
съеден! Весь! До основанья!
На картины поглазеют, –
есть лишь экспонат в музее,
с подписью пустая рама.
А на месте Храма – яма.
И бегом бежишь за веком,
дышишь, кажется, со свистом.
Был когда-то человеком,
а теперь ты стал туристом.
Путешествуй, путешествуй!
и на все гляди в усердье,
и по этой жизни шествуй
от рождения до смерти.

ДИАЛОГ С ДОЦЕНТОМ

Я говорю доценту:
держитесь поближе к центру!
– Мы упразднили центр, –
бодро сказал доцент.
– Нет центра? Иду по краю.
А что за краем?
– Не знаю.

Быть может, ещё один край.
Но только не ад, и не рай.
…По ненадёжной, зыбкой
почве – идём с улыбкой.
Мир – безнадёжный хроник.
Звать бесполезно врача.
Так улыбайся, ироник, –
и умирай, хохоча.

***

Всё относительно, всё относительно!
То, что с одной стороны отвратительно,
может, с другой стороны, и неплохо.
Этому учит нас наша эпоха.
Ценности сброшены с пьедестала,
в нашем сознанье всё зыбко и смутно.
Но если всё относительным стало,
лишь Относительное – абсолютно!
Где же начала найти и концы?
Как всё запутано глупо и дико!
Славные умненькие подлецы,
жизнь, что без страсти, без стона, без крика.
Так и живём, ничего не решив,
в судорожном бестолковом усердье.
– Как ты? – Да так. Относительно жив.
– Ну а чего – относительно? – Смерти.

***

Разъедает наши души рак.
Человек безумно одинок.
Сам своей и общей жизни враг,
ничего не оставляет впрок.
Где душевный золотой запас?
Оправдание – коль будет суд?
Что ответишь ты в последний час,
– ведь слова пустые не спасут?
Хоть один поступок – для души
соверши. И строчку запиши.
Смертную одолевая дрожь,
обнаружить бы последний грош,
слово отыскать в последний миг,
в миг, когда немеет твой язык.

***

Жизнь завели как часы, но наверно
время указывают неверно.
Вроде бы утро – а тьма непроглядна.
Но не крутить же стрелки обратно?
Сбились с пути. Тьма и в мыслях, и в душах.
Как нас удобства мягкие душат!

Спим – и боимся даже во сне
вдруг оказаться в завтрашнем дне.
Так напрягай воспалённые очи,
и вопрошай сторожей: сколько ночи?
Где оно, время – то, что не врёт,
и, словно солнце, с пути не сойдёт?

***

1.

Вот человек жил жизнью тяжкой,
как паровоз, пуская дым.
Вдруг тень легла – меж ним и чашкой,
меж ним – и что считал своим.
Откуда? Как всегда – оттуда.
Не ждёшь, и вдруг из-за спины
она с косой – чума, простуда.
Гляди же на клочок стены.
Утрачивают вещи цену.
Что заслоняли все предметы?
Незримое идёт на сцену
и, вопрошая, ждёт ответа.

2.

Пока считаю жизни дни я
и зёрна страха в землю сею,
погубит душу пневмония,
заполнив жидкостью трахеи.
Пока толчёмся у корыта
в своей коросте и корысти,
в тетради нотной позабыта
душа, что жаждет пианиста.
Господь, напомни нам хоть ноту,
а дальше мы продолжим сами,
изведав странную свободу,
взлетая в небо голосами.
Не нужно ни коня, ни царства.
Кто в этой битве побеждает?
Лишь горькой истины лекарство
от смерти душу пробуждает.
Она увидит мир иначе
от правды непомерной дозы.
О, пусть заплачет, слёзы пряча,
и любит этот мир сквозь слёзы.

***

Вот мы все вместе заперты в клетки.
Мойте, до одури мойте руки
и пожирайте свои котлетки,
и не умрите при этом от скуки.
Быть в одной комнате – невыносимо?
Это страшнее, чем Хиросима?
Были мы вроде бы вместе, но мимо,
мимо друг друга бежали трусцой.
Ну а теперь нам приказано: стой!

Вирусы эти, эти микробы –
сузили жизнь, застопорили, чтобы
мы призадумались – лучше ли в гробы?
Жить ли, как жили досель – невпопад?
Или иначе, полною мерой,
всё проживая – с любовью и верой,
жизнь возделывая, как сад?

***

Живёшь на карантине сонно,
существование влача.
А жизнь – заразна, беззаконна.
Она запретна без врача.
То терпеливо ждёт, то снова,
стучится. Не откроем дверь!
К ней – настоящей – не готовы…
Постой же…страшно… не теперь…
Летящей птицей на мгновенье
нам снится жизнь в прекрасном сне.
…И чуешь крыльев дуновенье
в нежданной страшной тишине.

***

Я умру. Ты умрёшь. Он умрёт.
Слышу отзвук странного звона!
Прежде, чем человек упадёт –
упадёт с человека корона.
Догадавшись, ладонью ударь
по лбу – в каплях последнего пота:
ну какой же природы ты Царь,
коль тебя убивает природа!
Завопи, как шекспировский Лир
в миг безумия или прозренья:
где звучащий сияющий мир
для теряющего слух и зренье?
Как велик человек! Как он мал!
Он в последнем усилии дышит.
…Слова «Жизнь» человек не сказал.
Говорит. Но уже – не услышат.

ГАЛИНА МАРКЕЛОВА

РАЗВЕ ЭТО НЕ ЛЮБОВЬ?

ЛЮБОВЬ

В любую погоду в двух вёдрах собачий обед
несёт на пустырь Елена Шелестова, искусствовед:
«Поддерживать сохранность тел
тех, кто мал и сир,
мне кажется, мой удел,
ведь на любви держится мир…».
Разве это не любовь?

Лариса Наумовна всю жизнь,
и зимой, и летом
носит длинные рукава,
скрывая от досужих глаз тату:
«Да, концлагерь, Галя, и я не могу
любить ни страну,
ни её овчарок
забыть не могу, как мама кричала…».
Разве и это не любовь?

«Если верить Библии, – увещевает куму поэт –
человечество всё произошло через грех,
застенчиво любовью назвав его потом…
Так мы и крестницу назовём,
ну а что нам делать с отцом?
Не брать же генетический материал у всех
обитателей Привоза, кому ты не сказала: «Нет».
Разве это тоже любовь?

Бабушка стоит под дождём,
на наше милосердие нажимая,
иногда даже Христа вспоминает,
по монете внуку на дозу собирая…
А внук нетерпеливо выжидает…
Разве это не любовь?..

«Когда я думаю о любви,
у меня всё колко и холодно в груди,
будто сердце всю Антарктиду вобрало…
– мне подруга, неофит Ира рассказала –
И я к Господу взроптала:
«Господи, Иисусе Христе, помоги познать любовь,
которую ты к нам проявляешь!

И крик этот рвался из сердца
и поднимал к Нему, как на волне цунами…
Не знаю, сколько времени прошло…
Мне стало так хорошо,
так ласково внутри, атласно.
А потом пушистость и бархат,
голова же всех понимала, всё отмечала,
а сердце, оно прощало,
всем привет любви посылая…».
Разве это не истинная любовь?

Вот и я теперь
в покрывале понятия «любовь» лоскутном, пёстром,
дрогну на обочине бабьего лета,
вкусностями и щедростью его не согрета,
ропщу, взывая:
«Да где же она, любовь? Боже, и меня коснись твоим перстом,
дабы прочувствовать суть христианских заветов»…

МОЯ СОБОРКА

Позади собор возникший впоследствии,
впереди генерал-губернатор новороссийского края
(из детства),
зной
необычайный для преображения
плавит моё воображение…
Внезапная мысль долбит догоняя –
соль власти – быть обсираемой –
любую власть не минует участь сия –
сиять прогибаясь под тучей дерьма,
тем более её воплощениям
в виде любого возвышения
отлитого в металле
или изваянного в ином материале…
А всё,
чему дано чуть выше подняться,
знают своё дело и не стесняются,
всякие там голуби, воробьи, чайки
с радостью власть собственным гуано венчают
и это в любой точке нашего шарика
как бы не внушали нам, что данная власть – шикарна…
Но птичкам – им на всё на… –
это и отличает от нас пернатую рать…
Им – этим чайкам, галкам, воронам –
безразлично на какие класть погоны,
органично, безмятежно вносят поправки
на власти символы (загогулины-выпуклости) едким раствором
эти неумолчные нахтигали, пижоны, которы…
И не только, заметьте, они,
но
и грядущие поколения потомков,
птеродактилями роющимися в утраченных котомках
власти пред…
Всё же развивается по спирали?
Даже гусиное перо губернатора имеет доисторические детали…

и как всегда прав Альберт –
ментальный мир меняет медленно свой портрет,
так что приготовились – долго ещё
истина будет преподносить на пахнущий кой-чем счёт…

***

Жизнь без нас, дорогая, мыслима –
для чего и существуют пейзажи.
И. Бродский

Мыслима, мыслима жизнь и без нас… но…
рассмотри кусок бытия, вырванный глазом
любого «скопа» или прицела,
где подробный пейзаж террикона или живого тела…
но…
кто передаст, как расторжение души с телом удлинено?
Подобно телу конуса при ядерном взрыве?
Или извержению спермы в любовном порыве?
Болезненно, докучливо, словно прыщ,
полученный в результате любовных игрищ,
взрывается Везувием жизнь
со всеми откосами его и кратерами,
с напряжением, с отторжением,
оставляя дыру заповедной ямы
отлетает душа…
но…
и та затянется не спеша…
Пейзаж почти неизменен и
также чайки будут галдеть у кромки пены…
Ну, положим, форшмак..
послевкусие… нет… надо бы не так,
блеск бриллиантов безутешной вдовы,
не повернёт больше твоей головы,
отлетают искорки, блёсточки,
всякие там увёрточки…
но…
неизменной остаётся первая боль (при входе),
о которой помнить нам не дано,
и боль концевая (при уходе),
о которой никому уже не поведаешь…
не дано

***

Анне Божко

Каким размашистым крестом
чело ты осеняешь,
Анна,
как будто радужно и травно
ты засеваешь поле.
В нём
не восстановишь, а восставишь,
стремлением души к зениту,
храм

и стройная строка звенит
там
цикадой,
зноем, бабьим летом
и неземное вдохновенье
сочиться с губ,
что стих смакуют…
Не смолкнуть им
и не сомкнуть их –
пускай призывно шевелятся,
пускай дерзят,
пускай томятся
по неизведанной стране,
что зарождается во вне,
пронзает все миры
и вот
в объятьях
губ твоих живёт…

АВГУСТ 2003

Але Крикун

Закипают воды глубин от нещадного зноя,
убыстряется бег нереид за урчащею пеной морскою…
Не догнали
и бросились вроссыпь,
от жаровни рыжеющей бухты
быстрей уплывая,
вспять от кромки,
от гиблой границы
в инкрустации галек и перламутренок мидий,
той античной подковы амфитеатра,
охватившей площадку,
где трагедию метаморфоз три стихии
усердно играют летним полднем,
пропитанным йодом и солью, и бризом,
и восторженным вечно-девичьим визгом…
Да, бессмертие, юность не нам предназначены,
все ж рискнём и отправимся следом
за блеском
чешуек нереидиных вздохов
на глади вскипающей сини,
спустим парусник с рдяным полотнищем паруса,
в спину
пусть напустит Борей подорожные бредни…
Убежать, поскорей бы,
от бухты, от жара, от бреда
театральных подмостков безумного века!
Нам,
возлюбленным древнего Посейдона,
поседевшим от соли измен,
от стона прибоя,
от объятий стихий, от желанья свободы,
от особой юдоли собирать все крупинки,
все блёстки,
все вздохи дневные ль,
ночные ль
не внове…

Убежать, улетучиться,
словно смех нереид,
что волной то накатит, то смоет
на покинутые подмостки,
но оставит взамен на арене песка
потревоженных чаек
утончённый почерк
да рдяные раны,
наши с тобою,
превращаться то в йоды, то в брызги, то в соли
бессмертного Понта,
его становясь полноправной водою.

***

Отсверкало пространство морозной
иорданских купелей стужей,
отшумела пустыня дождями и грозами
над безлюдной впервые службой.
Крест днепрянский
и зонт иронданский
да небес дыхание:
«Ждёте ли?»
Разве мало для отрезвления
душ
карнавальных веков этих
жителей?
Ну а дальше как в детстве – помните:
«Кто не слышит – не виноват!
Я иду!» –
и тут же по комнате
свет разлился в сто тысяч ватт.
Нет, иное совсем свечение –
как в сугробе морозника цвет,
как фонарик – подснежник вечерний
в самом сумраке смутных лет…
эта малость жизни и света
и вселенская сила любви
мне явилась сегодня заветом
как до края срока дойти.

***

Сколько лет? Ворох! Десятков целых сбор!
Обнялись…
Вот он – знакомый рот.
Тех же губ мотыльковое мерцание
(бархат невинности, однако, поистёрт.)
Силюсь вспомнить соблазнов порхающие слова,
от которых вскружилась тогда голова,
вертелись же роем в ритуальном танце
ритмом касаний, пульсом лобзаний
заводя, заморачивая, завлекая…

Близость –
это как в океане купание:
манит, и манит волнистой далью
и ты плывёшь,
подразумевая рядом плечо,
доверяя,
как вдруг на пути скала, на ней ёж
да идёт игривый косяк, то же пространство обживая,
а ты, оказывается,
одна
и полуживая,
и так нестерпимо тянет на дно…
А там хороводят скаты с улыбкой мурен
над артефактами крушений в иле надежд,
там трясёт трезубом хмельной властитель морей
на дискотеке безбашенных невежд,
где тритоны – посейдоновы трубадуры –
втереть хотят муть неземную,
от которой атмосферы мутируют подчистую…
Знали бы, что сердцу милее бандура
либо косая сажень Садко…
Со дна-то под струнные переливы
выныривать привычнее, легко…
А то!
Когда волна отступает
и рокот сворачивает отлив,
сколько оставленных на песке русалочек замирает…
Хорошо бы в бронзе
и где-нибудь в Мисхоре,
человеческое дитя прижимая…
Или на датской набережной
дрогнущей у балтийского бельма,
сканируя скуки ради сельдей путину,
тоскуя о бреднях сказочника
про роль языка, про боль, когда ступаешь по тине…
Боль любовная – универсальный клей… Дабы собрать осколки в целое,
снова и снова
клей и клей
пока не обнулиться боли производная… вот тогда и сделано дело,
тогда и взлетает облаком душа над равнодушием тела.
Ну держись! Пока! Пока?
И вновь волна, откат…
до…
окончательных дат.

ИГОРЬ ПОТОЦКИЙ

СТИХИ ИЗ РАЗНЫХ ТЕТРАДЕЙ

ИЗ ПАМЯТИ

Ночами караулил склады.
Кругом тоскливо и темно,
а за оградой, совсем рядом,
горит в ночи Её окно.
Я наблюдал за ним с надеждой,
что я увижу, как она
войдёт и опадёт одежда…
О, как красива и стройна!
Она у зеркала садится,
В постель ложиться не спешит,
а на плечо садится птица,
и на коленях кот лежит.
От нежности я тихой млею
и озираю пост с трудом.
Мне хочется быть рядом с нею
И с этой птицей, и с котом.
Снежинки падают всё чаще,
И не жалеет вьюга нот.
Я лишь боюсь, что разводящий
быстрее смену приведёт.

ОДЕССА

Загадочные зданий шпили
под дуновеньем злого ветра,
как паруса, так долго плыли
на бригантинах и корветах.
И долго реял флаг пиратский
на катерке обыкновенном…
Мешался говор азиатский
с Европой важной и степенной.
Шумели бойкие базары,
авто устраивали гонки.
Перемешались здесь хазары
и худенькие амазонки.
Здесь искренние фармазоны
всегда неистово и кротко
цветов букеты с Аризоны
дарили тоненьким красоткам.
Но пахли хрупкие листочки
не зря причерноморской пылью.
И важные ступали дочки,
а рядышком мамаши плыли.

Плыла так, состоя из пыла
обыкновенных волн морских,
застиранная едким мылом,
тельняшка улиц городских.

***

Есть грусть во мне – она не от простуды,
есть сумерек очерченное действо,
есть груды слов, оставленные детством,
где ожиданье музыки и чуда.

Есть март, где снег и мартовские всплески
отчаянья, когда вновь ветер резок,
лицо твоё напоминает фрески,
и вновь страшит случайный перелесок.

И все твои заклятья и проклятья
не стоят неба синего, где снова
не солнце убегает от объятий,
а только верно найденное слово.

***

В той Польше благонравной,
хоть своенравной очень,
с тобой две ночи славных
то плачем, то хохочем.
И мне необходимо
с тобой по снегопаду
бродить, читать Тувима
последнюю балладу,
написанную в Лодзи…

Мой дедушка из Лодзи
имел капризных дочек.
И у одной из дочек
родился я – сыночек.
Я в Польше был наездом,
проездом из Парижа.
Под звёздной стоял бездной
и голос деда слышал.
Он окликал двух дочек,
играл он с ними в жмурки.
Не знал, что я – сыночек
меньшой его дочурки.
Я слышал его голос
до самого вокзала.
И там, где тьма кололась,
вновь солнце проступало.

ЛИЛЕ ГАЗИЗОВОЙ

Вот-вот начнётся листопад,
и лето – за оградой,
и снова проза невпопад,
как будто так и надо.
Шуршат слова все, как листва,
и сложно им признаться,
что женщина опять права,
хоть ей давно за двадцать.
И возникает в тишине
звёзд бормотанье к саду,
где растворилась ты во мне
подобно листопаду.
И ноты с нотного листа
уже листвой опали.
И вновь манят твои уста –
они нежнее стали.
И непростую речь шута
я пробую на ощупь,
а ты красива и чиста,
как на опушке роща.

***

Жизнь нас с тобою разлучить могла,
но мы её не зря познали пламень,
и снова отступила злая мгла,
не выдержав сраженья с облаками.

Опять с тобою душами срослись,
и смотришь ты влюблёнными глазами
вся – как волна (она то вверх, то вниз),
и будущее снова вместе с нами.

***

Вот темнота раздвигает уста
и проваливается в них день,
весь город, ворота, четыре моста,
трамваев грустная звень,
бомжиха, тоскующая о том,
что ресторанный свет
похож на самый крутой подъём,
а сил у неё давно нет.
И грустные светятся фонари,
и мысли уносятся прочь,
и, кажется, что до самой зари
плачет, как нищенка, ночь.
И властвует обоюдная фальшь,
увы, затянулась игра,
и по бумаге скользит карандаш,
вдогонку за ним ветра.
И чёрен город, как слепота
покорных вам женских глаз,
и темнота раздвигает уста,
словно в последний раз.

***

Ты обнажалась медленно при мне,
когда луна маячила в окне,
а на столе одна свеча горела.
И вот уже совсем обнажена,
а в комнате блуждает тишина
и вдруг светиться стало твоё тело.
Светилось твоё тело, как свеча,
беззвучно о любви своей шепча,
и становилось нотною строкою,
где леса благовест достиг небес
и зазвучал уже рояль окрест,
соединяя вместе лес с тобою.
И тел произошло тогда родство,
возникнув музыкой из ничего,
ликуя, мир собой преобразуя,
и я познал твою любовь до дна,
когда в окне маячила луна,
а пальцы пробегали, озоруя,
по волосам твоим…

***

Пошли мне дождик на два часа,
а если захочешь, на три,
чтоб слышались в нём листвы голоса,
а также молитва зари,
чтоб дождинки неслись, как дробь,
и бились так об асфальт,
чтоб ты моею была, и чтоб
от жизни опять был фарт.
И я не буду с тобой флиртовать,
а сразу – за тем углом –
я буду без устали целовать
тебя и грозить добром,
которого снова не накопил
и более не накоплю,
но главное, что я сказать не забыл
о том, как тебя люблю.
Пусть снова жизнь кругом не ахти –
другой, к сожаленью, нет,
и ты, пожалуйста, перечти
любой Ронсара сонет.
И пусть клокочут четырнадцать строк,
несутся вперёд, как флот,
а падший ангел, как бывший бог,
ко мне пусть тебя ведёт.

***

Возвращаясь из прошлого, вспомню
тихий шёпот вечерней волны,
серый дворик, потом колокольню,
первый день запоздалой весны,
шорох мысли, пронзивший внезапно,
фонаря удивительный свет,
и твой возглас «любимый, до завтра!» –
может, вымысел, может, и нет.

АЛЕКСАНДР ХИНТ

ЗАВТРА И ВЧЕРА
пьеса

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

МЕСТНЫЙ иногда пьёт из фляги
ЧЁРНЫЙ в деловой одежде
РЫЖАЯ средних лет
СЕРЫЙ криминальный тип
ЗЕЛЁНЫЙ в военной форме
ВЕРА

Действие 1.

На скамье сидит Рыжая. Появляется Чёрный.

РЫЖАЯ. Здравствуйте! Прохладное утро, да?
ЧЁРНЫЙ. Это станция?
РЫЖАЯ. Наверно. Я подругу жду, она обещала заехать. У подруги машина, вот, жду её. Вы присаживайтесь.
ЧЁРНЫЙ. А когда первый поезд?
РЫЖАЯ. Первый? Я не поездом, подруга должна за мной, мы договаривались. Если вам по дороге, то…
ЧЁРНЫЙ. И расписания нет. Блин, как они работают? Справочная закрыта. И телефон не берёт! Кидалово… Они на комиссии всё без меня порешают. Здесь точно не у кого узнать?
РЫЖАЯ. Скоро будет моя подруга. Холодновато, да? А вы не нервничайте так, садитесь. Нервничаете так.
ЧЁРНЫЙ *(садится)*. Мы были рядом на даче. Гудели два дня. Ну – дача! Да – ча.
РЫЖАЯ. Хорошо.
ЧЁРНЫЙ. Да. Туда-сюда, шашлык-машлык, сауна. Рыбалка. Или сначала рыбалка, а потом…
РЫЖАЯ. Потом туда-сюда.
ЧЁРНЫЙ. Да, сюда… Не помню. Ничего не помню, после сауны. Или после рыбалки. Не помню.

Появляется Вера.

ЧЁРНЫЙ. Вроде, подруга ваша.
ВЕРА. Мара-пура, мара-пура, изменяется фигура, мара-пура, мара-пура, изменяется фигура…
РЫЖАЯ. Нет, что вы! Подруга всегда на машине.
ВЕРА. Я ждала тебя, ждала, человек Серёжа, я ждала тебя, ждала, пожелтела кожа, мара-пура, мара-пура, пожелтела тоже, в море Зину тормозили, из бензина выносили, мара-пура, мара-пура, из бензина выносили… Зерно горит медленно, медленно горит, зерно горит медленно, ограды, бюветы, колодцы, зерно горит медленнее денег…

Вера уходит.

ЧЁРНЫЙ. Та-ак.
РЫЖАЯ. Ничего, на вокзале и не такое увидишь.

ЧЁРНЫЙ. Блин… Комиссия через час.
РЫЖАЯ. Хотите сэндвич?
ЧЁРНЫЙ. Что? Нет, не хочу.
РЫЖАЯ. Зря, хороший сэндвич. Всё свежее.
ЧЁРНЫЙ. Не надо, спасибо.
РЫЖАЯ. Смотрите, всё свежее. У меня всегда свежее, я же в магазине работаю, ну? Сэндвич, с утра? Всё свежее.
ЧЁРНЫЙ *(неохотно)***.** Спасибо. Э-э…
РЫЖАЯ. Свежайшее, я вам клянусь.
ЧЁРНЫЙ. У него нет вкуса.
РЫЖАЯ. Как? Да, правда. И запаха нет.
ЧЁРНЫЙ. Сегодня это типичная ситуация.
РЫЖАЯ. Запаха нет! Слушайте, я уже что-то такое слышала. Об этом.
ЧЁРНЫЙ. Сейчас всё в мире какое-то… ГМО безвкусное. То ли дело раньше.
РЫЖАЯ. В магазине было свежее, я вам ручаюсь.

Появляется Местный.

ЧЁРНЫЙ. О! Уважаемый, можно вас? Да, вас. Уважаемый, я вам говорю. Эй, я здесь, дорого-ой! Он глухой. Пришмаленная, глухой, отличное место. Просто отличное.
РЫЖАЯ *(Местному)***.** Здравствуйте!
МЕСТНЫЙ. Добрый день.
ЧЁРНЫЙ. Уважаемый, меня хорошо видно? Алё.
МЕСТНЫЙ. Вы мне?
ЧЁРНЫЙ. Нет, я светофору сказал «алё, уважаемый». Вы же местный? Это станция, правильно? Это станция?
МЕСТНЫЙ. Это?
ЧЁРНЫЙ. Это, это, да. Это станция?
МЕСТНЫЙ. Это станция.
ЧЁРНЫЙ. Отлично. И что, на этой станции бывают поезда? На станции? Поезда бывают тут?
МЕСТНЫЙ. Тут?
ЧЁРНЫЙ. Конечно тут, это же станция! Её строили здесь. Строил её кто-то.
РЫЖАЯ. Чтобы поезда ходили.
ЧЁРНЫЙ. Правильно! Строили тут станцию эту. Для этого. Когда бывают поезда на ней? Тут… Бывают поезда какие-то? Когда-то?
МЕСТНЫЙ. Тут?
ЧЁРНЫЙ. Тут! Где же ещё, господи.
РЫЖАЯ. Я, вообще-то, подругу жду. Но, мне кажется, здесь должны быть поезда. *(Местному)* А вы как думаете?
ЧЁРНЫЙ. Вот! Дама тоже ждёт.
РЫЖАЯ. Подругу.
ЧЁРНЫЙ. Неважно, не сбивайте его! Ну? Скажи нам, когда тут бывает? Чух-чух, чух-чух, чух-чух, чух-чух, чух-чух… Когда?
МЕСТНЫЙ. Прекрасно.
ЧЁРНЫЙ. Что прекрасно?! Офигеть.
РЫЖАЯ. Э-э… Не скажете, когда здесь был последний поезд? В смысле, предыдущий.
МЕСТНЫЙ. Предыдущий поезд здесь был.
ЧЁРНЫЙ. Ко-гда?
МЕСТНЫЙ. В предыдущий раз.
РЫЖАЯ *(смеётся)***.** Ой… Извините.
ЧЁРНЫЙ. Обхохочешься. А какой предыдущий, расписание можно посмотреть? Расписание? Это же станция.
РЫЖАЯ. Ой! А я ногти хотела в порядок привести. Кошма-ар.
ЧЁРНЫЙ. Фантастика…
МЕСТНЫЙ. Там у них с рельсами что-то.
ЧЁРНЫЙ. Да? Что с рельсами, что? *(Рыжей)* Вы это слышали? Что там с рельсами у них? Где там?
МЕСТНЫЙ. Там.
ЧЁРНЫЙ. Где там?!

МЕСТНЫЙ. Там, за Малыми Переменами.
ЧЁРНЫЙ. За Малыми Переменами?
МЕСТНЫЙ. Да, где ж ещё.
РЫЖАЯ *(смеётся)*. Ой… Извините, пожалуйста.
ЧЁРНЫЙ. И что за этими, за Малыми…
РЫЖАЯ. Переменами.
ЧЁРНЫЙ. Да! Что там с ними? За ними? С рельсами что там за ними, за Переменами этими? Что там?
МЕСТНЫЙ. Они – там. Иногда теряют.
РЫЖАЯ. Что теряют? Рельсы?
МЕСТНЫЙ. Нет, рельсы они не теряют.
ЧЁРНЫЙ. А что??
МЕСТНЫЙ. Рельсы там иногда теряют. Параллельность.
РЫЖАЯ *(хохочет)*. О-о-й…
ЧЁРНЫЙ. Офигеть. Где ваша подруга?

Молчат.

РЫЖАЯ. Тихо так.
ЧЁРНЫЙ. Дурдом какой-то, честное слово.
МЕСТНЫЙ. Нет, это станция.

Звук проходящего поезда.

Действие 2.

На скамье лежит Чёрный, он спит. На другой скамье Рыжая и Зелёный.

РЫЖАЯ. А подруга не едет, почему-то. Почему, как вы думаете? *(Зелёный молчит)* И я не знаю. Не едет, потому что не может, наверно. Я тоже, когда не могу, тоже… Ничего не могу. А вы здесь хотите… *(Зелёный молчит)* Да. А хотите сэндвич? Свежий. *(Зелёный молчит)* Ну и правильно.

Появляется Серый.

РЫЖАЯ. Здравствуйте!
СЕРЫЙ. Здрасте-здрасте.

Замечает Чёрного, тот занял всю скамью. Садится ему на ноги.

ЧЁРНЫЙ *(спросонья)*. Что? Что такое?
СЕРЫЙ. Извини, не заметил тебя, братан.
РЫЖАЯ *(Серому)*. А вы тоже сюда… Отсюда?
СЕРЫЙ. Слегонца попутал края. Получилось так, что немного прошёл пешком, там же не видно ни хера. А чё тут видно?
РЫЖАЯ. Тут станция.
СЕРЫЙ. Клёво. Чё за станция? Табличек нет. Сортировочная, Панировочная? Вчерашние Борщи? Или, как его… Большие Перцы?
РЫЖАЯ *(хихикает)*. Малые.
СЕРЫЙ. А чё малые?
РЫЖАЯ. Малые Перемены. Но это там, дальше.
СЕРЫЙ. А тут, ближе? *(Зелёному)* Привет, война! Суровый такой. *(Чёрному)* А тебя я откуда-то знаю, да? Откуда я тебя знаю?
ЧЁРНЫЙ. Не знаю. Тут я ничего не знаю.
СЕРЫЙ. Тут я знаю только то, что не знаю, откуда я тебя знаю. Неплохо, да?
РЫЖАЯ. У меня тоже так бывает.
СЕРЫЙ. Да? Такая симпатичная, одна, в компании… В такой стрёмной компании.
РЫЖАЯ. Я подругу жду, она приехать должна.

СЕРЫЙ. Подруга тоже симпатичная? *(Чёрному)* Смотри, она с подругой будет.
ЧЁРНЫЙ. Смотрю, у вас хорошее настроение.
СЕРЫЙ. Та да, неплохое, хотя и мутновато. Так чё тут с поездами? *(Рыжей)* Вижу, вы знаете.
РЫЖАЯ. Знаю.
СЕРЫЙ. И когда у нас поезд?
РЫЖАЯ. Без двадцати восемь.
СЕРЫЙ. Нормально. Утром или вечером?
РЫЖАЯ. Просто, без двадцати восемь.
СЕРЫЙ. В смысле?
РЫЖАЯ. В 7-40 *(Напевает)* …он подъедет, в 7-40 он подъедет, наш славный, наш старый, наш весёлый… Паровоз! *(Смеётся)* Извините, моя тётя так пела.
СЕРЫЙ. Прикольно. Не, серьёзно, чё с поездами?
ЧЁРНЫЙ. Там дальше, за Малыми.
СЕРЫЙ. И чё там?
ЧЁРНЫЙ. С рельсами у них. Не всё параллельно.
СЕРЫЙ. А, так это клёво.
ЧЁРНЫЙ. Что клёвого?
СЕРЫЙ. Что им там не всё параллельно. Смотри, почему по жизни «мне всё параллельно» и «всё перпендикулярно» это одно и то же, а по математике – нет? Несправедливо.
ЧЁРНЫЙ. Шутник.
СЕРЫЙ. Шутник-шутник. А машины отсюда ходят? Автобусы какие-то?

Местный уже давно слушает разговор.

МЕСТНЫЙ. Вряд ли. Какие тут автобусы?
СЕРЫЙ. Нормально. Мужик, ты таксист? Людей берёшь до города? Мужик, алё-ё.
МЕСТНЫЙ. Вы мне?
СЕРЫЙ. Не, я светофору сказал «алё, мужик». Короче, если берёшь до города, вот, два суслика. За меня и эту симпатичную.
РЫЖАЯ. Меня не надо, за мной подруга приедет.
СЕРЫЙ. Ладно, только я, нормально? А, в смысле у тебя два конца, я понял. Держи, три суслика.
МЕСТНЫЙ. Суслики в этой местности приживаются плохо.
СЕРЫЙ. Ты не таксист? Так чё ты мне оттягиваешь, мужик? Чё ты мне оттягиваешь?
МЕСТНЫЙ. Не надо нервничать, торопиться некуда.
СЕРЫЙ. Не понял. Ты гонишь, мужикастый?
МЕСТНЫЙ. Торопиться вам некуда. Сява давно ушёл.
СЕРЫЙ. Опа. Чё за тема у тебя?
МЕСТНЫЙ. Это не у меня тема.
СЕРЫЙ. Не, ну я понял. Может, ты мент? Это один расклад. Может, ты пришёл передать что-то. Это другой базар. А если меня тут выпасают…
МЕСТНЫЙ. Не надо так нервничать.
СЕРЫЙ. Слышишь, чё такое «не надо»? Про Сяву не я базарил. Говори, я слушаю.

Появляется Вера.

ВЕРА. Что за ужас, что за страх, кто скрывается в кустах? Что за ужас, что за страх, кто скрывается в кустах? Мара-пура, мара-пура, изменяется фигура, что за ужас, что за страх, кто скрывается в кустах, кто скрывается в кустах, кто скрывается в кустах…

Вера уходит.

СЕРЫЙ. Сильный заход. Это чё, филиал дурки у вас?
МЕСТНЫЙ. Нет, это станция.

Местный уходит.

РЫЖАЯ. Бедная девочка, бедная. Она не виновата.
СЕРЫЙ. Чё за станция такая, мокрая или сухая. Голимый расклад. *(Вынимает пистолет)* Посмотрим, чё за станция.

Серый идёт за Местным. На Серого бросается Зелёный, после стычки Зелёный отбирает у Серого пистолет.

СЕРЫЙ. Тихо, тихо, война. Тихо, ша. Ну всё, всё, тихо! Я не по мокрому, просто узнать хотел, кто он, шо за бугор.
ЗЕЛЁНЫЙ. Он Первый.
РЫЖАЯ. Ой, заговорил! Молодец какой, говорит, молодец какой хороший.
СЕРЫЙ. Не понял. Кто он?
ЗЕЛЁНЫЙ. Он – Первый. Здесь его слово.
СЕРЫЙ. Та ладно, Первый. Давай я сам узнаю, да? Давай, только тихо, без кипиша. Ствол аккуратно держи.

Серый уходит. Звук проходящего поезда.

Действие 3.

На сцене Рыжая, Чёрный и Зелёный.

РЫЖАЯ. Так и получается.
ЧЁРНЫЙ. Что у вас получается?
РЫЖАЯ. Что мы, скорее всего, ещё побудем здесь какое-то время. *(Зелёному)* Как вы думаете?
ЗЕЛЁНЫЙ. Не проблема. Какое-то время здесь будут какие-то люди – не проблема.
ЧЁРНЫЙ. Для кого не проблема?
ЗЕЛЁНЫЙ. Для системы всеобщего равновесия.
ЧЁРНЫЙ. Однако, лихо формулируете! Не такой уж вы и деревянный, как хотели казаться.
РЫЖАЯ. Это приятно. Умный мужчина всегда приятней, чем…
ЧЁРНЫЙ. Чем кто?
РЫЖАЯ. Э-э… Интересно, если мы ещё здесь пробудем, есть ли в этом месте какие-нибудь развлечения?
ЧЁРНЫЙ. Вам **ещё** не хватило развлечений? Завидный жизненный тонус у вас.
РЫЖАЯ. Ой, какой там тонус? Вот, недавно достала хорошее средство, классное. Оно от… Неважно, от чего оно. Тут сказано: «При использовании данного средства следует учитывать побочные эффекты применения…».
ЧЁРНЫЙ. Побочные эффекты чувствуются, да?
РЫЖАЯ. Подождите! «…эффекты применения, а также возможный человеческий фактор». Так написано. Человеческий фактор – это что?
ЧЁРНЫЙ. Это когда кто-то нагадил в подъезде. Причём сделал это с удовольствием и прямо под вашей дверью.
РЫЖАЯ. У меня нет подъезда! Отдельный дом, на окраине. Небольшой, но уютный. И собака есть. *(Зелёному)* У меня есть собака, классная, мохнатая такая. Люблю всё классное.

Возвращается Серый. Зелёный держит пистолет наготове.

СЕРЫЙ. Тихо, тихо, война. Аккуратней с чужими вещами.

Возвращается Местный. Звук проходящего поезда.

ЧЁРНЫЙ *(Серому)***.** Как прогулка, удалась? Выяснили что хотели?
СЕРЫЙ. Базар ещё не кончен.
МЕСТНЫЙ. Хорошо. Если есть вопросы – задавайте.
ЧЁРНЫЙ. У меня вопрос. Не скажете нам, что за поезда мы всё время слышим?
РЫЖАЯ. Да, и я хотела. Они тут постоянно где-то едут… Куда-то.
МЕСТНЫЙ. Не обращайте внимания.
ЧЁРНЫЙ. Не обращать? Это что же, поезда-невидимки такие? Аномалия местной природы? Или они опять там…
РЫЖАЯ. За Малыми Переменами.
МЕСТНЫЙ. Ничего опасного. Всё, что вы хотели знать?
СЕРЫЙ. Та ладно, фиг с поездами. Мы так вроде поняли, ты тут пахан. Типа, в законе.
ЗЕЛЁНЫЙ. Он – Первый, а не пахан.

СЕРЫЙ. Ша, тихо. Я и говорю, шо это такое, Первый? С чем это можно есть и переваривать?
МЕСТНЫЙ. Хотите знать подробности.
СЕРЫЙ. Как бы да. Пойми меня правильно, согласись со мной, самое время. Расскажи людям, какие в этой хате понятия, как тут у вас прописывают.
МЕСТНЫЙ. Первый – это тот, кто пьёт из фляги.
СЕРЫЙ. О как! То есть, разреши уточнить, если я – ну, чисто теоретически – если я, шустрый такой, резкий, поимею у тебя флягу, да? Если я из неё хлебану, стану Первым? Так получается?
МЕСТНЫЙ. Не получается.
СЕРЫЙ. Ага. Ну тогда ты не всё сказал, согласись со мной. Тогда, скажи нам больше, уважь людей.
МЕСТНЫЙ. Я Первый не потому, что пью из неё. Я пью из неё потому, что никто другой пить из неё не может.
ЧЁРНЫЙ. Не может? Или вы не хотите, чтобы так было? Интересно, что такое вы пьёте.
СЕРЫЙ. В тему. Что у тебя там? Вискарь, чинзано? Армянская конина? Элитный самогон 72-го года?
ЧЁРНЫЙ. Эликсир местной власти.
МЕСТНЫЙ. Хорошо, я вам объясню. *(Серому)* Пока – только вам.

Местный и Серый отходят в сторону.

РЫЖАЯ. Боюсь, подруга уже не приедет.

Появляется Вера.

ЧЁРНЫЙ. Только разговор о вашей подруге – приходит она.
РЫЖАЯ *(Вере).* Хотите сэндвич? Свежий. *(Вера берёт сэндвич)* Ну как, вкусно? *(Вера кивает)* Вот, я говорила! Что я говорила?
ЧЁРНЫЙ. Человеческий фактор.

На авансцене Местный и Серый.

МЕСТНЫЙ. Я покажу вам кое-что, согласны?
СЕРЫЙ. Уже давно согласны.
МЕСТНЫЙ. Хорошо. Для начала, давайте познакомимся. Я Андрей Палыч. С кем имею честь?
СЕРЫЙ. Чё?
МЕСТНЫЙ. Какое имя вы получили при рождении?
СЕРЫЙ. Ну… Что же… Блин, что это…
МЕСТНЫЙ. Итак?
СЕРЫЙ. Что за… Чем я тут… Что…
МЕСТНЫЙ. Успокойтесь, не надо нервничать.
СЕРЫЙ. Что-то такое, но…
МЕСТНЫЙ. Спокойно. Слушайте меня, спокойно. Теперь подойдите к ней *(указывает на Рыжую)* и просто скажите, что хотели бы с ней познакомиться.
СЕРЫЙ. К ней?
МЕСТНЫЙ. Да-да, только спокойно. Идите.

Звук проходящего поезда.

Действие 4.

На сцене Местный, рядом Чёрный, Рыжая, Серый, Зелёный.

ЧЁРНЫЙ. М-да. Интересно, чем нас надо было так опоить или накачать, чтобы мы забыли, как нас зовут.
МЕСТНЫЙ. Опоить? Я пью, как видите, делаю это постоянно. И меня зовут Андрей Палыч.
РЫЖАЯ. А я, как ни стараюсь, не могу. Что-то такое… Вот подруга, подругу зовут Лиза. Собаку зовут Шерри. А меня… Почему-то вы знаете имя, а мы – нет.

ЗЕЛЁНЫЙ. Он говорил, потому что пьёт из фляги.

СЕРЫЙ. А чё ты за него вписываешься, солдат? Ты его адвокат или родственник? Сам помнишь только номер жетона. Устраивает тебя?

ЗЕЛЁНЫЙ. Вы не понимаете.

ЧЁРНЫЙ. Ты понимаешь – молодец. И мы разберёмся, почему он помнит имя, а мы – нет. И какие тут опыты на хомячках.

РЫЖАЯ. Почему на хомячках?

СЕРЫЙ. Потому что суслики здесь не живут. Зуб даю.

РЫЖАЯ. Я их понимаю.

МЕСТНЫЙ. Не только имя.

ЧЁРНЫЙ. В смысле?

МЕСТНЫЙ. Вы не помните не только имя.

ЧЁРНЫЙ. Да? А вот и хрен, остальное-то я знаю. Утром не попал на балансовую комиссию, прекрасно помню. Бухали на даче вчера…

МЕСТНЫЙ. А потом? Как сюда попали, вспоминаете?

ЧЁРНЫЙ. Мало ли как попал… С кем не бывает после вчерашнего.

МЕСТНЫЙ. Бухали вы, как изволите выразиться, не вчера. Совсем не вчера.

ЧЁРНЫЙ. Да ладно! Не вчера!

МЕСТНЫЙ. И комиссия ваша уже давно неактуальна.

ЧЁРНЫЙ. Что ты мне… Да кто ты такой, вообще?

МЕСТНЫЙ. Андрей Палыч. А вы известный человек, помните? Могущественный депутат, от влиятельной партии. За вами большие люди.

СЕРЫЙ. Опа, вот откуда я тебя… Ты же решала, разруливаешь все темы в городе. Тебе пацаны по нашим вопросам заносили, регулярно заносили. И неплохо так.

РЫЖАЯ *(Местному)***.** Вижу, вы многое знаете. И знаете, наверно, почему моя не приехала. Я ждала её весь день, но Лиза почему-то…

МЕСТНЫЙ. Ошибаетесь, она приехала.

РЫЖАЯ. Да? Не заметила. Я её пропустила?

МЕСТНЫЙ. Она приехала. Вы сели в её машину, в её старую «шестерку» цвета металлик. И поехали по трассе, над берегом моря.

РЫЖАЯ. Правильно, у неё цвет металлик.

МЕСТНЫЙ. Конечно. Вы ехали над морем, а ваш муж лежал в реанимации. Когда стало известно, что у него последняя стадия, что вы сделали? Вы сварили кастрюлю борща…

РЫЖАЯ. …и оставила на столе записку. Я оставила ему записку!

Появляется Вера.

ВЕРА. В море Зину тормозили, из бензина выносили, в море Зину тормозили, из бензина выносили, мара-пура, мара-пура, изменяется фигура, мара-пура, мара-пура, из бензина выносили…

РЫЖАЯ. Мы договорились с ним, заранее договаривались обо всём! Он знал. Я же оставила ему записку. Мы обо всём договорились!

МЕСТНЫЙ. Конечно. *(Зелёному)* Потому что надо было прикрыть позицию, да? Дыру на фланге.

ЗЕЛЁНЫЙ. На левом фланге было пусто. Открытый сектор, оттуда постоянно прилетало.

МЕСТНЫЙ. Конечно. И вы послали туда молодых. Сергиенко Виктора, это был его второй бой, и…

ЗЕЛЁНЫЙ. Крестовский.

МЕСТНЫЙ. Крестовский Леонид, 19-ти лет, рядовой срочной службы.

ЗЕЛЁНЫЙ. Надо было срочно закрыть участок фланга.

МЕСТНЫЙ. Конечно, конечно.

СЕРЫЙ *(Местному)***.** Как ты это делаешь?

РЫЖАЯ. Он пьёт из фляги.

МЕСТНЫЙ *(Серому)***.** Когда вы уже выезжали к Сяве, на стрелку, Мелкий… Он же не хотел ехать, правильно?

СЕРЫЙ. Мелкий сказал, печень прихватило. Типа, приступ у него, разогнуться он не может. В аптеку надо.

МЕСТНЫЙ. Конечно.

ВЕРА. Что за ужас, что за страх, кто скрывается в кустах? Что за ужас, что за страх, кто скрывается в кустах? Кто скрывается в кустах, кто скрывается в кустах…

МЕСТНЫЙ. Засада была на полдороге. Сяве кто-то слил, что вы едете его мочить, и он устроил засаду. Два «хаммера», три «калаша». Дорожная инспекция была в курсе, они не вмешивались.

СЕРЫЙ. Кто слил? Мелкий… Мелкий, падло.

ЧЁРНЫЙ. Так, хорошего понемногу! Этих вы чем-то обкололи, а со мной номер не пройдёт. Нет, нет, не пройдёт со мной. Не знаю, что у вас тут, клиника, я не знаю, психушка…

МЕСТНЫЙ. Что вы, господин депутат! Местную клинику как раз вы и продали, там устроили массажный салон. Тайский массаж, ВИП-сервис, девочки. Кстати, именно поэтому не оказали вовремя помощь некоему депутату, рядом не было профильной больницы.

ВЕРА. Я ждала тебя, ждала, человек Серёжа, я ждала тебя, ждала пожелтела тоже, мара-пура, мара-пура, пожелтела кожа, мара-пура, мара-пура, пожелтела тоже…

ЧЁРНЫЙ. Уберите вашу бесноватую, уберите её от меня! Я вам не верю…

МЕСТНЫЙ *(Рыжей).* Предлагать сэндвич водителю, на горной трассе – не самая удачная идея.

ЧЁРНЫЙ. …не верю. Я не верю вам. Я вам не верю!

МЕСТНЫЙ. Вопросы веры – тонкие вопросы. Как поверить, что землю одного хозяйства, 600 гектаров, передали офшорной компании? Хозяйство возмутилось, и ночью его слегка подожги. Как поверить?

ВЕРА. Зерно горит медленно, медленно, зерно горит медленнее денег…

МЕСТНЫЙ. Горит не только зерно, ещё много чего. Например, трое стариков. Заживо, в своих постелях.

ЧЁРНЫЙ. Это всё ложь, ложь! Я знаю, кто это про меня… Нет ни одного факта, сплошные домыслы! Где документы? Ни одной моей подписи не существует, ясно? Ложь и бред.

СЕРЫЙ *(Чёрному).* А ты падаль. Ничего, я тебе устрою здесь петушиный угол, мразь гнилая. Получишь всё. Получишь ВИП-сервис в дурдоме, понял меня? Козлина.

МЕСТНЫЙ. Нет, не получит. Это не дурдом, это станция.

Звук проходящего поезда.

Действие 5.

Рыжая и Зелёный, чуть поодаль Чёрный.

РЫЖАЯ. Здесь бывает очень тихо. Слишком тихо.

ЗЕЛЁНЫЙ. Не слышно птиц, бессмертник не цветёт
Прозрачны гривы табуна ночного
В сухой реке пустой челнок плывёт
Среди кузнечиков беспамятствует слово

РЫЖАЯ. Это вы написали?

ЗЕЛЁНЫЙ. Нет, один неприкаянный. Я не пишу.

РЫЖАЯ. Но много читаете. Что вы думаете обо всём, это правда? То, что он говорил нам.

ЗЕЛЁНЫЙ. Разве нужна правда? Тем более, правда о себе, человеческий род к ней не приспособлен.

РЫЖАЯ. Вы умный. Трудно поверить во всё, как будто меня здесь нет. Я же помню детство, родителей, кучу мелочей, какие-то глупости. Ссоры, веселье, свадьбу свою помню. Но не могу нащупать… Себя.

ЗЕЛЁНЫЙ. Да.

РЫЖАЯ. Другой кто-то, меня… Стёрли в паспорте. Фотокарточка старая, а текста нет. Мы здесь один день?

ЗЕЛЁНЫЙ. Хороший вопрос.

РЫЖАЯ. Трудно поверить. Вы согласны со мной?

ЧЁРНЫЙ. Я с вами согласен! Абсолютно согласен, и тоже не верю господину с флягой. Ни одному его слову я не верю.

ЗЕЛЁНЫЙ. Ни одному. Значит, вы не депутат.

ЧЁРНЫЙ. Хорошо, не ловите меня на слове. Что-то он, может, и знает, кое-какие факты. Но всерьёз воспринимать то, что он тут нам…

ЗЕЛЁНЫЙ. Он знает всё. Всё. Ему известны ваши дела, каждое дело. И, не сомневайтесь… Ему известны ваши мысли. Просто смиритесь с этим.

ЧЁРНЫЙ. Мы – сли? Так… Но вы-то, вы откуда об этом?

РЫЖАЯ. Он что, сам сказал вам?

ЗЕЛЁНЫЙ. Не было необходимости, и так понятно.
ЧЁРНЫЙ. Что вам понятно и так?
ЗЕЛЁНЫЙ. Я действительно хотел послать молодых на фланг, под ураганный огонь. Свободных бойцов не было, я уже готовился отдать приказ. Готовился, но не успел. Начался налёт.
ЧЁРНЫЙ. Слушайте, ну это какой-то фокус. Вроде того, что делал этот, Вольф, как его… Мессинг.
РЫЖАЯ. Если он знает наши мысли, ему не позавидуешь. Если он знает **все** наши мысли.
ЧЁРНЫЙ. Да погодите! Может, вы сами ему разболтали, не знаю, в бреду, в беспамятстве это бывает. После ранения. Как вам такая версия?
ЗЕЛЁНЫЙ. Вы тут с утра?
ЧЁРНЫЙ. С самого утра. А что?
ЗЕЛЁНЫЙ. И сколько раз, с утра, вам хотелось пить? Или есть? Уже вечер, вы ничего не ели.
ЧЁРНЫЙ. Спасибо, я ел. Кажется.
ЗЕЛЁНЫЙ. А сколько раз, прошу прощения, вы пользовались сегодня туалетом? Нисколько. Ни разу.
РЫЖАЯ. В самом деле, я тоже заметила.
ЗЕЛЁНЫЙ. Странно, но факт. Вы свободны от привычных желаний тела, даже не вспоминаете о них.
ЧЁРНЫЙ. Да, действительно. Может, какая-то химия? Сыворотка, которая всё отшибает.

Появляется Серый.

СЕРЫЙ. Не, нормальная тема. Про желания тела, нормально. *(Зелёному)* Типа, ты провёл сейчас политинформацию для жмуриков.
ЧЁРНЫЙ. Наша песня хороша…
СЕРЫЙ *(Чёрному).* Ой! Снова с нами, с народом. А вы, извините, депутат от какой партии? «Наш козлиный выбор»? «До третьих петухов»? Я где сказал тебе сидеть, тварь?
ЧЁРНЫЙ. Руки свои уберите.
СЕРЫЙ. Ты плохо понял меня?
ЧЁРНЫЙ. Уберите руки!
СЕРЫЙ. Я сказал, здесь сидеть! Твоё место у… У «Справочного бюро».
РЫЖАЯ. А было так спокойно.
СЕРЫЙ. И будет спокойно. Лёгкая вечерняя гигиена.
ЧЁРНЫЙ. Вот, хочешь послать идиота, а имени его не знаешь. Неудобно.
СЕРЫЙ. Кстати, козлик прав. Мы имён своих не знаем!
РЫЖАЯ. Это к чему сейчас сказано?
СЕРЫЙ. Если имени нет, можно брать любое. Ага! С этого момента зовите меня Адриано Челентано. Я так хочу.
РЫЖАЯ. Тогда вам придётся петь, по просьбе населения. И иногда танцевать.
СЕРЫЙ. Это потом. *(Зелёному)* Война, побазарим? Смотри, имени я не знаю, многое не помню. Вдобавок ко всему, я покойник, допустим, хотя это немного стрёмно, да? Может, где-то есть плита, на ней две даты и моя рожа, может быть. Но скажи мне – ты, вроде, знаешь об этом больше – растолкуй, почему мы здесь. Должна быть причина.
ЗЕЛЁНЫЙ. То, что было с нами там, и есть причина. Всё взвешено.
СЕРЫЙ. Взвешено. Хорошо сказал, плотно. Только что они взвесили? Ты солдат, почти герой. Я муфлон, других таких же пачками укладывал, реально пачками. И что? Мы с тобой в одном месте. Сидим, за жизнь перетираем.
ЗЕЛЁНЫЙ. Скорее, за смерть.
СЕРЫЙ. Опять неплохо сказал. Но только мы с тобой тут по одной ксиве – нас обоих враги подстрелили. Нет? Поправь меня, если я неправ.
РЫЖАЯ. Можно я поправлю? Он получил пулю, защищая Родину, а вы…
ЧЁРНЫЙ. …а он – защищая общак. Для него общак и есть Родина.
СЕРЫЙ. О, на параше рот открылся! Это ты мне, типа, мораль сейчас прочёл, крыса? Усохни, мразь, мне отвечать тебе западло.
ЧЁРНЫЙ. А то что, завалишь меня? Смешной призрак, ей-богу.
СЕРЫЙ. Завалить не завалю, да. Но, веришь, можно сделать очень неприятно. Очень-очень неприятно.
ЧЁРНЫЙ. О, ужас… Ангел мщения. Огненный меч возле бедра, больше не знают о нём ни хера. Вор и грязный убийца.
СЕРЫЙ. Та да, слышишь. Но я честный волк, честный, чужого не отгрызал. Таким и помер, наверно. А ты шакал, крыса. Не доводи меня, крыса.

РЫЖАЯ. Господи, как надоели ваши замашки! Мы не тюрьме, забыли? Все в одинаковой ситуации.

СЕРЫЙ. Не в тюрьме, а где? То есть, он беспределил, людей палил, и это нормально. Представь, он маму твою сжёг. Представила? Теперь пожалей его за это.

ЧЁРНЫЙ. Никого я не сжигал, хватит нести чушь! Был хозяйственный спор, что они там делали дальше, я не знаю.

СЕРЫЙ. Не знаю. Бумаги не ты проталкивал? Сколько тебе пацаны откатили, за хозяйственный спор? *(Рыжей)* А ты добрая, всех защищаешь. Расскажи, как ты защищала мужа.

РЫЖАЯ. Не ваше дело! Что мы делали с мужем, я и мой муж, не ваше дело! Понятно?

СЕРЫЙ. Та понятно, всё понятно. Поговорили.

Все умолкают.

РЫЖАЯ. *(Зелёному)* Вы тоже думаете, что я сволочь, бросила мужа умирать, в мучениях. А сама укатила к морю.

ЗЕЛЁНЫЙ. Так важно, что я думаю.

РЫЖАЯ. Мне важно, да, мне это важно.

ЗЕЛЁНЫЙ. Вы говорите сейчас неизвестно где. Неизвестно с кем. Понимаете?

РЫЖАЯ. Понимать ваше дело. Пожалуйста, мне сейчас лучше говорить. Он полгода скрывал, я случайно нашла заключение врача. Тогда он сказал, пора разбегаться. У него, мол, ещё много дел, и нет времени на мои слюни и сопли. Так будет лучше для всех. А я настолько ничего не могла сообразить, не могла понять и поверить, а он был злой, он был такой злой… Я согласилась. Согласилась, понимаете? Сволочь, я согласилась с ним. Настоящая сволочь, мерзость, я… Согласилась.

ЗЕЛЁНЫЙ. У каждого свой шкаф, а в нём скелеты.

РЫЖАЯ. Я всегда боялась скелетов. Мне такой шкаф не нужен.

Подходит Чёрный.

ЧЁРНЫЙ. Извините, что прерываю интимную беседу. *(Зелёному)* Кажется, вы действительно знаете больше. Знаете, но молчите.

ЗЕЛЁНЫЙ. О чём?

ЧЁРНЫЙ. Например, что это за место. И чего ожидать завтра.

ЗЕЛЁНЫЙ. Ожидание чего-то конкретного как прогноз погоды, так же надёжно.

ЧЁРНЫЙ. А что неконкретное?

ЗЕЛЁНЫЙ. А что было вчера?

ЧЁРНЫЙ. Вчера, что было вчера… Слушайте, к чему это? Вопросом на вопрос.

ЗЕЛЁНЫЙ. К тому. Что мы здесь, судя по всему, уже не первый день. Все вместе. Вам уже говорили, вы не очень внимательны.

ЧЁРНЫЙ. Так… И что из этого следует?

ЗЕЛЁНЫЙ. Следует. Что здесь у нас нет памяти. Нет имени. Нет вчера и нет завтра. Есть только настоящее время.

ЧЁРНЫЙ. Нет завтра, хорошенькое дело…

СЕРЫЙ. У-у-у, а вчера-то, вчера! Вчера, которого нет. Что тут у нас было-о… Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай.

РЫЖАЯ. Каждый день вместе, что-то напоминает. Какой-то… Сериал. Здесь сериал снимается, что ли? Но явно не Санта-Барбара.

ЧЁРНЫЙ. Остаться в живых.

СЕРЫЙ. Клёвое название для покойников. И-е-ех! Чем мы тут только ни занимались друг с другом, а? Скандал. Какие грязные тайны булькают на дне беспонтовой фляги? А-а-а, не показывайте, мне стыдно. Ка-кой позор.

ЧЁРНЫЙ. Н-да. А я ещё собирался спрашивать, куда нас потом. Отсюда.

ЗЕЛЁНЫЙ. Подумайте сами. Любое существо либо строительный материал, для будущего. Либо мусор, сорняк. Других вариантов нет.

ЧЁРНЫЙ. Да? Очень интересно. Кстати, знаете, сейчас из мусора тоже делают стройматериалы. Особенно японцы молодцы, у них это получается.

СЕРЫЙ. Класс! Я бы из мусоров тоже сделал что-нибудь такое, цемент или бетон. Гвозди бы делать из этих, да… *(Чёрному)* Сорнячок ты мой японский.

ЧЁРНЫЙ. Отстаньте! Надоело это хамство ваше, отвратительное.

РЫЖАЯ. Господи, неужели вы не понимаете? Посмотрите на себя, посмотрите, давайте. Посмотрим. Мы здесь не почему-то, нет. Только потому, что мы такие. Мы такие. Такими тут и останемся, наверное.

ЧЁРНЫЙ. Тут, тут, где тут? Что это? Мифическая станция. Общежитие для грешников. Заповедник, зоопарк. Кунсткамера. Или цирк, где фокусник читает наши мысли, в жидком виде. Не помню, когда ещё я чувствовал себя таким идиотом.

СЕРЫЙ. Точно, слушай! Зоопарк. Я так и думал. На входе толпа, дети, все галдят, платят за билеты. Хавают сладкую вату, эскимо на палочке. Фотографируются.

РЫЖАЯ. И кто же вас фотографирует? Где они?

СЕРЫЙ. О! Зацените, редкое селфи. Это я. А это специально выведенная порода. Животное-политик.

РЫЖАЯ. Супер-лайк. Два репоста.

Все смеются.

РЫЖАЯ. А мне кажется, и здесь возможно. Не знаю, немного счастья, наверное.

ЗЕЛЁНЫЙ. Счастье это ожидание счастья.

РЫЖАЯ. Так просто?

ЧЁРНЫЙ. Сложно, просто. Скажите спасибо, что мы здесь в нормальном возрасте. Сидим. Стоим. Не развалины какие-то, кряхтящие, тарахтящие. *(Передразнивает)* А? Что-что? Что вы сказали?

РЫЖАЯ. Да уж, за это стоит сказать спасибо. Быть неизвестно где, ещё и шамкающей старушенцией… Бр-р, нет, спасибо.

СЕРЫЙ. Старость, старость. Это когда начинаешь любить борщ и отказываешься от пива. *(Зелёному)* Любишь пиво, война? Пиво – дело молодых, лекарство против морщин.

РЫЖАЯ. Вы что-то имеете против борща?

СЕРЫЙ. Не-не, спасибо. Это мы помним, кастрюля борща. Спасибо, не надо.

Умолкают, расходятся.

ЗЕЛЁНЫЙ.
Рута – избавить от воспоминания
Мята – ответ на чужом языке
Листья бессонницы в левой руке
Дождь, укрывающий от заклинания
Белые буквы в новой строке
После потопа точнее детали
Рута – избавить от воспоминаний
Мята – ответ на чужом языке

Действие 6.

На сцене те же.

СЕРЫЙ *(Зелёному)***.** Прикинь, чуть сигарету у тебя не стрельнул. Ты понял? Курить же не хочется, вообще, но что-то такое. Руки куда-то деть.

ЗЕЛЁНЫЙ. Фантомные боли. Ошмётки памяти.

СЕРЫЙ. Ошмётки болят, прикольно. Слушай, война, скажи честно. *(Тихо)* Тебе бабу хочется? Ну здесь, я имею ввиду. Колись, хочется? Это же ничего такого, смотри, ты молодой, здоровый, вон какой бугай. Пистолет у тебя хороший. Не, я понимаю, выбор тут. Чокнутая и…

РЫЖАЯ. Я всё слышу! Милые, галантные кавалеры. Отрада сердца моего.

СЕРЫЙ *(громко)***.** Не, а чё? Нормально. Пить не надо, жрать не надо. Потребности удовлетворили навсегда.

РЫЖАЯ. Коммунизм победил, да.

СЕРЫЙ. Да… Пить не надо, жрать не надо, значит ничего другого тоже. Удобно, дерьма вокруг меньше.

РЫЖАЯ. Дерьма вокруг всё равно достаточно.

ЧЁРНЫЙ. Это точно.

СЕРЫЙ. О, опять нарисовался! Ну давай, депутат, давай. Порви меня интеллектом.

ЧЁРНЫЙ. Это прогресс, вы знаете слово «интеллект».

СЕРЫЙ. Чего?

ЧЁРНЫЙ. Ничего. У нас на 33% Великая французская революция, это прогресс.

ЗЕЛЁНЫЙ. Оригинально. Почему 33, куда вы дели остальное?

ЧЁРНЫЙ. Ну как, они же боролись за Свободу-Равенство-Братство? Свобода и братство здесь близко не валялись. Зато равенства… Равенство отсюда можно вагонами экспортировать.

СЕРЫЙ. Бис! Ещё рывок – и я твой фанат. Буду у подъезда дежурить, захочу от тебя детей.

ЧЁРНЫЙ. Избави боже.

СЕРЫЙ. Ещё и набожный, у-у-у. Ну давай, давай, утоли жажду. Не оставь нас. А то мы сами не знаем.

ЧЁРНЫЙ. А вы и не знаете! Почему мы здесь… Спрашивать надо, почему **мы** здесь? У власти во всех странах – во всех! – настоящие говнюки. Конченые мерзавцы. Люди для них – стадо, которое надо стричь. И периодически резать. Но что-то я их здесь не вижу, с нами, этих ребят. Эй, алё, где вы? Нет их здесь.

ЗЕЛЁНЫЙ. Может, для них придумано худшее место. Почитайте Данте на досуге.

ЧЁРНЫЙ. Данте-шманте… Тираны, массовые убийцы, создатели вирусов и прочей заразы, они всегда устроятся. Причём на лучшее место. На них неизменно высокий спрос – там! Вселенские урки, настоящие упыри и людоеды, они всегда молодцы.

СЕРЫЙ. Не надо гнать. Урки живут по понятиям, людей не сжигают.

ЧЁРНЫЙ. Понятия… Свобода, справедливость. Где вы это видели? Придуманные символы, в природе их не бывает. Мечты, мечты.

ЗЕЛЁНЫЙ. А что бывает в вашей природе?

ЧЁРНЫЙ. А вы и не знаете, дети малые… Сила. Природа это поедание слабого сильным. Что, нет? У него спросите. *(Указывает на Серого)* Заметили? Чем кровавее и безжалостней чудовище, тем боль-шего размера у него памятник. И народ крепче любит. Парадокс? Нет, не парадокс, обычное рабство и скотство. Деньги и власть, вечные двигатели мира. Деньги. Власть.

РЫЖАЯ. Так, я поняла, спасибо, товарищ лектор. Любви здесь не бывает. Где мой поезд?

ЧЁРНЫЙ. Любви… Ну подумайте сами. Наука, технология, искусство, пирамиды, колизеи, лувры – на чём это всё стоит? Власть, кровавые деньги. Данте… Где был бы ваш Вергилий без Мецената, грязного работорговца? То-то. Весь мир – вот здесь! Так было, есть, и так будет. А вы – равенство, справедливость… Можете наслаждаться равенством, теперь вы довольны?

Спотыкается о ногу Серого, падает.

РЫЖАЯ. Я – довольна. По крайней мере, теперь каждый на своём месте.

Появляется Местный.

СЕРЫЙ. О, здравствуй, дедушка Мороз! Мы уже скучали.

МЕСТНЫЙ. По деду Морозу?

СЕРЫЙ. Точно. Давно подарков не было, под ёлочкой.

МЕСТНЫЙ. Можете заказывать, не стесняйтесь.

СЕРЫЙ. Да? Супер. Значит так, мне лимузин 10 метров, с баром внутри. Водила с высшим образованием, чтобы матом не ругался. И пусть уже тёлка внутри будет, нормальная. Депутату – мешок писем, от любимых избирателей. А красавице нашей…

РЫЖАЯ. Можно я сама за себя буду говорить?

СЕРЫЙ. Та нема базара.

ЧЁРНЫЙ. А я – за себя. *(Местному)* Вы тут намекали, что мы давно уже, того. Как бы покойники. А я не согласен. Ибо сказано – мыслю, значит существую, ну и так далее.

МЕСТНЫЙ. Прекрасно. И не считайте себя мёртвым, это всего лишь слова.

ЧЁРНЫЙ. Слова словами, но все хотят определенности.

МЕСТНЫЙ. А вы знаете пределы вещей? Где граница живого и мёртвого, понимаете? Как отличить? Осторожность – трусость. Человек – зверь. Небо или земля. Ещё летишь или уже падаешь.

ЧЁРНЫЙ. Но это правда? Что мы здесь каждый день, но ничего не помним.
МЕСТНЫЙ. Если и правда, надо ли удивляться. Там вы всегда жили одним днём. И если здесь вам дана такая же возможность, это было бы логично. Не так ли?
ЧЁРНЫЙ. Издеваетесь. Сколько мы уже здесь, три дня, сто дней? Десять тысяч?
МЕСТНЫЙ. Никто не издевается.
РЫЖАЯ. Хорошо, вы знаете нас наизусть, помните всё за нас. Наши мысли, желания, наши страхи, подлости, слёзы. Постоянно носите за собой это добро. По-моему, если, не отрываясь, пить чистый спирт, и то полезнее будет.
СЕРЫЙ. Толково замечено. Похмелье от этой бодяги не мучит?
МЕСТНЫЙ. По-разному.
РЫЖАЯ. По-разному хорошо или по-разному плохо?
МЕСТНЫЙ. По-разному по-разному.
РЫЖАЯ. А мы… Знаете, что я чувствую? Господи, зачем спрашивать, вы же именно это знаете.
МЕСТНЫЙ. Корочка на коленке ребёнка, присохшая. А её сорвали…
РЫЖАЯ. …и дали ему попробовать. На вкус.
МЕСТНЫЙ. Да. Но сегодня это было необходимо.
ЗЕЛЁНЫЙ. Почему именно сегодня?
МЕСТНЫЙ. Дело в том, что я ухожу. У вас будет другой Первый.
РЫЖАЯ. Куда вы уходите?
СЕРЫЙ. Кто другой?
МЕСТНЫЙ. Два разных вопроса. Имеет смысл начать со второго.

Чёрный выхватывает у Местного фляжу.

ЧЁРНЫЙ. Да, начать! Начать новую жизнь никогда не поздно, правда?
СЕРЫЙ. Нормальный заход. Слышь, братела…
ЧЁРНЫЙ. Стоять! *(Наводит на Серого пистолет, он незаметно вытащил его у Зелёного)* Шутки кончились, теперь всё иначе. Всё иначе, будем вливать свежую кровь.
СЕРЫЙ. Ты понял? Я говорил, он крыса.
РЫЖАЯ. Вы что, совсем дурак?
ЧЁРНЫЙ. Стоять, я сказал.
МЕСТНЫЙ. Надеюсь, вы не собираетесь из неё пить.
ЧЁРНЫЙ. Надеетесь, ну-ну. Надейтесь. Надежда всегда о двух концах.
ЗЕЛЁНЫЙ. Вы не понимаете происходящее.
ЧЁРНЫЙ. Стоять! Я сыт рассуждениями по горло. Пора и дело делать.
РЫЖАЯ. Дурак, ой дурак. Полный идиот.
ЧЁРНЫЙ. Да сами вы… То есть, нормально, один всё помнит, остальные – нет, нормально…
МЕСТНЫЙ. Не пейте, не надо.
ЧЁРНЫЙ. Конечно, вам не надо. Один в курсе, остальные – слепые котята. Всегда можно что-то вымутить. Вот и посмотрим, что тут можно…
МЕСТНЫЙ. Не нужно пить. Просто верните, и всё.
ЧЁРНЫЙ. Верните… Я тоже хочу своё вчера и своё завтра. И имя собственное, своё собственное имя… Стоять! *(Стреляет в Зелёного, тот падает)* Говорил, стоять на месте.
РЫЖАЯ *(бросается к Зелёному)***.** Миленький, миленький… *(Чёрному)* Ах ты сволочь! Тварь уродская… Миленький, что ты, хороший… Сволочь, я удавлю тебя! Миленький, ну что ты… Не надо…
СЕРЫЙ *(Чёрному)***.** Шакал ты позорный.
ЧЁРНЫЙ. Вы не остановите меня. Нет, не остановите.

Пьёт из фляги. Падает, корчится. Затихает.

РЫЖАЯ *(Зелёному)***.** Милый, ну… Хороший, не надо… Живой… Он живой!
МЕСТНЫЙ. Здесь не умирают.
СЕРЫЙ *(глядя на Чёрного)***.** Говорили, не пей, козел. Козленочком станешь.
РЫЖАЯ *(Зелёному)***.** Больно?
ЗЕЛЁНЫЙ. В бронежилете бывает больнее.
МЕСТНЫЙ. Нас прервали, продолжим. Теперь у вас другой Первый.
СЕРЫЙ. Ха, я даже знаю кто. Солдат, ты, что ли?
МЕСТНЫЙ. Знакомьтесь. *(К ним подходит Вера)* Её зовут Вера.

СЕРЫЙ. Не, я люблю сюрпризы. Она теперь пахан? Нормально. *(Вере)* Умеешь хлебать эту отраву?
МЕСТНЫЙ. Ещё она умеет прыгать под лёд, когда человек тонет. Берегите её.
РЫЖАЯ *(глядя на Черного)*. А он, тоже не умер?
МЕСТНЫЙ. Вряд ли ему это удалось. Вряд ли.
РЫЖАЯ. Можно спросить, куда вы уходите?
МЕСТНЫЙ. Здесь два выхода. С одного перрона возвращаются туда, к близким и далёким. К мохнатым собакам. С другого – неизвестно куда. Мне неизвестно.
ВЕРА *(Зелёному)*. Разведите огонь. Нам надо согреться.

Местный уходит.
Все садятся у огня. Вера наполняет из фляги чашу, передает её по очереди.

ВЕРА *(Зелёному)*. Игорь Николаевич…
ЗЕЛЁНЫЙ *(отпивает)*. Игорь… Я Кириленко Игорь, сержант.
ВЕРА *(Рыжей)*. Зинаида Павловна…
РЫЖАЯ *(отпивает)*. Да, Зина. Меня Зина зовут.
ВЕРА *(Серому)*. Арсен Петрович…
СЕРЫЙ *(отпивает)*. Арсэн Пэтровыч. Сестра меня так называла, Арсэн Пэтровыч. *(Зине)* Привет, я Арсен.
РЫЖАЯ. Зина. У нас красивые имена.

Поют.
Чёрный приходит в себя. С трудом ковыляя, подходит к ним.

ВЕРА *(Чёрному)*. Сергей Витальевич…
ЧЁРНЫЙ *(отпивает)*. Серёжка-матрешка. Так меня дразнили.

Поют.
К ним подходит девушка.

ДЕВУШКА. Извините, я не знаю… Сегодня ещё есть поезда?
ВЕРА. Нина, садитесь.
ДЕВУШКА *(отпивает)*. Да, я Нина…

Поют.
Звуки проходящих поездов.

КОНЕЦ

ЕЛЕНА ЛАЗАРЕВА

КОЛЬ СКОРО КРЫЛЬЯ ОТКАЗАЛИ

ДОРОГА ДОМОЙ

Озябший город мечется в бреду.
Сквозь дебри смога я к тебе бреду,
А вслед метро неровно вторит пульсу.
Бездарно умирает старый год.
Не приходя в себя. Пока другой,
Рождённый в коме, жаждет не проснуться.

И в горле ком. Не чувствую тепла.
Была ли я – а может, не была?
И был ли год, увенчанный короной?
Проходит жизнь. Проходит мимо нас.
Ещё фонарь последний не погас,
Но тьма ползёт навстречу неуклонно.

И шепчет голос: «Вряд ли ты дойдёшь…».
Ещё немного – и начнётся дождь,
Дорогу покрывая цепкой коркой.
Но только ожидание твоё
Мне сдаться малодушно не даёт.
Пропахли гнилью утлые задворки

Столицы, где очередной майдан…
И гложет ощущение стыда
За то, к чему ты вовсе не причастен.
И хочется дожить до Рождества,
И только тем душа ещё жива,
Что жребий твой – прощать, а не прощаться.

Пускай твердят, что оба мы – никто,
Что в мире, обделённом красотой,
Юродивым нисколечко не рады.
Но лучше быть никем, чем всем подряд,
А люди и похлеще говорят,
Советы раздают – и ждут награды.

Молчание – мой оберег от бед.
Хотя бы каплю света – не совет,
И пара добрых слов, пускай дежурных…
А вот и дом. И светится окно.
Нащупать приглашение на дно,
Плотнее скомкать – и отправить в урну.

СОПЛИ

Огонёк надежды во тьме кромешной –
Лишь избитый образ. Как трын-трава.
Я – такой же чёртов несчастный грешник,
Только не умеющий предавать.

Жизнь почти прошла – хорошо ли, плохо…
Истекает время, впиваясь в грудь.
Мы должны уйти со своей эпохой:
Путь в один конец – это тоже путь.

Ты грешил и каялся на подмостках.
Я грешил и каялся – в тишине.
От тебя остался лишь хрупкий остов,
От меня – горчинка в сухом вине.

Мы хотя бы боли с тобой достойны,
Но едва ли – памяти, не серчай,
И без нас закончились наши войны,
Что не нами начаты сгоряча.

Мы писали трезвыми – или спьяну,
Укрываясь в радости от беды,
Но твои страдания – дым кальянный,
А мои – ядрёный табачный дым.

За тобой – видавшая виды клака,
А за мной – клоака. Точнее, дно.
Только, знаешь, сколько бы ты ни плакал,
Почему-то плачется – об одном.

Может, хватит жалости гордо клянчить?
Может, хватит жадность свою кормить?
Мы с тобой – видавшие виды клячи,
Корабли без паруса и кормы.

Нам и плыть-то некуда – всё утопло:
Не без нашей помощи пустошь днесь.
Так имей же мужество – вытри сопли.
Мы уже приплыли. В один конец.

ЗОНА КОМФОРТА

С.А.

Не проходит и дня, чтоб кто-нибудь – да не помер:
То актёр, то певец, то алкаш из второго дома
(На последнего всем наплевать – поглотила кома,
Он и жил-то в сознание изредка приходя).
Смерть приходит внезапно – врывается в дом без стука,
Вот листаешь Фейсбучек и стонешь – какая скука,
А она подкрадётся к тебе, не издав ни звука –
И, глядишь, домочадцы уже пирожки едят…

Ты гордился собой – не актёр, не алкаш, при деле,
Но всей жизни в году – два присеста по две недели,
И смеётся душа, заточённая в дряхлом теле:
Помогли, мол, карьера, зарплата, домашний хлам?
И не знает никто, как дрожишь по ночам от страха,
Как в рабочем столе вдруг нечаянно видишь плаху,
И зудящая мысль – то ли муха, а то ли бляха:
Может, к чёрту карьеру – и тяпнуть с утра бухла?

Ты стоишь на распутье – потерянный и покорный,
Рвёшься в небо, на волю, в пампасы, на море, в горы,
Но приклеились ноги к зыбучей своей опоре –
И нельзя оторваться без боли и без потерь.
Снова песню заводит супруга о новой шубе,
Об айфоне – любовница… Ночи идут на убыль,
И запахло весной, но тебе ничего не любо,
Кроме прошлого времени. Будто голодный зверь

Пробуждается совесть – и треплет тебя, и гложет,
Ты жалеешь себя, а психолог шипит: «Негоже!»,
Но потеря клиента в твоей офигевшей роже
Вынуждает о зоне комфорта пролепетать.
Ты выходишь на улицу. Тающий снег, как в детстве,
Кормит птиц с подоконника бабка в окне соседском,
Улыбаясь блаженно, и вдруг сознаёшь всем сердцем,
Что тебе и во сне не случится уже летать…

КАРАНТИННЫЙ ВОИН

Памяти В.Н.

Он просто жил себе да был,
Мешки ворочал, водку пил,
Порой охране морду бил –
Считал, по делу.
Потом случился карантин,
И шеф – скотина из скотин –
Сказал: «Отныне ты один
На два отдела».

Он сдался: было не впервой,
Трудись, боец, пока живой!
Сказать бы – на передовой…
Окстись, трудяга.
Чай, не больница – магазин,
А ты – не доктор, весь в грязи,
И потом от тебя разит
Как от бродяги.

Пока весь мир сходил с ума –
Работал ночью, днём дремал…
Он сам порой не понимал,
Какого чёрта
Народ за гречкой прёт и прёт –
И даже вирус не берёт
Прожжённый человечий род?
Давно со счёта

Он сбился – сколько съели тонн,
И был для едоков – никто,
Торговый винтик, конь в пальто –
Какое имя?
…Когда с постели он не встал,
Начальник думал – опоздал,
Орал: «Подумаешь, звезда!
Незаменимый!

Ему работа не нужна?»
Звонил. А в трубке – тишина.
Но вдруг ответила жена:
«А Вася помер…»
Таков бесславный был итог –
Как конь пахал, как псина сдох.
…Но с неба Васю видел Бог –
И всё запомнил.

ГВОЗДЬ

И будет всё, что было до меня…
И будут ночи не длиннее дня.
И звёздным молоком переполнять
Сосуд небесный тихо будет вечность,
Порой роняя капли на траву…
Я, кажется, пока ещё живу,
И хочется остаться на плаву,
Хотя держаться не за что – и нечем.

Коснулись дна, ослабнув, плавники.
Не выросли ни когти, ни клыки.
Не выживают в джунглях слабаки –
Да и не в джунглях тоже нам не место.
Стою обломком посреди реки,
И вроде бы вокруг не дураки,
Но в глупом беге наперегонки
Безропотно участвуют все вместе.

Рассветом кровоточат небеса –
И карма прикорнула на весах.
Застыла занесённая коса
Над судьбами, что легче паутинки.
И громче всех кричат – «Заткнись! Замри!» –
Пустые люди. Полые внутри.
Которым говори – не говори…
И о которых жаль марать ботинки

Тому, кто задаёт команду «Фас!»
Они танцуют свой собачий вальс,
Самодовольны – в профиль и в анфас,
Хотя убеждены, что смотрят в оба.
Меня ты видишь, Господи, насквозь:
Я – грешник и не самый лучший гость…
Но не позволь им вбить последний гвоздь
В глухую крышку собственного гроба…

ПРИСТАНЬ

Прости мне, Господи, мечты
О том, чтоб стало чуть полегче…
Устали мачты и мосты,
Не лечит время, но – калечит.

Я утомилась от борьбы
С врагом – невидимым, но зорким.
Мне можно крылья обрубить,
Сослать на пыльные задворки –

Я буду жить. Сплетать слова.
Не знать ни мира, ни покоя.
Задворки тихо обживать –
Мой мир, в котором только двое.

Я не перечила Тебе,
Когда был прежний мир разрушен.
Смогла понять. Умерить бег.
Сомкнуть распахнутую душу.

Смогла почти что замолчать –
Не до конца. Суди же строго,
Но лишь не запрещай мечтать
О проблеске в конце дороги.

Лежу. Придавлена к земле.
Взлететь уже смогу едва ли.
Мне предлагали на метле –
Коль скоро крылья отказали.

Метлу сломала. Ночь прошла –
И новый день, такой же мрачный…
Жила – а, может, не жила,
Но слов запас почти растрачен.

Я по инерции бреду –
И кану в сумерки однажды.
Но, Боже, отведи беду
От пристани моей бумажной.

НАТАЛЬЯ НОВОХАТНЯЯ

ОКНО И ТЫСЯЧА ПРИМЕТ

***

Под каплями росы согнётся стебелёк.
Светило зреет яблоком на блюде.
Нашкодившим котом сон юркнет за порог –
Лови, лови! – наверняка забудешь.

Лишь смутное «прости», неловкое «прощай»…
Ах, боже мой, какие сантименты!
Горячий, как июль, мне в чашку льётся чай
И стынет, как декабрь. И канет в Лету.

***

…Из дома прочь. И бант на голове
Дрожит в испуге, пойманная птица.
С пространством так непросто примириться,
Неважно, птица ты иль человек.
А человеку ровно девять лет.
В нём веса столько же, как в ранце за плечами.
Сползают гольфы. Человек в начале
Пути и заблуждений, и побед.
Троллейбус, разжиревший на глазах,
Вразвалку отошёл от остановки.
Быть там, внутри, – о, чудеса сноровки!
Но по щеке предательски слеза…
Меж тел и тел, ни воздуха, ни зги.
«С ума сошли! Дитя не раздавите!»
И – результатом череды событий –
В окно спасённый человек глядит.
Что улицы – картинки букваря,
Мелькают, разрисованы, страницы.
У жизни не заказано учиться,
Но вот опять теряешь время зря.
Чему научит плавный взмах листвы?
Чужих домов скучающие взгляды
Сквозь ворох лет и шелест листопада
Зачем твои просвечивают сны?
Троллейбус встал, с ним вместе замер бант.
В окне маячит новая картина:
Влюблённых пара будто на витрине.
Ах, это слово непонятное – роман…

Молчи-молчи, о мудрость сквозь года!
Все учатся на собственных ошибках.
Сверкнуло солнце ослепительной улыбкой.
– Вы, барышня, выходите?
– Я?.. Да!
Исчез троллейбус (перепрыгнул век?),
Но от смущенья всё пылали щёки.
Назвали барышней! Тут, вспомнив про уроки,
Помчал вприпрыжку малолетний человек.
И ранец, что болтался за спиной,
Совсем не походил на пару крыльев.
И всё-таки они, наверно, были
В тот день далёкий, солнечный, иной…

***

Ещё недавно так мела метель,
А ветер выл, печалясь и печаля,
Но тянется подростком новый день,
И вновь весна как шанс начать сначала.
И ничего, что ты совсем не та,
Что тянет груз страданий и сомнений.
Черна земля, но эта чернота –
Предвестница грядущего цветенья.
Лазурь небес и шелест птичьих крыл –
Во всём, во всём читаются приметы.
«Не различает тот, кто не любил…»
Шептать беззвучно птицам, веткам, ветру.

***

Мир сузился до фото, что на диске.
С них прошлое недрогнувшей рукою
стреляет. Каждый выстрел прямо в сердце.
О, сколько раз возможно умирать
под взглядом глаз родных?!
Иное – города…
Во сне ты к ним бросаешься навстречу,
ты гладишь камни и изгибы линий.
И млеют замки, замирают храмы.
Такая ласка ни к чему мужчине,
что предаёт пусть даже только в мыслях.
Да, больше благородства в городах,
а может, равнодушия, не знаю.

Снов было много, города смешались
в один. И тот единый город
вобрал в себя всё лучшее из многих.
В нём Венский вальс с мазуркой побратался,
в нём подмосковные алели вечера
и яркие цыганские глаза
по черноте соперничали с ночью.
В нём шпили храмов так тянулись к небу,
как тянется заблудшая душа
(под грузом бед нечаянно прозрела).

Немудрено, что в городе таком
хотелось мне навеки поселиться,
тем более что мир реальный умер.

Но есть окно, и тысячи примет,
что с нами не покончено, и скоро
мир с почкою на ветке оживёт.

ПИТЕР

На стыке неба и воды.
Дома, что корабли у пирса.
Здесь дождь жильцом давно прописан,
Хотя и льётся с высоты.
Пронзая студень облаков,
Сияют горделиво шпили.
Но облака всё плыли, плыли
По глади рек и чьих-то снов.
Здесь топот каменных копыт
Слышней, чем болтовня прохожих.
Здесь ангел, высотой тревожа,
На крыльях золотых парит.
И удивлённые мосты
По сторонам разводят руки.
Здесь бог обыденно обруган
За воплощение мечты.

В КОФЕЙНЕ НА ПУШКИНА

В кофейне на Пушкина. Столик у входа.
Кофейные чашки застыли в руках.
Вести диалог про природу, погоду…
«Ты как?» – «Без тебя, если честно, никак».

И звякнули чашки, и дрогнули блюдца,
И бурые волны текли через край…
Салфетки и скатерть уже не спасутся,
Так что ж, вместе с ними теперь умирать?

Спаси, капитан, нашу утлую шлюпку!
Влюблённых, похоже, сам бог бережёт:
Бариста, сверкнув белозубой улыбкой,
Две чашки душистых на смену несёт.

Мы что-то ему бормотали смущённо.
Щенком приручённым плескалась волна.
По Пушкина прямо, от дома до дома
Любовная лодка неспешно плыла.

***

1.

Июльское горячее дыханье.
И брови-ласточки взлетают до небес,
Едва заслышав пылкое признанье…
Ах, лето, лето, ты надолго ль здесь?

Глаза твои – бездонные озёра.
Нырнуть однажды и навек пропасть.
Не ягоды, слова созрели скоро.
Истосковаться и наесться всласть.

А после любоваться до рассвета
Сияньем звёзд или одной звезды.
То трепетали листья: лето, лето,
Как горячо… Да это вправду ты!
До сентября так бесконечно быстро,
А там опять дожди и листопад.
Очнуться лишь прожилками на листьях.
Ах, лето, лето… Нет пути назад.

2.

Сентябрь светловолос и тонкорук.
Его ты встретишь в парковых аллеях.
Там осень на кленовых ветках зреет,
Расцвечивая линии разлук.
Прожилки жёлтые и пурпур по краям.
Сентябрь, тебя принять я не готова,
Тоскуя по ленивым смуглым дням,
Улыбку лета вспоминая снова.
Он слышит будто – ластится, как пёс.
А тот бежит, раскидывая лапы.
И ветер на ходу целует в нос
Меня и пса. И лист слетает на пол,
Один, второй… Сентябрь, на этот вальс
Не приглашай, я танцевать не стану.
Прожилки на листе – узоры, раны?
Ах, дето, лето, где же ты сейчас…
Сентябрь, симпатичный паренёк,
Лист подхватив, подержит и отпустит.
И парк вдруг показался полным грусти.
И осень, осень вдоль и поперёк…

КРУГ

…во-вторых, потому что тоска разыгралась под вечер.
Даже звёзды тоскуют, глядясь в помрачневшее озеро.
Стало жаль своей юности. Где вы, тогдашние встречи
И признанья смущённые? Время бесстрастным бульдозером
Разровняло любовь и обиды. А в третьих, а в третьих,
Снова это «курлы»… Равнодушно махнув на прощание
Серебристым крылом, устремилось к закату, и ветер
Как-то шумно вздохнул. Впрочем, он не давал обещания
Быть примерным и тихим.

…А скатерть была белоснежна.
Чашку чая? Прошу…Ах, простите, такая неловкая!
Пальцы мигом отпрянули, и, застеснявшись, надежда
Заслонилась багровым румянцем, надменною бровкою.
Как пуглива ты, юность. А может, доверчива слишком.
Ну, какая любовь? Всё случится позднее, поверь мне.
Но однажды столкнувшись (да это… вчерашний мальчишка!),
Вдруг прозреть: всё давно уж случилось.
И это во-первых.

АЛЕКСАНДР ОБЕРЕМОК

ТРАМВАЙ АЛЬТАИР БЕТЕЛЬГЕЙЗЕ

НЕ ПОМНЮ

был карандаш. ещё тетрадь была
в забытом доме на краю села,
где опускались облака на крышу,
а я писал про дом и облака,
и возвращалась на круги строка,
и выходил из круга шишел-мышел.

была ноль пять из местного сельпо,
ещё трещал будильник ночью, по
которому я выходил на воздух.
там ветер целил мне в лицо и грудь,
и на ладонь садился отдохнуть,
и исчезал в непостижимых звёздах.

была кровать и шаткий табурет,
по мостовой шагал парад планет,
ведро гремело, вечность грохотала,
но стоило привстать из-за стола –
незавершённость сущего и мгла
терялись в разветвлениях фрактала.

бренчал амбивалентный карнавал,
под этот звон я напрочь забывал,
что надо забежать ещё в сельпо мне.
гудели так тревожно провода…
была ли рядом женщина тогда –
не помню.

ЖИ ШИ

мои жи ши круче других жи ши,
они сбегут в шумные камыши,
всего часок листьями пошурши,
а там – котовский.

но как ни злись, шашкой быльё круша,
а только я помню, моя душа,
о том, что ты ангельски хороша,
почти чертовски.

ты снишься мне, этакому хлыщу,
живёшь тайком в чащах моих чу щу,
и я о том чаще всего грущу
чернильным соком,

что столько лет криво бредут дела,
с тех пор как ты, радостна и мила,
тогда в мою глупую жизнь вошла
и вышла боком.

СКРИПЕЛА ДВЕРЬ

скрипела дверь, и ты, душа моя,
тихонько появлялась у порога,
оглядывала пустоту жилья,
свыкаясь с полумраком понемногу.
я ждал тебя, как прежде, по средам,
я ждал тебя, как ждал тогда адам
вторую производную от бога.

скрипела дверь, и ты входила в дом,
на страже тишины часы стояли,
я поднимался на ноги с трудом,
укутывался плотно в одеяло,
потом садился на увечный стул,
как будто пустоту собой заткнул,
но получалось у меня едва ли.

скрипела дверь в убогую нору,
ты в контражуре медлила в проёме,
а мне в сорокаградусном жару
привиделось в туманной полудрёме –
наш город был совсем опустошён,
а пятый македонский легион
вставал во всеоружии на стрёме.

скрипела дверь, а тени на стене
под звон небесных сфер кружились в вальсе,
корабль летел на бреющем к волне,
меняя ставки, имена и галсы,
и сон о том, что комнаты пусты,
мой сон о том, что существуешь ты,
сбивался.

ОНИ ГОВОРИЛИ

а они говорили – люби и детей плоди,
а они говорили – давай, мужиков рожай,
а потом вылезали вожди, как грибы в дожди,
и шутили – бабай, но являлся из тьмы мамай.
приходили домой, забирали с пелёнок в строй,
говорили, зачем же их нежить, ведь им не жить,
и считали на первый-второй, на мертвец-живой
городскую слезу, деревенскую волчью сыть.

и шептали родне, что ребёночек мил и мал,
на сберкнижке клялись, мол, дождёмся иных времён.
посулив материнский фальстартовый капитал,
а потом уверяли, покайся – и ты спасён.
а в конце обещали ребёнку тоннель и свет.
ни того, ни другого, ни третьего больше нет

БЕТЕЛЬГЕЙЗЕ

человек к человеку пришёл говорит открой
я уже не могу ночевать на земле сырой
я продрался сквозь сумрачный лес и гнилую гать
я полжизни в бегах я устал ото всех бежать
догоняют враги не откроешь и мне каюк
человек человека послушал и дверь на крюк
у него сыновья и жена и белья бадья
у него именины и правда всегда своя

*

человек удивляется снится такая чушь
в подошедший трамвай забирается неуклюж
и садится и молча глядит в ледяную тьму
и гадает гадает к чему этот сон к чему
почему что осталось внутри то сидит внутри
а из слабой груди на полметра торчат штыри
почему за окном и на сердце полярный лёд
и трамвай альтаир бетельгейзе в депо идёт

ЖИВУТ

дорогая, тянет туман с низины,
потому и письма пропахли тиной,
и не слышен гул поездов вдали.
а у нас с тобой ничего не будет,
потому что все мы – цепные люди,
даже если суки и кобели.

мы во сне – бессмертные люди-птицы,
перелётны, сказочны, клюволицы,
рождены и брошены в небосвод.
за окном кричит козодой, с болота
в унисон ему подвывает кто-то –
причитает выпь и мурлычет чёрт.

в палестинах наших бесцветно, сыро,
комары к утру проедают дыры,
не спасают дэта и дихлофос.
вспоминаю, как ты тогда витала
в облаках на зависть месье шагалу –
бесшабашно, весело, не всерьёз.

дорогая, мы же с тобой могли бы…
сквозь окно в туман уплывают рыбы,
проникают в илистый абсолют.
я и сам усами чешу чешуйки,
и бросаю письма в огонь буржуйки,
но они живут.

ЛИШНИЙ МИР

заратустра сидит у огня и готовит грог,
а у ног золотистый барашек всё прыг да скок,
заратустра выходит на солнце, но видит тьму,
и звезда ослепляет больные глаза ему

на торговом пути чайхана, караван-сарай,
магомет предлагает шашлык, налетай давай,
позвоню, говорит, заратустре, халва сладка,
но легко разряжается сорок седьмой ака

иисус у воды колобродит туда-сюда,
он ловец человеков, но очень мутна вода,
не прикормлено место и сети видны едва,
человек не клюёт, а клюют караси, плотва

а над всеми покоится небо, где гладь и тишь,
а под небом живёт человек, пробегает мышь,
разбредаются божии твари, им несть числа,
и никто никому не желает добра и зла

ПОСМОТРИ

посмотри на себя, переполненный пустобрёх,
подавляющий вздох, собирающий в тексте блох,
не в кичливой варшаве, а где-то в глухой полтаве.
уродился бы правильным, длил бы свой век, как все,
доживал в старорусски возвышенной полосе
и не думал о том, на кого это всё оставить.

где любая строка отсылает к началу, где
озорная река убегает к морской воде,
к материнской солёной груди прикасаясь устьем,
где отечества дым, где не курят других дымов,
ты сидишь у воды, бесполезен и безголов,
созерцаешь круги, беспричинно и странно грустен.

оттого ли тебе тяжело во всю грудь вздохнуть,
что слова поднимают со дна грязевую муть
и такую тоску, что во сне не бывает выше,
оттого ли, что время – пророщенное зерно –
у пространства берёт конопляное полотно
и размашисто самое верное слово пишет.

СЛОВА

что останется, расскажи мне,
кроме торной дороги зимней
и скрипучих во тьме саней,
кроме встречного ветра, кроме
ямщика на гнилой соломе,
кроме мелочной мзды моей –

обязательного обола.
изовьётся змеёю полоз,
проползёт за верстой верста,
и подумаешь – к очагу бы,
и прошепчут сухие губы:
«что останется, что оста…»

что останется? только имя,
незабытое меж своими,
обронённое вслух едва;
злое слово, пустое дело.
только слово корова съела,
да и дел-то – слова, слова

МАССАРАКШ!

каким бы ни был огнём согрет, каких бы ни жаждал вод,
но ясень, тополь и горний свет – вопросов никто не ждёт,
ищи, свищи соловьём, стократ судьбу-голытьбу кляня,
но где любимая, глупый брат, не спрашивай у меня.

я сам всего лишь послушный страж тех самых ворот зари,
хотя бунтующий массаракш сидит у меня внутри,
я должен эти врата стеречь, волынку тянуть за хвост,
держать в кавычках прямую речь под рок путеводных звёзд.

садись к огню, наливай и пей тоску, беспокойный брат,
но есть условие – ты, орфей, не должен смотреть назад,
забудь любовь, посмотри наверх, там мечется звёздный рой,
там самый чистый идёт четверг.
но тянет землёй сырой.

ТАТЬЯНА АКСЁНОВА

ЧЕЙ ОТКЛИК ОБЛИКОМ ВЕСОМ

МАЙСКАЯ ГРОЗА

Люблю грозу в начале мая…
Ф.И. Тютчев

И не в начале мая, но – гроза!..
И ливень открывает мне глаза,
И обостряют слух раскаты грома,
И Тор свой молот устаёт бросать,
И на траве – вода, а не роса,
Хоть вплавь – по ней, да не найти парома!..

Вдруг стихло всё, и солнце – через край!..
Смеются боги, это – их игра…
И я – в игре, вся в солнышке, летаю,
Поймав искру, как молнию, с утра…
Нет ниточки сухой! На небо трап,
Как лестница уводит, золотая…

Я там, где все дела вершатся вмиг,
Там, где не нужен даже дождевик,
Где музыка на нотном стане радуг
Звучит и не иссяк её родник,
И Бах, как доктор, к трубочке приник
И слушает нечаянную радость…

Ведь в сотый раз причину находя,
Душа вернётся струйкою дождя,
Светясь от счастья молоком вселенной!
Сама себя в младенца *поместя*,
Я рассмеюсь – какой это пустяк –
Зависеть от погоды переменной!..

Проснусь однажды на твоей руке,
Отныне я летаю налегке,
И ты найдёшь меня в своей постели…
Ещё не отвлекаемый никем,
Задумчиво погладишь по щеке
И тихо скажешь: «Ягоды поспели…».

ПОГРУЖЕНИЕ
(октава)

Природа полусна, как полусон природы –
Напрасная весна с пронзённою душой!
Снег тонет в облаках – густой, седобородый,
Я тоже там была, и помню хорошо:
В них солнце то нырнёт, то словно ищет брода,
Призывно полыхнёт – купаться голышом!..
Пусть громыхает гром в небесные литавры –
Апрельскою водой текут мои октавы…

Я полечу туда, где путь когда-то начат,
Где в беленьких, мала, ботиночках бегу,
Мне солнышки – в глаза – всех матерей-и-мачех…
Хотя их оторвать от стебля не могу –
Увидев, становлюсь счастливей и богаче
На праздничном, как жизнь, сверкающем лугу!
Неси меня, мой пульс! Да здравствует дремота –
Природа полусна священна для полёта!

Прекрасно в мире душ, когда ничто не гложет,
Лишь стоит вспомнить путь и отмотать назад…
Где ты – ещё не ты, и старше ли, моложе,
Но слышишь как шумит цветущий, вечный сад!
Дремотою Морфей твоё качает ложе,
Чтоб созерцать весну – не открывай глаза…
Природы полусон с природою дремоты –
Переходной рубеж, где опыт отработан…

Ты говоришь: «Лети, воздушный шар желаний!»,
И я, секретик свой с бутылочным стеклом
Совочком прикопав, на самом тонком плане
Увижу профиль твой, и почерка наклон,
И вспомню тот цветок, что навсегда стеклянен,
Что солнечно светил за домом, за углом…
Там краска на моих ботиночках облезла…
И снова я лечу – передо мною бездна!..

ЖИВЫЕ ЗЕРКАЛА

Как на рассвете входит дым
в остатки сизого тумана,
Так растворяется душа
в молочной тайне облаков…
И непонятно нам двоим:
в каком сюжете из романа
Перетекают, не спеша,
одна в другую, молоком?..

Они давно одна с другой,
их симбиоз безукоризнен,
Эффект – два Д иль «два в одном»,
а в нашем случае – их две!
И ходят *по* цепи кругом
все воплощенья прошлых жизней –
На языке моём родном –
круговорот росы в траве…

В молочной той голубизне
иль в серебристости жемчужной,
Как в отражениях зеркал,
друг друга всюду узнаём…
Ты – солнышко моё извне,
а я твоим свечусь наружно –
Так небом радостным сверкал
священноликий водоём!..

Всё закрутилось, понеслось,
так неостановимо, вроде,
В мерцаньи сказочном стекла –
и кувырком, и колесом…
Да, мы не можем больше врозь!
Круговорот любви в природе
Осуществляют зеркала,
чей отклик обликом весом…

***

Мы в Царицынском парке мечтали, как белые лебеди,
Никогда не расстанемся, будем навеки вдвоём!
Словно намертво шеи сплетались в восторженном лепете,
И защитой Москвы окольцовывал нас водоём,

Будто – стены Кремля, Китай-города, Белого города,
Будь то вал Земляной – не подступится сила извне!
Мы такими же птицами были, отчаянно-гордыми?
Или только казались излишне доверчивой мне?..

В отраженье – сентябрь,
листья – скользкие лодки, неброские,
Ярче радуг осенних предательства острая боль!..
То – строчит пулемёт с колокольни пером Гиляровского,
То – иронией злой «осыпает мозги алкоголь»…

Стены монастыря «украшали» частушки похабные…
Как Страстной не любить, если душу скрывает броня?
Ах, купчиха Москва, отчего же недоброю бабою
Заставляешь ты птицу кровавые перья ронять?

Не для нас оказался дворец Казакова с Баженовым,
Открестятся и Верхний, и Нижний Царицынский пруд…
Ослепляет любовь, как Василия, зодчих, Блаженного,
Но и Барма, и Постник в твореньи своём не умрут!

Возвращаюсь домой – гуси-лебеди к югу торопятся:
Всё – «не как у людей», поперёк, всё-то – наоборот!..
Я отбилась от всех… Но Покров Пресвятой Богородицы
Распростёртым Шатром осеняет свой птичий народ!

ВОЛШЕБНОЕ ВРЕМЯ
секстина (монорим)

Время весеннего ветра в дубравах,
Время в России проклюнуться травам…
Льдам наступает черёд переправы
В сторону Арктики. Браво им, браво!
Солнцем разбужены птичьи оравы –
Пенье доносится слева и справа…

Если ты слева, то встану я справа –
Скоро для нас распахнутся дубравы:
Свора, ватага, гурьба и орава
Новых букашек в проснувшихся травах…
Чувствам восторженным – громкое «браво!»
Прошлого в будущее – переправа…

Нам друг до друга важна переправа
На самолётах, что – слева, что – справа…
Ты прочитаешь в глазах моих : «браво!»
Будем, как вольные птицы в дубравах…
Зелье любовное сварим на травах…
Рухнут границы – прорвётся орава!

Сонмы влюблённых – скопленье, орава
Ждут аэр*о*бусов для переправы…
Встретишь меня – молча сядем на тр*а*ву –
Пусть улыбаются слева и справа!..
От пикников оживятся дубравы:
Слава любви, всем дождавшимся – браво!

Празднику жизни бессмертному – браво!
Мы избегаем толпу и ораву:
В уединеньи приветит дубрава,
Выстелит через ручей переправу,
Буки раскинули тени направо,
Солнца лучи отражаются в травах…

Время волшебное – шумные травы
Нашим объятьям грассируют «браво!»
Буковой тенью окутаны справа,
Солнечных зайчиков слева ораву
Ловим и строим из них переправу
Благословенному свету в дубраву…

Время – в дубраву искать переправу,
Мимо оравы, на мягкие травы,
Солнышко скатится слева направо,
Мы не заметим… Объятиям – браво!..

ВНУТРИ НАС

Сегодня озеро растает –
Стеклом промокло изнутри…
Когда сияешь солнцем нежным –
Оно и в полыньях, конечно:
В их отражение смотри –
Любовь есть истина простая!

В ней взгляд – всего лишь запятая,
И тут – хитри иль не хитри,
Кажись небрежней и успешней –
Она ворвётся птицей вешней –
Жизнь изменить на раз-два-три,
И расшумится целой стаей…

Тут, многоточия считая,
Как в чашке чайной – пузыри,
Облюбовали мы орешник…
Целуемся во тьме кромешной,
Но в темпе вальса фонари
Вдруг, загораясь, вырастают!..

Ночь – день меняются местами…
Ты восклицаньями зари
Уважив, душеньку потешь мне,
Любовь, я верую в надежде
(Мою наивность не кори),
Что царство Божие настало…

БАЛЛАДА ОБ АХМАТОВОЙ

Цветы – остатки рая на земле…
И тот цветок, что прямо в душу глянет –
Заставит распуститься и сомлеть,
И увлажнит слезами скромный глянец…
Ахматовой пленённый Модильяни,
Пиша очередной её портрет,
Сияньем солнца изнутри согрет,
«Жизнь состоит в дареньи…» – начертает.
Пусть угловат любви его предмет –
Божественными наделён чертами!..

Что семь веков промчатся, что семь лет –
Царить в твоих рисунках, итальянец,
Ей суждено! Не каждому суметь
Цветок увековечить на поляне,
Но аромат, что навсегда стеклянен –
Акума. Или ей Париж во вред?
Тяжёлый сон, что петербургский бред,
Она стихами толковать устанет…
Вещуньин облик тысячей примет
Божественными наделён чертами!..

Что – Гумилёв? Не запретишь всем лезть
«Чудовищам», хмельным от возлияний,
К супруге, что забыла о семье
И растворилась облаком в кальяне!
Без памяти цветок любви увянет…
И пьяный гений, в дыме сигарет,
Болотнолицый, словно очерет,
Промолвит: «Эта баба – на черта мне?»
Остаток рая, если рая нет,
Божественными наделён чертами!..

И если жизнь – дорога в Назарет,
Остатком рая вспыхнет на заре
С поэзией бессмертной в сочетанье…
Дарящий жизнь цветения поре
Божественными наделён чертами!

ИСКУШЕНИЕ

С прошедшим связь женою Лотовой
Порви, озёрная вода!
Натешив душу позолотою,
Вернуться сможешь ли тогда? …
Играя солнечными бликами,
Привыкни к мысли, что они
Вплывут алмазными уликами
В твои реликтовые дни!..

Так век поэзии серебряный,
Кручёный, верченный, перебранный,
Разобранный на все лады,
Нас искушает, одаряемых…
Не все в чужую боль ныряли мы,
Сухими выйдя из воды…

ОЛЬГА ИЛЬНИЦКАЯ

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЯБЛОКА
рассказы

СВОБОДЕН

Зря ты затеял разговор о свободе.

Отвечаю – ты будешь не свободен с тем, к кому подошёл, кому даёшь деньги…

Не свободен с тем, кому лжёшь. Ты повязал себя, поделившись постелью, хлебом, тайной. Не свободен с тем, кому помог. Забота о другом пуще неволи – ты не свободен!

Ничто не освобождает – если ты не один. Ни любовь, ни вражда, ни дружба тебе не в помощь.

Просто помни, когда не один – ты событийствуешь, соучаствуешь, сосуществуешь, а не живёшь свою жизнь.

Освобождает для жизни только одиночество. Живи один. Будь свободен.

Только тогда возможно наше со-беседование, только тогда – кто кого. Убей собеседника! Он пожизнен. Убей и стань свободным!

– И что тогда мне с той свободы?

– А чего ты хотел, когда подошёл спрашивать?

– Я хотел узнать, как становятся свободными.

– Ты не будешь свободным, ты обращён к другому. Будь счастливым, свобода тебе не грозит – он протянул мне ключи от квартиры, где деньги лежат, и захлопнул за собой дверь.

Прошло девять лет. Я вышел на случайной остановке поезда маршрута Одесса – Москва. Снял номер в гостиничке. Никто не знал меня в этом городе. Идти было некуда. И я долго шёл под дождём. Когда меня окликнули, сразу понял, вот оно, уже происходит. И пошёл на голос. И произошло. С тех пор на груди я ношу медальон, в нём – клочок бумаги с одним единственным словом.

Я не расскажу о том, чем заплатил за него. В этом слове помещена вся моя жизнь. И его тоже.

ИЗ МЕМУАРОВ САНИ И ШУРЫ РИК

ДВА В ОДНОМ

Когда-то солнце светило в окно и в луче золотистом плавали корабли. Я на кровати сидела, ловила корабли губами и глотала.

Помню, что бабушка вошла, сказала – Санечка, у тебя живот больше тебя и светится, и шевелится, что ты проглотила?

А я ответила – солнечное море с кораблями. И меня штормит, что делать, бабушка?

Она молча взяла меня за шиворот, отвела в чулан и сказала – посиди в темноте, может, поможет.

Сижу в чулане, свечусь, колышет меня из стороны сторону, как лампочку на столбе фонарном в бурю.

Здесь, на границе степи и моря, где мы живём, бури часто проносятся. Вот сижу, раскачиваюсь, свечусь на весь чулан и жду, когда эта ерунда закончится и чем.

А бабушка опять входит, и голос сердитый:

– Саня, не нравишься ты мне, может быть, тебя потрясти? И как начала меня трясти, как начала…

Вспыхнул чулан радугами, корабли заскользили сикось-накось, а старуха вовсе и не бабушка никакая, а тоже я, только старая-старая, и на бабушку похожа.

Вот мы смотрим друг на друга, и делать нам нечего. Чем всё закончилось, не скажу.

Вечером, когда родители вернулись с работы, они искали меня, искали, а бабушка им возьми да ляпни:

– Нет Сани больше. Я вместо Санечки.

Мама поплакала, погладила бабушку по голове, папа курил свой «Кент» до ночи, валерьянку они пили, или что ещё, не понятно было, потому что пахло ландышами.

К утру всё устаканилось. С тех пор мы живём втроём.

Когда же срок пришёл бабушке помирать, она благополучно отошла.

Похоронили её, вернулись с кладбища, а я сижу на кухне, картошку ем, ещё которую бабушка приготовила.

На меня никто не реагировал, вроде это в порядке вещей, чтобы я неизвестно откуда вернулась и сидела, ела… вроде и не пропадала вовсе.

А по бабушке я не скучаю, потому что мы живём в постоянном присутствии друг друга.

Такие дела.

КАКОГО ЧЁРТА

Ну да, помню, Розка эта, коза соседская… Я тогда в деревне гостил, когда бабушка ещё живой была. Ну, значит, я гостил, ходил везде, где можно было, укроп там рвал для окрошки, огурчики с луком, морковку за хвостик из грядки дёргал. А потом бабушка меня послала в погреб.

Кому это понравится – в погреб, да там паутины километры, и ещё эти, как их, коси-коси – ножки, ну точка такая с восьмью хрупкими лапками (щекочут, если по тебе пробегут).

Говорю бабке – какого чёрта, я туда не полезу.

Отвечает – тогда иди, погуляй, Шурик. Пошёл и гуляю. А тут эта коза.

У неё бант розовый ещё над ухом, капроновый такой. Потому Розкой и звали, что бант как розочка.

Я задумался об эротике, нам на сочинении тему такую перед каникулами давали, «Эротика в произведениях поэтов Серебряного века». Стою и вспоминаю, как описывал длинные каналы Венеции, по которым гондолы туда-сюда, туда-сюда, и с них девичьи голоса доносятся, и вскрики гондольеров, и звуки поцелуев под нервную музыку скрипки. Тут эта Розка, коза такая, подошла и приложилась ко мне, зараза, своей головешкой, она мне как раз по самое то самое, меня аж заколдобило. Стою, словно аршин проглотил, и перед глазами розовый бант трепещет, потому что трётся она об меня башкой своей.

А тут бабка моя вышла на крыльцо и как закричит – Шурик! Шурик, не обижай Розку!

– Я? Да чтоб я Розку? Да какого чёрта, я Розку-то…

– И я в ответ, – какого чёрта ты орёшь, как заору! Тут всё стразу и прекратилось. А что всё? А вот то самое и прекратилось.

Одни воспоминания остались. Лучшие воспоминания за лето. И когда нам опять сочинение писать велели, про то, как мы лето провели, я всё это и описал. А мне поставили… Да ничего вообще.

Вызвали в учительскую, и русачка противно так сказала – Рик, какого чёрта ты пишешь, как тургеневская барышня?

– Заблудилась, училка, как сказать. Я от неожиданности ей ответил – да какого чёрта, Роза Витальевна, вы меня сюда пригласили, чтобы что?

И посмотрели мы друг на друга, как в афишу коза.

—

НАЧАЛО КОНЦА

Вывернутый наизнанку столбик пупка ходил, как поплавок над безумной рыбой, наворачивающей круги. Волны перекатывались слева направо и слева же вздымался бурун, маленький и остренький, словно рыбка выставила локоток, стараясь справиться с наворотом очередного круга. Наконец, ей удалось затормозить движение и, видимо, сорвалась она с крючка. Боль приутихла, поплавок замер, локоток убрался вовнутрь. Четыре глаза отпустили последнюю волну, шторм затих.

Хозяйка живота улыбалась, а её мужчина осторожной ладонью огладил купол – атласный снаружи, твёрдо-живой внутри.

– Пупок уже не спрячется? – спросил мужчина.

– Не спрячется. Он теперь опустится ниже, когда Малыш надумает выйти, – ответила женщина.

Минут десять Коля и Вита общались со своим первенцем.

– Запомни число, – Вита озабоченно помолчала, – какое сегодня?

– Двадцать первое апреля.

– Зашевелился! Ему надо двигаться. Он так кислород себе добывает! Чем больше ему будет нужно ветра, тем активнее он будет. Понимаешь?

– Ну, гулять станем, чтобы больше кислорода.

– А ты понимаешь то, – Вита побледнела, – что мы будем гулять снаружи себя, а он – внутри меня! И вот такие штуки будет выделывать живот. Думаешь, мне это как?

– Да ведь он маленький!

– Пока маленький. Его там всё больше, это я – маленькая, а он растёт, и ему тесно, он локти выставляет, видел? Тебя это умилило. Но это ему во мне тесно, это меня он изнутри расталкивает. А ты умиляешься?!

Вита погладила живот слева внизу, оттуда отозвалось, остренько локоток выставился. Или пяточка, разве разберёшь?

На улице воздух был упоительно сиренев. Душные облака застывали и радовали глаз концентрированным цветом. Пробегали под ногами красные кошки тюльпанов, игрушечные барашки гиацинтов.

Ему сладок был воздух, он запах ощутил его и вкус. Обнаружил, что видит барашка то розового, то другого какого-то, то опять розового. Иных он от розовых отделил, потому что иных она определила, сказав – фиолетовый, почти чёрный гиацинт! – И ему стало душно, его сдавило волной её страха, от которой его кожа поджалась, а дыхание прервалось. Он запомнил, что барашек – это ещё и гиацинт, если розовый – сладко, фиолетовый – дышать трудно и холодок по коже. И он запомнил её интонации – почти чёрные гиацинты звучали как вопль о пощаде, громкая жалоба, крик о защите.

Второй голос, не её, а того, который рядом, спасающе и непонятно произнёс:

– Это всего лишь красивый цветок, забудь, не якори фиолетовым себя и малыша! Забудь.

– Он видит через меня, – сказала Вита. Он внюхивается. Я чувствую. И он понимает про гиацинты. Он чует моё горе!

– Не мудри, – успокаивающе-вопросительно сказал Голос, который рядом. – Он не может ничего понимать и чувствовать о том, о чём ты сама уже плохо помнишь.

Малыш мягко тыкался внутри живота, как тычется лбом собака в ладонь.

– Хорошо, – сказала Вита. Ему сейчас хорошо, и когда он не похож на обезумевшую рыбку, мне тоже хорошо. Он тычется в меня носом!

Он в такой позе, что носом не может, – произнёс Голос, который рядом. – Это не носом, лбом. Головёнкой.

И легла на голову Малыша дополнительным и вопрошающим теплом его рука. Сквозь купол с листком ладони Малыш ощущал мир, в котором его не было. Мир был странным, в нём быстро и громко двигалось, и всё, что было не она, его продолжающая, было чужим. Посягающим на неё.

Малышу не нравилось, что она часто отвлекалась от него, пропадала среди иного. Особенно раздражало, когда она сжималась, и где-то глубоко и низко трогала похожее на неё же. Вроде волосы гладила, но где, куда она тянулась? Волос было много, и они не были неподвижны, как вверху, а уворачивались, и влажно прикасались к её щеке или колену, остро прихватывая руку. Тогда она вскрикивала, пугала Малыша обжимающей теснотой, криком сдавливала. Это называлось «не дергай тигра за усы», так определял Голос, который рядом.

Она отвечала – не может собака вреда мне причинить, собака понимает!

У Малыша постоянно возникали сложности, смысла которых он не понимал. Например, барашки, которые розовые гиацинты, были сладкие, а фиолетово-чёрные барашки были опасны холодным сжатием. Тигр, которого «за усы не дергай», был собакой «не приносящей вреда», которая «понимает». Почему же тогда она вскрикивает, руку отдёргивая?

Голос, который рядом, не всегда защищал, а делал иногда так, что она напрягалась, бежала, Малышу тогда становилось тесно, жарко или холодно, он двигаться начинал, судорожно сопротивлялся ей, плохо реагирующей на Голос, который рядом. Почему?

С каждым новым днём Малыш всё лучше понимал её, ему нравилось, что она выбирает места, где много барашков-гиацинтов, облаков сирени и кошек-тюльпанов, «у них ушки глянцевые, как не у кошек, им жёсткой шёрстки недостаёт», бормотала, присев на корточки. Эта её поза тревожила Малыша, он оказывался близко к месту, где Вита заканчивалась. И тогда Голос, который рядом, звал её:

– Мамочка! Мамочка, поднимайся, а то китайчонка родишь!

– Почему китайчонка?

– Потому, что в Китае, – объяснял Голос, который рядом, – рожают на корточках. Над горячим кирпичом! Малыш твои приседания поймёт как приглашение и заторопится:

– О, – сказала Мамочка, – О! Он тебя слушает! И ещё хочет!

– Я? Ещё? Я вообще ничего не хочу, – подумал Малыш. – Вы там все двоите, одно есть одновременно другое, и ещё там есть это, волосяное – мокрое – острое, отчего Она отшатывается, оно сразу тигр и собака, два в одном! Два в одном, лижущее, кусающее и – перхоть убивающее, оно всё понимает! Не хочу я к этому. Ещё чего!

Малыш взбрыкнул протестующе. Мамочка аж присела.

– Ух! – сказала Вита, – он меня саданул из-за этой собаки. Почему он её не выносит? Ник, ты купал Фимку шампунем, два в одном?

– Угу.

– Вот! – сказала Мамочка торжествующе, – вот! Малыш не переносит шампунь. Он будет грязнулей!

– Откуда ты знаешь? Как он может уже что-то не любить?

– А он меня стукает всякий раз, когда речь заходит о Фимке, обо всём, что с собакой связано. Ни погладить псину, ни шампунь в руки взять. А когда я облокачиваюсь на подушку с тигром, – вдруг добавила, – и взгляд расширился, – О, Ник! Он думает, что тигр и собака – одно и то же!

– Не фантазируй, – сказал Голос, который рядом, он же Коля, и Ник, – Малыш ещё амёба, он не думает.

–Так, – подумал Малыш, – я это вообще что-то! Дитя, Малыш, Наш толстенький, Драчун, Хулиган, Заинька – Солнышко, и вот ещё Амеба. Да этот Ник, Коля, Голос, который рядом, – полный крези. Она всё о нём правильно знает. Что же мне делать с ними?

Когда она ложилась спать, Голос, который Ник, который Коля, Который Голос который рядом, мешал дышать Малышу, жить Малышу мешал, врывался в неё, входил в неё, вползал, пока она ему позволяла. Почему-зачем она позволяет, а сама плачет из-за этого, приминающего его, Малыша, жизнь. Не делала бы она этого с Голосом, который рядом! Стоит отдалиться Голосу, который рядом, когда вообще исчезает он, дышится вольно, и она спокойна. Пока о Нике не подумает. Вспомнит о Голосе, который рядом – и сразу напрягается – где он, думает, с кем? И так далее. Кошмар этот Ник. Он нам с мамочкой мешает, мешает. А Вита жалеет его. А не меня, не меня? – пугался Малыш.

Особенно раздражало Малыша настойчивое ожидание, которое Ник и Вита громоздили с утра и до утра последние дни. Время – всё чаще это слово врывалось в Малыша, заставляя сжиматься. – Время пришло! Уже скоро! Не пропустите время!

Малыш ощущал время как мамочкин страх. И пугался. Вита тонкую руку вытягивала, обхватывала запястье колечком пальцев правой руки и говорила, тревожась, Нику:

– Ну, просунь кулак через колечко!

– Кулак не пройдёт, – сокрушался Ник.

– И тогда они возьмут ножницы – чтобы просто разрезать. Без анестезии! – с ужасом шептала Вика.

– Но ведь не обязательно, – кости у всех расходятся, и у тебя разойдутся. На два сантиметра! – Успокаивал Голос, который всегда рядом.

– Всего на два!

– Почему ты думаешь, – спросил Ник, – что голова малыша как мой кулак?

– Потому, – отвечала мамочка, – что ты отец его!

– Так, – подумал Малыш, – мало того, что Голос, который рядом, это Коля, Ник, Гад, Любимый, он ещё и Отец! Вот почему он меня поджимает! Наверное, и дальше собирается. Что собирается? Что они вообще такое говорят, при чём здесь моя голова, его кулак, её колечко и ножницы! И ужас, ужас, которым она меня стискивает последнее время. Прямо выталкивает. Ой! Да ты что делаешь! По-че-му-ууу. Я не хочу, – подумал вдруг отчетливо и спокойно Малыш. Я не хочу туда, куда она меня выталкивает – к этому Гаду, Отцу, Голосу, который рядом. К собаке. К ножницам. К горячему кирпичу. Они говорили, вдруг я стану китайцем, когда наступит время. Я не хочу наступления времени! Корточки! Пусть не садится на корточки! На корточки нельзя. Что делает, что она делает!

Вита, присев с трудом на корточки, застегивала босоножек и, удивляясь, смотрела, как под ним натекала лужица.

– Всё – сказала она себе. – Всё. Это конец.

Медленно, очень плавно поднялась и сказала Нику:

– Вот. – Показала на лужицу.

– Что?

– Началось. Время!

Малыш напрягся:

– Уф! Себе она сказала – конец, Нику – началось. А мне? Что, конец начался?

Малыш заёрзал возмущённо, мамочка возмутительная трусиха, ну, началось что-то, конец, а дальше-то что? Ему что делать?

Родители его, путаники несусветные, странно себя повели. Она в постель легла. А он пошёл в гараж, машину готовить. Чтобы её из постели вытащить и в машину посадить. Зачем? Вот он ведёт машину и говорит:

– Родная, раз началось, скоро всё кончится, мужайся, ласточка моя, я с тобой, не бойся, всё будет хорошо!

Мамочка вся топорщится, изумляется, то сжимает Малыша, толкает, то затихает расслабленно, подышать даёт. То опять взашей, и дыхание прерывает, и сама не дышит, а потом вообще сжалась в комочек – не повернуться, не шевельнуться Малышу.

Малыш противился, упирался, цеплялся за мягкое, но оно, мягкое это, внезапно твердело и уходило из-под цепких пальчиков, толкало, опять приминало и что-то кожу обволакивало, липло, а привычное,

тёплое и жидкое исчезло, удобно и мокро больше не было, а только страшно, сухо, шершаво, потом темно, и скользко, и удушливо…

– А-А-А-А, – удивлённо и певуче прокричала Вита.

Ник газ прибавил.

– У-У-У-У, – тянула Вика.

У Голоса, который всегда рядом, дрогнула рука с тормозом, и угодила по затылку Малышу.

– Ах, – сказала Вита. – Не бойся, Ник, мы успеем. Но почему он больше не толкается?! Он перестал!

– Ещё чего, – подумал Малыш. – Ещё чего! Я уже всё понял. Не хочу. Я не хочу к вам, к собаке, которая всё понимает, которая тигр, которую можно дёргать за усы, которая пугает. Потом колечко, ножницы, кирпич горячий, по затылку вот уже дали. Ужас, ужас, ужас – мужественной будь, начало, которое скоро кончится. А я? Что? Не надо! Мне –туда не надо.

Меньше чем через час окровавленного Малыша вытащили безжалостные осторожные сильные умелые руки на Божий свет. И Малыш протестующе закричал.

– Вот и всё, – сказали руки, – какой горластый! Посмотрите, мамочка, – лихой казак, с чубом!

Вита увидела орущего лохматого маленького Малыша и вдруг поняла, что он сюда, где его ждали, не хочет, протестует, скандалит.

– Солнышко, – сказала Вита, – не бойся, – маленький, я тебя всему научу! Ты только не бойся. Я люблю тебя!

И Малыш узнал её голос. И поверил ей.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ПОЧИТАТЕЛЕЙ ГОГОЛЯ

Однажды я проснулась не в себе. А в Гоголе.

Смотрю в потолок, а там сосновые дощечки вместо белого поля. Смотрю прямо перед собой – а под взглядом замирают в полёте гоголевские «Мёртвые души», оба тома.

Вот оно что, думаю, надо перепроснуться, а сама глаза скосила вправо, и там опять сосновые дощечки. От ужаса зажмурилась – ну точно, я – Гоголь, вокруг доски сосновые… и ухнула, провалилась в глубину нового сна, и проснулась уже в себя, слава богу.

Утром на кухне кофе пили – я и гостья моя, журналистка из «Правды Украины», она специально приехала на гоголевские чтения – взять у меня интервью, и я вежливо ей свой диван уступила, а сама ушла спать на лоджию.

Лоджия у меня на модный манер обшита экологической дранкой сосновой, и ни дай бог мне ещё раз так проснуться, взглядом в потолок, да ещё направо посмотреть и ощутить себя Гоголем в домовине!

А с моей гостьей мы перед сном долго беседовали о «Ревизоре», и «Носе», о легенде посмертья Николая Васильевича.

Утром я рассказала приятельнице об ужасном сне своём, а ещё, говорю, приснилось, что панночка голая явилась, стала мёртвые души ловить, из обоих томов.

Приятельница рассмеялась – не приснилось тебе, то я после душа на лоджию вышла, а я обычно после душа не вытираюсь, а обсыхаю, так здоровее, вот тебе панночка голая и привиделась. Мы с тобой даром часа два о Гоголе перед сном говорили?!

Очень впечатлилась я гоголевской нашей историей, и когда гостья меня покинула, вызвала я рабочих, они экологическую сосну на лоджии ободрали, обшив заново потолок и стену белым пластиком. И я теперь там как в реанимации.

И там, в этой реанимации, стоит книжный шкаф, две полки занимают книги Гоголя и о Гоголе.

Люблю я этого замечательного писателя. Люблю, но больше не читаю. Боюсь.

Утра доброго! Но да какое же оно доброе, оно – первоапрельское, такое утро точно добрым не бывает. А вот гоголевским вполне.

РОЖДЕСТВО

На Рождество мне захотелось увидеть своих ушедших – в Нескучном саду я вглядывалась в небеса. Сыпался сухой мелкий снег. Стихи читала[1].

«Что есть мир? Всего лишь чудо,
оторопь пространства.
Что Христос, Мухаммед, Будда?

Мифы, иностранцы.
…Что есть Бог? Всего лишь слово –
звонкий небосWORD.
Суть всего, всему основа,
тот, кто нас спасёт».
Громко ни у кого спросила:
– «Что есть Бог»? И ответила себе сердито:
– «Всего лишь слово из трёх букв».

Было тихо и благостно, холодно и отстранённо. Убегала дорожка в глубокий овраг.

Постепенно холод заполз в варежки, выстудил ложбинку между лопаток, они уже превращались в острые лезвия. Снега мельтешение стало острее, сквозь него смотреть значило видеть невидимое. И тогда взгляд остановился на огромных корнях дерева.

Там, среди корней, стоял ослик, лежала Мария и тихо дышала большая комолая корова, в облаке тёплого дыхания заплакал младенец.

– Рождество, – сказал проходящий мимо мужчина спутнице, – мы впервые отмечаем в самоизоляции.

– Пора домой, – ответила она, – метель усиливается!

Лица их скрывали белые маски. А глаза смотрели знакомо.

Я закрыла глаза и увидела смеющееся лицо сестры.

Пара прошла, почти задев меня, и донёсся знакомый родной смех.

[1] Из стихотворения Константина Ильницкого «Всего лишь повод».

ПРИМЕТА

Стоишь в музее современного искусства, и словно ветерок прошёл, зацепив. Стоишь перед картиной в одном босоножке, а он парен в картине нарисованному. Стоишь, смотришь и знаешь, это очень плохая примета, стоять в одном башмачке, очень скверная примета. Если стоишь в одном – мама умрёт. Решаешься протянуть руку и р-раз – второй босоножек в руке!

Обуваешься, уходишь не оборачиваясь.

Примета не сбывается. Мама продолжает жить.

КОРОТКО О СЧАСТЬЕ

1

Помню время пейджеров. У одного пейджер был, а у другого был его номер.

Они тогда сделали вторую попытку быть счастливыми.

Не получилось.

Так с тех пор время так и тянется, *неполучившееся* стало формой их жизни.

2

В Сердоликовой бухте они уплыли к одинокой скале, проторчали там столько, сколько потребовалось для разговора, и вернулись на берег.

До полудня она собирала камушки, разгребая песок, два были серыми сердоликами, почти одинаковыми.

Она не думала, она знала, как знают рыба или птица, куда лежит путь её из Сердоликовой бухты, подарок берега забрала, он оказался годным для ювелирки.

А он думал, думал долго, до вечера. Вечером сказал, что дело зовёт в дорогу.

Она согласно кивнула, собрала чемодан и они улетели туда, где снег и ветер, и звёзд ночной полёт.

С тех пор прошло много времени. Она часто улыбалась и каждые полтора месяца стриглась, обнажая уши, украшенные сердоликами, забранными в серебро. Он сам их сделал на память о том заплыве в Сердоликовой бухте, когда они стали счастливыми навсегда.

3

Однажды ночью она умерла. Он до утра сидел, согревал её пальцы теплом своей большой ладони. А утром она отняла руку и успокоила её на остывшей груди.

Он понял, что она уже не вернётся.

На девятый день купил билет и уехал туда, где она когда-то нашла сердолики, взятые им в серебряную оправу.

Он пришёл в Сердоликовую бухту, доплыл до скалы и положил на край памятные серёжки. Набежавшая волна приняла их.

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЯБЛОКА

Ева разбирала куски картона, потом присела на корточки и загляделась на всё, что её окружало среди развалин. Среди развалин был мир, в который Еве не велено было попадать. За миром наблюдал старый еврей, за миром и за ней, Евой.

Старику было интересно – по пальцу девочки ползла улитка. Вдруг всё замерло.

На этих развалинах они сидят вечно – старый еврей, Ева и улитка на пальце.

Я потом сходила в это место – всё труха, всё хлам. Но там стоял буфет, старый искорёженный разрухой буфет. А между буфетом и стеной лежал свёрнутый в трубочку картон, небольшой совсем кусок, если развернуть – полтора метра на метр. В его поле, разрисованное временем, вползала улитка.

Я унесла этот разрисованный рулончик картона, друг выровнял края, теперь рисунок лежит на письменном столе.

…Когда Ева села за мой письменный стол, она надолго замолчала. Потом сказала:

– Зяма ушёл. Остались только я, улитка и вы. Вы кто?

– Я была яблоком, тем самым, что висело в саду, последним, подмороженным временем.

– А, – сказала Ева, – тогда понятно. Как вы думаете – Зяме плохо без нас?

– Он с тобой, Ева, пока ты помнишь о нём, с тобой!

– Нет, – сказала Ева, – он не хотел, чтобы я его помнила. Просил забыть. Ведь место, где вы взяли рисунок, было его домом. Дом разгромили нелюди. Всех поубивали. Кроме Зямы. А я пришла позже. Но вы-то это вы, вы должны помнить.

– Нет, – с моей ветки были видны только ты и улитка. Зяму я плохо помню – только что он дрожал над тобой и у него подгибались ноги.

– Это от старости и ужаса, – тихо сказала Ева и обвела пальцем улитку.

– Как вы думаете, – спросила Ева, – яблоко может вспомнить то, чего не увидело?

– Яблоко нет. А я могу. Потому что во мне много разной памяти.

– Но ведь улитка была живой, когда ползла, – задумчиво сказала Ева. – И яблоко тоже.

– Время как фотография, иногда с ним случается странное.

Там, в подвале, до сих пор лежит чемодан с вещами. Если ты не побоишься вернуться за ним, у тебя будет много памятных вещей о Зяме и всей его семье. У него ведь семья была.

– Не хочу, – сказала Ева. – Нет в моём сердце места для зяминых вещей. У меня Зяма – во всё сердце.

Когда кто-то садится за письменный стол, улитка шевелит рожками. Я уже привыкла. А Ева нет. Сегодня мы с Евой разговаривали о свете.

– Свет, – сказала я Еве, – свет это такой летящий луч, в нём пляшут солнечные пылинки. Если ты попадаешь в луч, становишься счастливей. И потом до вечера перед глазами прыгают солнечные зайчики.

Но я редко попадала в свет, поэтому мне недостаёт счастья.

Иногда свет стоит как стакан, попасть в него ещё большая редкость, чем в луч. Я попадала. Тогда всё говорит с тобой. Голоса оживают, и ты слышишь, что они говорят. Говорят на разных языках. На родном я помню только: «Малина, это малина. Её не ел медведь. Видишь, она ещё зелёная. Не бойся, иди сюда, сейчас медведя нет».

Остальных голосов я не поняла. Были страшные, были крики, и плачи, и скрежеты зубовные. Это время тебя охватывает кольцами и растёт над тобой ветер, а ты, если умеешь слушать, постареешь ровно настолько, сколько сможешь впустить в себя и понять.

Я поседела и сморщилась, второй раз побывав в этом стакане света: говорили на чужом языке, я не понимала, но я смотрела картинку: их ставили на колени и тяпкой, тяпкой по затылкам. Они падали в ров.

Потом в газетах писали о Пол Поте и его солдатах.

И ещё третий раз я была в стакане. Я была яблоком, а он – историком. Ученики называли его М.Я.

М.Я. стоял на обрыве у реки, смотрел на старую сосну и говорил, что всякая революция изначально ошибочна. И грыз яблоко. Он съел меня.

…Когда М.Я. похоронили, могилу осыпали живыми и искусственными цветами, а небо нанесло снега. Стоял февраль. Лютый.

На следующий день я стояла там, где из снега улыбался портрет, занесённый по самую улыбку, стояла, уткнувшись носом в Григория, и мы плакали.

– Мы можем посадить яблоню, – сказала вслух.

– Никто эти яблоки не станет есть, – ответил Григорий.

С тех пор на могиле М.Я. не было и нет яблок. Из-за Григория.

Но есть партия и она называется «Яблоко». Лучше бы мы дерево посадили тогда.

Ева сказала, глядя на улитку, сползшую с картона и ползущую уже по письменному столу:

– Ты говоришь о чём-то другом, при чём здесь М.Я. и партия «Яблоко» с Григорием, ну не посадили вы яблоню на могиле, так никто всё равно не забыл о яблоке.

– Он никогда не забудет, сказала я – потому что слёзы над могилой остаются в каждом плачущем поровну – становясь памятью.

– А Зяма? Мы же о Зяме начинали разговор? Куда делся Зяма, его сменил Пол Пот потом, потом обрыв над рекой и сосна, и М.Я., и Григорий, – что вообще происходит?

– Ничего не происходит, – ответила я Еве, – просто мы всё время думаем с точки зрения яблока, я же бывала им в разные времена, но само яблоко-то не думает, просто свидетельствует. Вот я и свидетельствую тебе, Ева…

Улитка к этому моменту сползла со стола и исчезла в луче света, пробившегося сквозь щёлку, вставленную в дверь. Ева сказала:

– О! Хоть улитка попала в луч света и стала счастливой.

Мы обе посмотрели на письменный стол – улитки не было на рисунке – только сморщенное яблоко одиноко висело на ветке. И вдалеке вдруг начал проступать туманный образ, мы всмотрелись. Из тумана медленно проявился старый человек – он был одновременно Зямой, М.Я. и… Но тут Ева сказала:

– Нет-нет, дальше не надо, мало ли кем ещё он может обернуться, или Григорием, или это вдруг окажусь я. Пусть остаётся как есть – недопроявленным в тумане, отмотай память чуть назад, растворив в ней и М.Я., и Зяму. Кончим на этом – видишь, яблоко перестало быть сморщенным, вспомнило себя молодым, память ушла. На этом и поставим точку.

Вот в этот момент кто-то из уходящих в туман памяти протянул руку и сорвал яблоко.

– Наверное, – сказала Ева, – это опять был М.Я. – он любил яблоки, помнишь, в прошлый раз он уже съел тебя!

– Э нет, – сказала я, – на этот раз это Зяма был, это я тебе точно говорю, с точки зрения яблока. И тоже исчезла.

Ева осталась одна, растерянно оглянулась и увидела куски картона, потом присела на корточки и загляделась на всё, что её окружало.

Вокруг был мир, в который Еве велено было попадать. За миром наблюдал старый еврей, за миром и за ней, Евой.

Старику было интересно – по пальцу девочки ползла улитка. Вдруг всё замерло.

Они там сидят вечно – старый еврей, Ева и улитка на пальце девочки.

ВИКТОР КОРКИЯ

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
(Отрывок из поэмы)

Перебираю прошлое в уме.
Читаю, но не вижу в этом смысла.
Один и тот же день меняет числа,
и лето приближается к зиме,
минуя осень…

Мимо, мимо, мимо!..
Как снег, мерцает битое стекло.
И прошлое уже необозримо,
и, кажется, от сердца отлегло…

И чудище стозевного метро
пар выдыхает – вздохи всех влюблённых
поверх отцов семейств и разведённых
к Всевышнему летят, как бес в ребро.

…Выходишь из себя в открытый космос
во времени свободном и пустом,
теряешь голос, обретаешь голос
и говоришь не то и не о том.

Имеет смысл и не имеет смысла.
Как битое стекло, мерцает снег.
Один и тот же день меняет числа,
и в человеке плачет человек.

Один за всех.
Во времени свободном.

Не видя лиц, не слыша голосов,
в пространстве мёртвом
телом инородным
душа летит на непонятный зов.

Живёшь и умираешь.
Гром оваций.

Душа летит,
куда она летит –
одна среди Объединенных Наций,
конвенций,

интервенций,
деклараций –
куда?..

Кто понимает – тот простит.

***

Денису Новикову

Вне зависимости от
и при этом не взирая,
жил бы я наоборот,
жил бы я не умирая.

Как небесный старожил,
близкий ангелам по духу,
жил бы я и не спешил
топором убить старуху.

Так и так она помрёт –
часом раньше, веком позже…
Но в грядущее, как в рот,
не могу смотреть без дрожи.

Или кровь, что там течёт,
сквозь меня не протекает,
или прошлое не в счёт,
или жизнь моя не тает

с каждым часом,
с каждым днём,
с каждым годом,
с каждым веком…

Выпьем с горя –
и пойдём,
разойдёмся по отсекам,

разбежимся кто куда,
растворимся без остатка
в яме Страшного Суда,
в бойне нового порядка –

вне зависимости от
той старухи убиенной,
что одна во всей вселенной
ни процента не берёт.

***

Одна из пятниц на неделе,
когда во рту слегка горчит,
и хочется побыть в постели,
и телефон с утра молчит.

Одна из пятниц тех ленивых,
когда больные не больны,
когда на счастье всех счастливых
в своей неволе мы вольны.

Одна из пятниц тех печальных,
когда без видимых причин
мне жалко женщин идеальных
и жалко роковых мужчин.

НЕМОТА

В. Салимону

Когда слезоточивый газ
течет из юных женских глаз,
и звезды, ставшие очами,
пронзают бездну пустоты, –
вселенский голос немоты
звучит безлунными ночами.

И крик души – безмолвный крик
над Гибралтарскими Столбами
летит, отпущенный губами
в Аид сошедших Эвридик.

И отражаясь от небес,
окутывает Пиренеи,
и немота шумит как лес,
и небо кажется темнее,

чем тьма, чем истина, чем крик,
который все летит, немея,
и нет ни одного Орфея
на миллионы Эвридик.

БЕГУЩАЯ СТРОКА

И вот что начертано: мене, мене, текел, упарсин.
Книга пророка Даниила[1]

Оркестр играет между нами,
но между нами – пропасть. Звук
лавирует между домами,
но без музыки – как без рук.

Не наш пример другим наука.
Не наш, но эта синева,
но эта музыка без звука,
как в старом добром синема!..

Оркестр играет в промежутках
Истории, где нет меня,
играет на моих уступках,
на паперти, на злобе дня.

И кажется, строкой бегущей
впечатан день, и год, и век –
и только букв горящих бег
во мгле судьбы быстротекущей!..

Они горят на каждом доме
по всей расхристанной стране,
и на безвестном танкодроме
солдаты курят на броне.

Оркестр играет между ними,
бежит бегущая строка
между чужими и родными –
сквозь нас, сквозь них и сквозь века…

Оркестр без музыки играет,
играет на своём веку,
пока бегущая стирает
строка – строку, строка – строку…

---

[1] См. https://ru.wikiquote.org/wiki/Мене,_мене,_текел,_упарсин

***

Владимиру Бережкову

Никто за музыку не платит,
никто шампанское не пьёт.
Кто даром времени не тратит,
тот, может быть, и не живёт.

И я не знаю, чем рискую
на этой страждущей земле,
и пальцем, может быть, рисую
свои узоры на стекле.

Святая ложь глаза не колет,
в могиле руки не связать.
Глаголет истина, глаголет,
не может ничего сказать.

И перед мировым пожаром,
перед потопом мировым
радар общается с радаром,
глухой беседует с немым.

УЛИСС

Памяти матери

…где не бывал и не буду уже никогда.
Где не бывал и не буду – вы поняли, мисс?
Царь одиночества, царство твоё – немота.
Кто этот странник, присвоивший имя Улисс?

Жизнь под водой превращается в жизнь подо льдом.
Бедные девы по бедности рвутся в Париж.
Страшно не то, что других понимаешь с трудом.
Странно не то, что при этом над жизнью паришь.

И – как поётся – мне некуда больше спешить.
Некуда больше – и можно вздохнуть наконец.
Можно идти по прямой и по кругу кружить,
чувствуя сердцем летящий сквозь сердце свинец.

Он убивает, но ты остаешься в живых.
Ты остаёшься в живых, потому что весна.
Сам по себе – и вокруг ни своих, ни чужих.
Вольному – воля, живому – война не война.

Я равнодушен и к самой священной из них.
Адский соблазн – прикоснуться к живому огню.
К вечной невесте подходит красавец-жених.
Смотрит в бессмертную душу, как в зубы коню.

Хватит об этом. О чём говорить под конец
тысячелетия? Ложь на коротких ногах.
Радуйся, дура, жених у тебя красавец!
Авось, не утонет во лжи, как и в русских снегах.

Мимо вокзалов, где женщины спят по-мужски.
Мимо Лубянки – на дикий сибирский простор.
Холодно, леди. Тоска промывает мозги.
Снег на вершинах Кавказских и Ленинских гор.

Я не распался на Владивосток и Ташкент.
Я не остался, Мария, как ты, за бугром.
Вечность не больше, чем этот текущий момент.
Дьявол не больше, чем бес у меня под ребром.

Ты, сверхдержава, не больше меня, и в тебе
есть и другие, идущие следом за мной.
Я выхожу из себя, растворяясь в толпе.
Кладбище света стоит у меня за спиной.

Радуйся, старче, что в прошлом прошедшего нет.
Нет ничего – ни тебя, ни былого, ни дум.
Смутное время не слышит течения лет.
Смутное время течёт, как текло, наобум.

Ты мимоходом проходишь своим чередом.
Вечной весной упоительно капает с крыш.
Жизнь под водой превращается в жизнь подо льдом.
Но подо льдом ты над жизнью и смертью паришь!..

Так далеко я не видел ещё никогда.
Свет неизвестной звезды, отражённой в реке.
Царь одиночества, царство твоё – немота.
Что ты стоишь? Уходи, как пришёл, – налегке.

Мимо Кремлёвской, Берлинской, Китайской стены.
Мимо Германской, Афганской, Чеченской войны.
Мимо Гражданской, заросшей быльём до поры.
Мимо срытой Поклонной горы.

Мимо века иного, с которым почти незнаком.
Мимо праха родного за тёмной стеной на Донском.

***

Не хватает нескольких аскетов
на больших ответственных постах.

Не хватает нескольких поэтов,
у которых вечность на устах.

Не хватает нескольких мгновений,
чтобы задохнуться от любви.

Но весь ужас в том, что русский гений
созидает только на крови.

***

Двери сомкнулись – и сердца не слышно.
Зря ты целуешь стекло под землёй.

Время проходит, а жизнь неподвижна.
Свет, разлетаясь, становится тьмой.

Нет, не железная, нет, не дорога,
нет, не печальные, нет, не глаза.

Тайное слово исходит от Бога –
и возвращается в небеса.

***

Далёкая разноголосица
во тьму ушедших голосов…
Ночами зимними доносится
их долгий безутешный зов.

Какая сила беспричинная
их вызывает ниоткуда?
Дорога белая и длинная
вдруг обрывается, и чудо

не в том, что время не кончается:
всё – прах и тлен, и всё – тщета…
Но тайно по миру скитается
рыдающая пустота.

Во власти тьмы и мракобесия,
как диво дивное белея,
в миру скитается поэзия,
одна, как русская идея.

АЛЕКСАНДР В. БУБНОВ

ТУТ Я НЕ ВОЛ – СЛОВЕН Я ТУТ

(палиндромические тексты 2021 года)

***

до глади лоб тру.
кара.
камень нем.
а каракурт?..
боли дал год.

***

тут я не вол –
с ума веди, мачо!..

небес
в охре вихор.

клады
вынули луны.

выдал
крохи верхов
себе, ночам и девам –
условен я тут.

***

ты меня, утро, вело по ноге.
я следомером иду:
рту,
ребру
дна беру бурю,
а на юру
бандур беру труд
и морем оделся его!..
но
поле во рту.
я не мыт.

***

утро.
видели мусор мы:
долго мопсик сик-сикал,
а взял – усидел, уделал еду…
леди, суля, звала: «кис-кис-кис!»,
помогло –
дым рос
у миледи во рту.

***

я нем – тина мутит сон…
– Вернемор, говори!
(…)
и ров огромен ревности –
туманит меня…

***

тут я не вол –
сословен я тут

***

лети в куб
у букв и тел

***

я лечу,
чуя учучеля

***

ас – самолётокотёломасса!

***

я и ты. Бах умничал.
и лажу живую увижу:
жалила чин
муха бытия

***

мох,
абсент…
иже лажа лежит не с Бахом

***

я пил вино…
я нем
или в речи ли бубнов звон?
ентот или тот – не нов звон –
бубили-червили меня они,
влип я.

***

– ого, бухаете?!
– ах, убого!..

***

шорохи. мат нем.
и дури, и разума – хламу днищ.
нежу кости тел, ямы…
«дымя, летит сок у женщин!..» –
думал хам у зари
и рудиментами хорош!

***

тих я,
обвил салагу,
поник
и дох в яме соколом…
видим око во злате лета…
нате – летал зов о ком?..
иди в молоко,
семя!
входи, кино, –
пугала слив,
боя хит!..

***

не ради лоскута латала сладко тучи немь. лепила дело по воле. дед ехал и пугал воду – чудо-влагу пил, ах! – еде дело во поле дал и… пельмени чуток дал, салат… а латук солидарен.

***

и черви, и лилии в речи!.. цена в ругани мату – тот суп! влит? – ем лавры, тот суп я – славы сип! доподписывался – пустоты рвал, метил в пустоту – там и наг, урванец. и черви, и лилии в речи!..

***

в окне верхов молебен видел? делся он куда? и вино за вас, и к себе на небесах – яро мотив акулы долетел – оды лукавит о морях, а себе на небе скис… а вазон и виадук – Ноя след? леди в небелом в охре венков.

***

зло, ползи!.. мани лодку – дну рубили древоверд!.. костёр пылал!.. хотите луч? – летел… сгорели, Свете! в Силе рог слетел? чу, летит! ох, лалы… прёт сок, древоверд или бурундук долинами зло полз?

***

я зло переполз, и мачо низов летел. сыто. молодого Надир пугал блинами ямы, душил… ах, уд зовёт! иду. дитё воздуха лишу, дымя… и манил благу приданого до ломоты, слетел воз, и ночами зло переполз я.

***

нежу – *на* холод! жарит и жарит лоб – туфлями топ-топ – топали садом они – в марте высоки ноги дев! и мачо налетит – Наташу душат антитела ночами… веди, гони косы ветрам! вино? мода? сила? – пот, пот, пот… и мял футбол тиражи. тираж до лоха нужен.

***

«себя колотил и около купелен ум износил, и пока небеса себе накопили сон, зиму нелепу колоколил и толок я» (бес)

***

«оголи меня!» – бес лелеял Омегу, допил ил в реках, каку, как хакер, влил и… по дуге моля, ел, ел себя, немилого!..

***

– я?.. нем я!.. а ты?..
– полетит на репу суперантитело, пытая меня…

***

на цапле тело пело
по воле полос вокал,
злаков соло пело,
во поле полетел пацан!..

***

букв
и тел букв учил…
контур крут!
но кличу:
«в куб лети! в куб!»

БОРИС ФАБРИКАНТ

И КАЖЕТСЯ, ЧТО ВСЁ ПРОИЗОЙДЁТ

***

Кирпичный старый жизни коридор,
Прихваченный раствором на слезах,
Где окна ограничили простор,
Как вытертые шоры на глазах.
И подтекает старая вода,
И плесень разукрасила углы –
Условия привычны навсегда,
Как запахи фанеры и смолы,
Где заново и строит и поёт,
И протирает окна без конца.
И кажется, что всё произойдёт
И пролетит у самого лица

***

В свечное погружая пламя,
копчу разбитое стекло,
Затмение за облаками,
его не видно, и светло.
И все явления природы
и смены городской погоды
тёплом и светом замело.

А мне важней дневные игры,
ночные книги, сны – кино,
в котором принцы, чары, тигры,
старик Хоттабыч заодно.
Запретные, как папиросы,
мы пели песни про матросов,
в Кейптаунском порту давно
Они пошли туда,
Где можно без труда
Найти себе и женщин и вина.

Дыра в заборе к башне танка,
игрушке нашей боевой,
где всех мальчишек спозаранку
гонял винтовкой часовой.
Он был постарше ненамного,
кричал: «Стоять, стреляю!» строго,
и отступали мы домой.

Но покрутить давал штурвальчик,
подвигать пушку, кто куда.
И призванный на службу мальчик
не пел: Они пошли туда,
Где можно без труда
Найти себе и женщин и вина

***

Мне нравится задор начала дня,
Он вынимает солнце из-за леса,
Потом тумана лёгкая завеса
Уходит плавно влево от меня.

Деревья вспоминают, что листвой
Им надо шевелить как будто ветер,
Забывчивый, красивый и живой,
Уже не спит с закатом на рассвете.

И кто-то расставляет облака,
Пускает птиц, кричат на рыбу чайки.
Вчерашняя молочница легка
И объезжает улицы на байке.

И это было лишь начало дня
Как продолженье сказки после свадьбы.
И столько дня осталось для меня,
Что жить и жить, и буквы разбирать бы

***

Ухожу от ответа, его забываю в полях,
И шуршат под ногою остатки листвы опавшей,
Я сбиваюсь со счёта, как будто храню в рублях
Эти строчки стихов, что оставил мне кто-то старший.

И устало шершаво висят над землёй провода,
В них толкутся слова телеграфа и срочные крики.
Кто-то старым ключом набивает на ленте «беда»,
И она попадает к другим адресам в города,
Где бумажки у врат надевает охрана на пики.

Все готовят трагедию – варят на мокрых дровах,
Килограммы судьбы, бесконечного жёсткого фарша.
И туман, как туман, расплывается в чёрных словах,
Древнегреческий хор переходит на музыку марша

***

Вот оселок, которым правят речь –
Осколки слов из вымаранных мыслей.
Такое слово трудно уберечь,
Мысль изречённая, а буквы скисли.

И как найти согласных, закричать?
Шептать? Но слух, увы, не абсолютен.
И лишь строка сумеет передать
Подобие, как звёздам блеск в салюте.

Порядок слов – невидимая ткань,
За нею и объятья, и проклятья.
Так робкая в изгибах держит скань
Простой стакан и брошь на бальном платье

***

Стынут вокзалы в узлах паутины маршрутов,
Стыки считают, а стрелки вплетаются в рельс.
Окна вагонные рыжи – кончается утро,
Скорый гудит изо всех, вырывается в рейс.

И пролетает любовь над составом, как птица,
И улетает любовь за своими детьми.
Грим ни к чему, без зеркал изменяются лица,
Время уходит скользящими вправо дверьми.

Ходишь по поезду, в тамбуре медленно куришь.
Пьёшь самогон с пассажирами в третьем купе.
Выйдешь за чаем, в окно поглядишь и зажмуришь,
Всё запахнёшь, что увидел во сне и в толпе.

И отделённый стеклом, опираясь на двери,
Сквозь отраженье своё в темноте за окном
Так ощутишь незнакомое чувство потери,
Будто забыл и не вышел в предместье родном

***

День солнечный. На море лодки басом
Перекликались, мчавшись очертя,
И пенную выкапывали трассу,
Дороги перегонные чертя.

Как мужики в руках с холодным пивом,
Мотор вопросом повышает тон,
Кончая фразу бешеным разливом,
Обозначая край, размах и фон.

Судов и парусов в обзоре много
Так, будто море пляжем замело,
А на песке, заносчиво и строго,
Гуляют чайки громко. И светло,

День выходной, каникулы – начало,
Начало лета, признанное там.
Так долго осень нас в руках держала,
Что год разбился, бедный, пополам

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ

Пришла дурацкая тоска,
больная, тусклая, распутная,
сидит в душе с глазами мутными,
не поднимается рука,
её пырнуть железом жертвенным
под этим синим небом мертвенным.

Так в рыбной лавке серый фартук
кулак чешуйный оботрёт
и распечатает, как карты,
трески проваленный живот.
Всего две рыбы? Ветер свищет,
места знакомые не ищет
и убирается, трубя.
Все жертвой чувствуют себя.
Сгребая потроха руками,
как в механизмах часовых,
мы разбираемся с грехами
под стоны песен хоровых.
Растёт цветок горелки газовой,
и я тарелкой одноразовой
всю кровь ненужную солью,
сливая с почвою струю.
Сгружу грехи в горящий жертвенник,
несут музы*к*у за спиной,
и то ли страшно, то ли ветрено,
но всё не сбудется со мной.
Двора стихает ужас скотного,
гремят кимвалы блеска потного,
тамбурмажор счастлив в манёвры,
вся мокрая насквозь тулья.
Ушла тоска, поджавши нервы,
и дамы бросили манеры,
как вожжи в близости жилья

ДОМ ПРЕСТАРЕЛЫХ

Весь день заполнен ерундой –
едой, лекарствами, прогулкой
и с неба льющейся водой,
сегодня краткой, завтра гулкой.

Иных не стало новостей,
и всё рассказывают звуки,
как будто звуки на поруки
его забрали у детей.

Пинает облака зверей
нетрезвый ветер, как огрызки.
И стук дверей, и стук дверей.
И пылесос на ноте низкой.

Звонки, машины. Каблуки?
Нет, шлёпки! Радио, напевы.
Опять лекарства – пузырьки
везут по коридору слева.
Густой закат в напрасный день –
пустой щелчок дверного стука.
И стон души услышит тень
ночная, мёртвая, без звука

АЛЕКСАНДР АМЧИСЛАВСКИЙ

БУДТО ПРОБУЕШЬ БУДУЩЕЕ

***

Ни имени в тебе, ни трубочки воздушной,
плыви промеж корней, не зная, чем они
продолжатся вверху, в среде пустой и чуждой,
не всякому по дну влачить златые дни
попущено судьбой, медлительные страсти
в здоровом полусне пускать на самотёк,
умело объедать губительные снасти
и к ночи замирать и вторить «с нами Бог»,
на илистый рассвет взирать, не понукая
ни к странностям себя, ни к глупостям других,
блаженный ход воды владеет плавниками,
умеренность души водой разводит стих.
Живи, премудрый рыб, холодными глазами
лови размытый свет бессмысленной зари
и тем, которых нет, о чём не знают сами,
шли вести о себе, пуская пузыри.

***

Клочья снега по зиме
свет оставленный земле
сам лишённый долгой жизни
то ли вязнет то ли виснет
кто-то сверху на метле
без музыки правит бал
тем не дал и тем не дал
озарений откровений
тут не гений там не гений
тот кропал и тот кропал
хор шуршит от подпевал
кто сумел давно умолк
в танце парой брат и волк
водят сложные фигуры
шуры-муры лица хмуры
управитель знает толк
каждый каждого жалеет
горкнет снег и свет желтеет
все от бала без ума
на земле зима, зима.

***

Ты суп ешь, будто пробуешь будущее,
смотришь поверху – получилось или добавить что-то ещё,
а мне, тонущему в метафизическом булщите,
не спастись, не выбраться – невдомёк, бедному, чего лишён.
Ты разглаживаешь складки, как прошлое избываешь,
складываешь бельё, и хочется верить в светлое завтра,
а у меня лишь слова, радостей и скорбей – слова лишь
да краешек не пойму чего, и тот облаками забран.
Мы проехали всё, где ещё живут,
и огоньки, если есть, не видны ни с этой руки, ни с этой,
дорогой режутся и расходятся, как по шву,
половинки целого, даже если обе – стороны света.
Ещё варится суп, ты готовишь с молитвой,
потом читаешь акафист,
просишь кого-то сподобить рая сладости,
а я тянусь, касаюсь глаз стрекозиных, тянусь и касаюсь,
боюсь высоты, и качается подо мной колченогий анапест.

***

Январь, а ночи так нежны
и так несут себя в подарок,
что мы среди гусей да галок
подобно им побуждены
куда-то звать, о чём-то петь,
галдеть, как две большие птицы,
крылами мокрыми трудиться
и никуда не улететь
от незамёрзшего пруда,
чей воздух – бывшая вода –
веселой сыростью навыпуск
дарует нам особый привкус
незавершённого труда,
и мы смеёмся, я и ты,
бежим и вторим птичьим звукам
и, всё на свете перепутав,
по-детски раскрываем рты.
Чудны, зима, дела твои –
уже под занавес, казалось,
как никогда не прикасалась
вдруг нежно пестуешь двоих
незасыпающих и ночь
им ворожишь не по сезону,
не замедляя время *о*но
и всё же пробуя помочь.

***

А мы не молчали мы тоже мычали
бессмысленной радугой в мыльном мочале
казённого дома где шайки да лейки
а ну-ка очкарик поддай-ка налей-ка
и мы поддували и мы поддавали
по тощим просторам вовсю бытовали

что дворником в жэке что сторожем в морге
мы были невидны как чёрные волги
как вороны чёрные были отдельны
топили в котельной и пили в котельной
корябали в столбик и жили ночами
кому-то читали на ком-то кончали
всегда неуместны ни нашим ни вашим
погрешностью в счёте поносом на марше
червивой смоковницей дыркой в породе
мы были такими что не были вроде
и больше не будем и некуда меньше
младой незнакомый неистовый сменщик
глядит выше леса не знает что просит
стоит подбоченясь и ссыт ветра против.

ИЗ ПОЭТОВ-РОМАНТИКОВ

Нам счастье выпало скорбеть
при свете бледном, свете дольнем
и слёзы лить, и песни петь
о чём не знаем, что не помним,

и нет, не надо знанья нам
убогой правды – нищей, голой,
пока Эоловы глаголы
ничьим не служат временам.

Когда в подъём, к стопе стопа,
ни шва, ни выдоха, ни стыка,
уходит новая музы*ч*ка –
уже ни почва, ни судьба

и не слышны, и не важны,
как нарисованные земли
с какой угодно вышины –
она прощается со всеми.

НАТАЛЬЯ РОДИНА

НЕНАВИСТНОЕ ИМЯ
документальная повесть

666

Первый раз Боречка попал на *тот* свет с прободной язвой. В то время, когда родственники пребывали в скорби у его больничной койки, он пребывал в уверенности, что находится в Раю.

Кризис миновал. Когда Борис осознал, что его силой вернули назад, он безутешно, в голос разревелся прямо в палате реанимации. У него отняли, как в раннем детстве, самое дорогое, самое сокровенное – любовь, в которой остро нуждались двое его сирот – душа и тело.

Второй раз это случилось, когда он был за рулём своего полуторатонного «Форда», который сам до детали разобрал и собрал. Часто, сидя за рулём, напевал:

– З кумом скинулись потроху – вже п'ємо.
Кум рулює, я гальмую – ну й мчимо! [1]

Бывало по-другому:

– Я в коляску сів, а кум мій за кермо.
Запустили. Газонули – їдемо! [2]

Его зверь-машина, как любил называть свою коняку Борис, несясь с горы, отбросила вначале заднее колесо, следом – переднее. Справа – обрыв метров триста, слева – откос метра три. Направо – верная смерть. Остаётся – налево. Борис видел шедший по встречной полосе пассажирский автобус. Он сумел избежать лобового столкновения.

Везунчик Борис, который изъездил все фронтовые дороги за годы войны, лихо уводил машину от фашистских бомб, объезжал воронки, сумел обхитрить смерть и вернуться в мирную жизнь без царапины.

– Врёшь! На живца не возьмёшь! – крикнул он, вывернул руль влево, отведя от смерти отца, жену, дочерей и племянницу. «Форд», переворачиваясь через крышу, полетел под откос.

И опять общий наркоз. И опять болезненное возвращение к жизни и социуму. Он остался живым, но без левой ноги. Долгие годы Бориса мучили фантомные боли. Когда казалось, что чешутся пальцы на ноге, хватал руками ненавистную культышку, и, тряся, и раздирая её в кровь, выл:

– Где, ты, ножка моя? – подо Львовом гниёшь, в чужой земле схоронена! – и напивался всё чаще, и дважды резал вены, и писал прощальные письма, не желая страданий себе, заставляя жить в страхе и страданиях детей и жену:

– Сдохнуть бы мне! – и, запивая пачку Элениума (Тазепама, Реланиума) бутылкой водки, никак не умирал.

И вот теперь он умер.

Борис лежал в новом костюме, который так ни разу и не надел при жизни. Ненавистный протез был пристёгнут к культе. Широкий, поддерживающий ремень, облегчающий вес протеза при ходьбе, был перекинут через плечо, но уже не давил и не натирал. Борис лежал. А все стояли вокруг. Январь, морозно, у собравшихся изо ртов валил пар, и только он один не мёрз, и только у него одного не перехватывало дыхание от студёного воздуха.

Он видел, как почерневшая Софьюшка дёргала за руку старшую дочь, стоявшую поодаль, как бессердечную дубину. Он слышал, как жалостно причитала она, склоняясь над гробом, как кричала, от-

вернув своё тёплое, живое лицо от его, замазанного белилами в морге синюшного, деформированного лица, взывая к Лизке:

– Подойди к отцу! Попрощайся! –

Но та оставалась недвижной. Непоколебимой:

– Нет! Я его боюсь! – а взгляд всё утыкался в траурную табличку с цифрами:

– В двадцать шестом году – родился, в восемьдесят шестом – умер, прожил – шесть десятков лет. Кого хороним?

За поминальным столом собралась родня. Разговор не клеился. Софья сидела потухшая, виновато повторяя:

– Как же я не почувствовала, как же я не… Уехала на Кавказ, хотелось повидаться с сёстрами, денег накопила за год, отдохнуть хотела…

В ответ все сочувственно вздыхали. Борису слышать это было невыносимо.

Он переместился в свою комнату, где его остывшее, одеревеневшее тело пролежало двое суток.

После принятого «на грудь» алкоголя резко схватило сердце, он вытянул руку, да так и не дотянулся до пузырька с сердечными каплями. Тело наполовину сползло с дивана, шейные мышцы не удержали голову, и лицо ткнулось в пол. Сердце продолжало хаотично носить пьяную кровь по руслу, скапливаясь и густея в сосудах мозга. А он всё тянулся ко спасению.

Таким его и обнаружила внучка, дочь младшей Лильки, которой осточертело третьи сутки слушать орущий телевизор.

– Мама, а дедушка лежит ногами на диване и не дышит.

Сейчас в его комнате находилось много гогочущих посторонних – работников зоопарка с Лилькиной работы и племянник Сергей по линии жены из Краснодара. Сама Лилька, сжимая в руке гранёный стакан с вином, стояла, опершись на подоконник.

– Не пей, доча! Не…– закричать не вышло. –

Лилия залпом осушила стакан и передала его дальше, по кругу.

Борисова душа метнулась обратно, к общему столу, *жинке* Сонюшке, сёстрам Кате, Гале…

Старшая дочь вышла из кухни и занесла в гостиную голубцы.

– Подкидыш, – услышал он. –

Галина? За что?

– Господи!

– Да, сын Мой!

– Я не хотел! Я не знал! Я хотел сына, чтобы в футбол… а тут – девка, ссыкуха, раньше срока! Да ещё имя ненавистное! Ой, дурааааак, дурааак, – голосил Борис.

– А первенца почему убил? Я о такой жертве не просил.

– Я не убивал! Она сама, дура брюхатая, не в кабину села, а в кузове решила порастрясти телеса-то свои!

– Сама?

Борис решил поспорить, повозражать, в конце концов, перекричать, припугнуть, врезать, как следует. Вызверился, выструнился, и… осёкся.

– Да, из-за меня. Я тогда… не прав был… Я!

– Вот поэтому, Я подарил тебе двух девочек. А ты?

Борис схватился за голову, сжал виски, пальцами вцепился в волосы, зажмурился, согнулся, как будто ему дали под дых, ожидая кары небесной, гнева Божьего, ада преисподней. Вот сейчас разверзнется под ним земля и поглотит со всеми потрохами!

– Господи! Прости! –

Его обняли, мягко прижали к груди, и, пульсирующий болью сгусток, стал утишаться, сонастраиваясь со стуком милосердного сердца:

– А ещё, знаешь, знаешь… девочка, которой я выбил глаз камнем из рогатки. Мать её пригрозила, если не женюсь, проклянёт. И Лизка-то одноглазая… Получается, прокляла?

– Почему не женился? Испугался?

– Нас на испуг не возьмёшь! – Не любил.

– А жену Сонюшку? –

Борис плакал. Любовь и нежность, растекаясь теплом, скользили по седым волосам, ерошили их, возвращая им огненность, и они благодарно-ответно топорщились, морщины на лице разглаживались, взор становился ясным, небесным, по щекам, лбу, носу, по плечам рассыпались солнечные брызги веснушек.

– Господи!

– Да, сын Мой!

– А она ненавидит меня?

– Кто?

– Лизка!

– ?

– Старшая.

– ?

– Л и з о н ь к а, доченька моя.

– Она молится о тебе.

– Молится…

– Упёртая, как ты, не сразу ко Мне пришла.

– Наша порода. А я увижу её? Поблагодарить?

– Это Я тебе обещаю.

Бирка

Лизе было девять лет, когда всей семьёй они «дикарями» отдыхали в Моршинском лесу. Костёр, грибы, ягоды, печёная картошка, уха и парное молоко прямо из-под коровы, за которым она с папой ходила далеко-далеко в деревеньку. Пришла пора возвращаться домой. И тут она упёрлась. Заходилась в плаче, истерично визжала и тыкала пальцем в колёса: «Не сяду! Нет!».

Уговорами, угрозами, криками, подзатыльниками, логическими доводами в машину её затолкали.

Был в семье трофейный «Форд» времён войны, отцова гордость, тёмно-зелёный, блестящий, с откидной брезентовой крышей, полторы тонны весом. Папа купил его после войны на стадионе, вбухав в него все семейные сбережения, несколько лет копимые на мамину мечту: дом на земле. Вся семья принимала активное участие в капремонте. Отец практически жил в гараже, не задумываясь о тратах, выискивал запчасти по всем сослуживцам, как в мирной жизни, так и армейской службе. Мир! Отвоевался! Встретив окончание войны в Австрии, поглядев на дальние страны, приговаривал:

– Вот, мать, и тебе случится увидеть красоту заморскую, потоптать землю вражескую своими ногами, а не трястись от страха в оккупации и выращивать картошку в горах. Курил «Беломор», матерился, харкал в сторону «поганых фрицев и гансов».

Мама работала на подхвате в должности «пришей кобыле хвост», понукаемая мужниными окриками.

– Что за бестолочь, – горячился отец, – до сих пор не можешь отличить отвёртку от пассатижей! – И разбирал, и снова собирал двигатель. Со временем папина мечта стала общей. Видя, как мать пластается меж школой, домом и гаражом, Лиза присматривала за младшей сестрой, наводила порядок в доме по мере сил, соответствующих семилетней девочке. Сварила первый борщ, в который вместо капусты всыпала макароны. В кастрюле им стало тесно, и повариха, сколько смогла – выловила, сколько влезло – съела, остальное варево, укутав в полотенце, с придыханием снесла голодным родителям.

Через два года отец начал обкатывать любимца. Испытания коняга прошла с блеском. И вот долгожданное лето. Поехали!

Подо Львовом они разбились. Лопнули одновременно переднее и заднее колёса. Машина вылетела на встречную полосу перед автобусом и, переворачиваясь, полетела под откос. Очевидцы в один голос говорили, что чудом семья осталась жива, и машина не взорвалась.

А на Лизку повесили ярлык: «Накаркала».

Давно она взрослая. Но её тревожат порой странные сны.

Когда была замужней, ей, не пополнявшей ряды разведёнок, приснилось, что у семейного «Москвича»-бомби отказали тормоза, и супруг вылетел через лобовое стекло на проезжую часть. Машина, продолжая движение, приближалась к распластанному на дороге телу. Сон был реальный, яркий, жуткий и липкоудушающий. Заперев язык за зубами, ежедневно взывала к ангелу-хранителю, уберечь Сергея от беды. В тот день несколько раз звонила к нему на работу, зазывала домой, уговаривала, завлекала купленным для него свитером и вкусным обедом. Не услышал. Не захотел. Куда угодно – лишь бы не домой.

У «Москвича» отказали тормоза. Сергей ударился головой о руль, но презренный ремень безопасности, которым он всегда брезговал и по странности пристегнулся, не позволил вылететь из машины.

Домой вернулся не Сергей. В дом вошло синее, распухшее чудовище. Глаза заплыли, под ними – чёрные гематомы, разбиты губы. Дышал только ртом – нос был перебит и сдвинут набок. Ушиблена грудина. С трудом говорил. Лизе стало дурно. Страшно на него смотреть.

– Серёжечка! – завопила она и повалилась на колени. – Тебе нужно в больницу!

– Не попрусь я туда. Ненавижу больничный запах и белые халаты. И всё, что связано с рвачами, ненавижу!

Что-что, а в ненависти он был виртуозен…

– Врачами?

– А это не одно и то же?!

– Но…

– Время пошло! Через три дня я должен быть здоров!

Звонки к знакомым «экстрасенсам» ничего не дали. Пыль, пущенная в глаза знатоками биоэнергий и тонких миров, изливалась наружу злостью на саму себя и слезами. Ей дали понять на собственной шкуре, что нравоучить уму-разуму куда легче, чем реально помочь в беде.

Вспомнилась статья в газете не то о колдуне, не то о монахе, то ли Виталии, то ли Валентине, который обещал помочь любому, кто обратится к нему за помощью.

Супруг заснул, болезненно храпя, лёжа на спине, раскинув руки и ноги. Лиза легла на пол, подле дивана, чтобы не беспокоить. Спит – и, слава Богу! Приходи, приходи, приходи, здоровье. Уходи прочь, убирайся, боль! Чтобы Серёжа не задохнулся во сне, осторожно пошевеливала его руку и молила о помощи. С трудом забылась тревожным сном под разрывающий перепонки храп.

Проснулась от внезапной звенящей тишины:

– Умер?!

Насторожил чужеродный шорох у дивана. И она повернула голову. Супруг по-прежнему лежал на спине и безмятежно, по-младенчески дышал, а над ним стоял монах в длинном балахоне с капюшоном на голове и плавно водил руками вдоль туловища, напоминая дирижёра, руководящего оркестром. Постепенно Серёжино тело начало переливаться радугой, и, казалось, что монах зажигает разноцветные лампочки от ног к голове. Это было невероятно, завораживающе! Боясь шелохнуться, глядя на фантастическое видение, Лиза таращилась в темноту. Свет уличного фонаря просачивался сквозь сомкнутые шторы, слабо освещая две фигуры.

Монах замер и стал медленно поворачиваться в её сторону. Страха не было. Вот-вот станет различим его лик! И – провал во тьму. Наутро она умолчала об этом, не поверив самой себе.

Через три дня Сергей вышел на работу.

Они жили порознь несколько лет, но Лиза старалась сберечь худой мир, который лучше доброй ссоры. Перестав быть женой, она освободилась от роли няни, сиделки и надзирательницы собственному мужу.

До тех пор, покамест сон не вернул её в реальность.

Простынёй, через которую проступала кровь, укрыт мужчина, и она, стоя у изголовья, знала, что это её бывший супруг. У него в ногах по обе стороны – два стражника. Они спорили, говоря о ней в третьем лице, а женщина даже не силилась встрять.

– Зачем это ей? Кто она такая? Бывшая?

– Да, бывшая, но мать их ребёнка.

Покорно стояла, слушая препирательства этой парочки. А они находили всё новые и новые причины: один – в защиту, другой – против. Набралась храбрости и обратилась к ним:

– С вашего разрешения, скажу, что у него разбито, и вы сами решите, показывать или нет. С молчаливого согласия, продолжила:

– У него разбита голова, потому что он думал, что умнее всех. У него разбиты руки, потому что он хотел только брать, не отдавая. У него разбито сердце, потому что думал, что без сердца можно прожить.

Простыня медленно стала сползать с тела, и Лиза резко проснулась.

Когда Сергей попал в хирургию с воспалением надкостницы правой руки, постаралась, чтобы не ампутировали кисть. Руку спасли.

Позднее ему проломили череп, когда он возвращался от очередной избранницы. Стал слепнуть и глохнуть. Спасла во второй раз. Когда свершились две беды из трёх, рассказала сон.

– Выслушай женщину, и поступи с точностью до наоборот, – услышала категоричный ответ. Логично ли выписывать рецепты ко спасению души седовласому мужчине, воспринимающему их подгузниками и слюнявчиками, унижающими мужское достоинство?

Ей оставалось, молиться, с ехидной подачи Сергея, «своему католическому богу».

Он умер от обширного инфаркта в ночь на третье апреля две тысячи пятого. Ему было сорок восемь. Именно в эту ночь в возрасте восьмидесяти четырёх лет отошёл ко Господу Иоанн Павел II. Оба рождены в мае. Два человека – два антипода. Тьма и Свет. *Не божитель* и *Неба житель*.

Перевозка доставила тело в тот же городской морг, что и Лизиного отца. Бездыханное тело с номерком на большом пальце ноги, принадлежащее теперь не Сергею, а патологоанатомам, лежало на полу среди усопших бомжей, прикрытое коротким одеялом, из-под которого торчали ноги и голова с коричневыми ушами. Не под простынёй, нет, – под битым молью одеялом, на голом полу. Ну, не хватает каталок в республиканском морге на всех. Говорят, что патологоанатом – лучший диагност, и всё, что было сокрыто при жизни человека, становится очевидным у него на столе. Так говорят.

Новая супруга, староиспечённая «безутешная» вдова, с которой муж прожил четыре месяца, через десять дней после смерти вывезла из его дома всё, выдрав из стен розетки, тем самым приведя в исполнение его излюбленную крылатую фразу: «Хам перехамил хама». Грязи и мусора вперемешку с окурками набралось три мешка. Затоптанные, разбросанные по полу фотографии отца она собирала с сыном.

Елизавета бережёт сокровенную реликвию, как свидетельство, – клеёночку с марлевыми завязочками новорождённого сына. На ней обычной синей пастой, острыми жизнеутверждающими буквами выведена её фамилия с числом, годом и временем единственных полноценных родов. Уверена, такие святыни хранятся у каждой матери. Сравнивая сыновью и отцову бирки: одну светозарную на ручке, другую посмертную на ноге, испытывает смешанные, раздирающие, крайне несоразмерные, несоизмеримые друг с другом чувства. Приход и Уход. Бытие и Небытие. Первый крик и Последний хрип того, кому уже никогда не исполнится ни сорок девять, ни пятьдесят.

С каждым годом она будет становиться старше.

Муситы!

У кудрявого, огненно-рыжего Боречки были и папа Иван, и мама Елизавета, и две сестры: Катя и Галя. Любимчик! Во-первых, мальчик, во-вторых, младший. В-третьих, при невысокорослых родителях и сёстрах, он вытянулся вверх, ближе к солнцу, был стройным и плечистым. И руки у него были золотыми, и одарён он был от природы прекрасным музыкальным слухом. Поэтому молодой гарный хлопец Борис, попав на войну после окончания курсов, научившийся прыгать с парашютом и водить все виды машин, выучился бренькать на мандолине и принимал активное участие во фронтовом оркестре. Он был похож на отца. Он гордился своим отцом. Он любил своего отца. Его папа Ваня сам на слух подобрал полонез Огинского, и часто, сидя на краешке стула у пианино, мягкими осторожными пальцами наигрывал:

– Таммм, та-дадада-дам…

Беда пришла в дом раньше войны. Мама Елизавета влюбилась. Скрывая от мужа и старших девчонок свою страсть, тайно писала записки возлюбленному ухажёру и передавала через Боречку. Побаиваясь мать, не смел ей перечить, но любя отца, нёс записки вначале тому. Отец молча разворачивал любовные послания жены, молча прочитывал, аккуратно складывал, возвращал Боречке, ещё не умевшему читать, и говорил одну фразу:

– Если мама попросила, иди и отдай тому, кому написано.

Семья распалась. Мать Елизавета не ушла к другому, она привела его в дом, оставив троих детей мужу, оставив без крыши над головой, рассудив, что дети – богатство куда более дорогое, чем стены и потолки. Голыми и босыми на улицу не выперла: старшей Катьке, средней Гальке, младшему Борке сунула по котомке. – А тобі Іван[3] – чумодан, – сострила она и отрубила: «Муситы!».

Отец уже не ответит, а мама пояснила Лизе, что это была бабушкина присказка, которую она повторяла по любому поводу. Её значение Лиза узнала, выйдя на пенсию, переехав в другую страну. «Ты должен!» – «musite» – в переводе с чешского языка. Не она, – но каждый должен ей и для неё. Была в арсенале бабушки ещё одна «палочка-выручалочка»: добиваться исполнения желаний обещанием повеситься. Хватала верёвку, мыло и спешила в подвал. Иван бежал следом, умоляя не накладывать на себя руки, пожалеть детей и пощадить его. К слову, она ни разу не применила свой метод устрашения на практике. Лиза жалела дедушку. А Лиля… слушала и на ус мотала: пригодится в жизни! Как вариант.

Сам научившийся писать и считать, Боречкин отец работал бухгалтером на предприятии «Гортоп», поставщика угля и дров населению, за ним было закреплено небольшое казённое помещение, вход в которое был строго запрещён посторонним лицам. Днём Иван работал, и дети старались продержаться до темноты на улице. Летом, куда ни шло. А вот осенью и зимой было совсем не сахарно.

Тогда-то, когда Боречке было шесть лет, чтобы заглушить голод и урчание в пустой утробе, он начал курить. На ночь отец впускал ребят в дом, и они прятались на печке за занавеской от посторонних глаз.

Боречка, жалея отца, люто возненавидел мать. Но более всего бесило, когда папа, его добрый, справедливый, ласковый папа, нет, чтобы пойти и начистить рожу чужому дядьке, с саблей наголо явить несокрушимую беспощадную силу, показывал мальчишке слабость и малодушие, повторяя:

– Не сердитесь, дети, на маму. Поймите её. Простите её. Она у вас одна.

Не желал Боречка принимать предательства матери, не собирался прощать её. Не понимал, почему должен прятаться ото всех, ходить с вечно голодным брюхом, как оборвыш. Сёстрам – тем легче – их двое, ходят под ручку, как две гусыни: «гы-гы-гы» да «га-га-га», с собой редко берут, секреты, вишь, у них, бабские. А я один. И подзуживал: «Мы с Гагарой ходим парой. Санитары мы с Гагарой».

Нет их уже на белом свете: ни дядьки-разлучника, ни отца, с его смирением святого, ни матери-стервы, которая вбила в Борисов мозг не имя единственного любимого сына, но позорный столб и высекла на нём свиное, брезгливое «Борка». Померли! Усопли. А до сестёр дела нету: он в Молдавии – с хлеба на воду, они на Украине – в хоромах у моря с папиной помощью.

Жалея себя больше всех на свете, не оправдывая отца, Борис лютовал и зверел, когда разговоры заходили о матери. Не только воспоминания о ней, но и её имя приносило ему страдания.

Вот и сам он отец, и подрастают у него *детлахи*: Лизка, названная в честь его ненавистной родительницы, да Лилька, названная в честь Сонькиной, и квартира своя, и машина, и жена любящая, умная, учительница, работает в школе, и должность у него – инженер-технолог, а счастья нет. И радости нет.

Борис раздражался, курил Беломор, не накуриваясь лёгкими сигаретами, пуская дым прямо в квартире:

– Что я, бездомный какой, или идиот – на лестнице курить? – орал он на жену, вернувшуюся из роддома и плачущую над орущим свёртком.

– Уйду от тебя, Боря! Не дыми на ребёнка!

– Ну, и уходи! Не мой это ребёнок!

– Почему не твой?

– На две недели раньше родила.

– Так ведь это вторые роды, два года назад – кесарево было, Боречка!

В ответ привычное:

– Дурак, что женился!

Софья плакала и никуда не уходила.

Дочки росли. Лизка всё больше раздражала его – слишком весёлая, поёт, пляшет, ногти красит.

– У меня глаза голубые, – думал Борис, – у Соньки – карие, а у этой – зелёные.

Глядя на свою детскую чёрно-белую фотографию, видел своё отражение и всё равно сомневался. Однажды попросил, чтобы та изобразила, как сейчас модно танцуют. Дочь стесняясь, завиляла задом и передом, задёргала руками-ногами. Борис взбесился:

– Проститутка! Мать, да она же проститутка!

Федяй

– Сафоныч! Открывай! – в окно тарабанил сослуживец, беспокойный и суетный человек, не всегда искренний, не до конца честный, но всегда оказывающийся под боком, когда нужен совет, жилетка или сгонять, куда по-быстрому с мелким поручением. – Открывай скоренько!

Иван снял очки, протёр закисшие уставшие глаза, отодвинул деревянные бухгалтерские счёты и снял нарукавники:

– Сошлось сальдушко с бульдушкой! Копеечка с копеечкой! Тютелька с тютелькой. Зарплате быть! И детлахам на гостинцы хватит. Как всегда больше всех получит гражданин с фамилией Итого… И что там стряслось у Федяя? – прикрыл аккуратные стопки крупных и средних купюр, сгрудил матерчатые мешочки, сшитые, подписанные самолично, с мелкими металлическими монетами. Приподнял один: – Тяжёл! Не мелкие вы! Всё имеет вес, даже полкопейки, когда нужно поднимать троих: – Муситы[4], – и пошёл открывать Федяю, пока тот не разнёс окно трескотнёй.

– Иван Сафонович! Вызывают тебя на завод! Срочно! К директору! Езжай! А я тут покараулю!

– Оставайся! –

Время тревожное. Иван убрал деньги в несгораемый шкаф и провернул ручку. Выкатил велосипед и спешно уехал.

Или его никто не вызывал, или директор был крайне занят. Сгонял порожняком. Когда вернулся, помещение оказалось опечатанным, у входа валялась куча тряпья, которую охраняли два вооружённых

солдатика. Поодаль припаркован «нагуталиненый» автомобиль НКВД. Иван узнал служебную «Эмку». В годы сталинских репрессий она приобрела дурную славу. Борьба с политически неблагонадёжными, ренегатами, отщепенцами, диссидентами и предателями Родины велась активно, часто превращаясь в обыкновенный террор и массовые аресты по надуманным доносам.

В «чёрном воронке» на заднем сиденье сидел зарёванный Федяй, тыкая указательным пальцем в сторону Ивана и размазывая кровавые сопли.

– И это наш герой? – заржал НКВД-шник. – Мал клоп, да вонюч! А ну, к ноге, ворюга!

– Прости, Сафоныч, – пускал слюни Федяй, когда щуплого Ивана зашвырнули в машину.

– *Діти, біжіть звідси до мамки, ховайтеся як миші*[5], – мысленно взывал арестант, прощаясь с убежищем, которое для Боречки, Катюши, Галоньки стало единственной крышей над головой.

В предвоенные годы по стране вышагивала «безбожная пятилетка», антирелигиозный фронт был объявлен боевым фронтом, на Съезде Союза безбожников были приняты лозунги: «Бога нет!», «Религия – опиум для народа!», «Долой Бога!». Умел ли Иван молиться? Знал ли хоть одну молитву? – так или иначе, Бог услышал его и спас всех троих.

А Иван был приговорён к десяти годам лагерей. Там война началась и закончилась для него. Там он работал бухгалтером. Его оценили за кроткий нрав, внутренний покой и миролюбие.

Откуда в тщедушном с виду мужичке, росточком с десятилетнего мальчика, с гипофизарной карликовостью, которая блокировала рост костей, был такой великий, непобедимый дух бесстрашия? От отца Сафона? С Афона!

Той самой Святой Горы, где кончается земля и начинается Небо. Где обрели пристанище православные монахи, удалившиеся от суетного вещного мира, большую часть времени проводящие в уединении и неустанных молитвах. Смиренно и покаянно живут они, обладая величайшим сокровищем, священным лоскутиком Неба, который хранят до конца земной жизни.

Когда у старца спросили:

– Что такое Афон?

Он ответил словами Евангелия:

– «…на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся». Здесь много таких кающихся, узревших в Богоматери главную заступницу, отраду, надежду и утешение, покровительницу афонской монашеской общины.

О, Господи! Как перекликаются судьбы афонских схимников с судьбой мальчика, носящего Боговдохновенное отчество!

Отчество

– Отец!
– Да, сын Мой!
– Расскажи, как моя старшая к Тебе пришла.
– Я показал ей…
– Меня?
– Нет, сын Мой! Показал бы тебя, не дождались бы мы её.
– А давно это было?
– Для Меня – моргнуть.
– А для нас?
– Для вас, смертных, несколько десятилетий.
– Что же Ты ей показал?
– То же, что и тебе, когда ты с прободением гостил у Меня.
– Ты показал ей Рай?
– Да.
– Так она…
– Не пугайся, сын Мой, она жива! Дорогу переходит.

Лиза торопилась на работу, которую только нашла. После операции ей дали вторую группу инвалидности, назначили пенсию, которой хватало ровно на кило мяса.

– Господи! Дай совет! – взмолилась она, глядя себе под ноги, будто именно там возможно было отыскать душевную пропажу.

– Отчество своё помнишь? – раздалось отовсюду.

Она резко остановилась, задрала голову к небу, стала озираться по сторонам, стояла, как вкопанная, забыв, что переходила запруженную улицу, и ответила:

– Борисовна!

– Борись!

Потрясённая случившимся, не вполне осознавая, что произошло, с большей уверенностью зашагала к остановке.

При мысли об отце, которому всегда не хватало пойла, защемило сердце.

– Эх, пить будиим, гулять будиим. А смерть придёт – пами-рать будиим! Гуляй, гопота! Пей, рванина! – залихватски базлал Борис. – Жги, голытьба! – сдёргивал с крюка мандолину, принимался плямкать по струнам, ошибался, поминая всех по матери, опять силился бренчать, опять ошибался, откидывал свою «фронтовую струнную подругу» и с криками: «Убью гадину! Сволочь!», – набрасывался на дочь. И так каждый день.

– Мммм, где валидол…

Если отец родной, почему был таким безжалостным, ломая о спину костыли? А, может, и не родная я ему. Тётя Галя меня подкидышем обозвала на поминках. Захочешь вспомнить что-нибудь хорошее из детства – да нечего.

И только воспоминание о дедушке, который звал её лисичкой, грело и приносило утешение. Она вспоминала, как дедушка Иван, сидя возле пианино, пальцами одной руки нажимал клавиши, наигрывая мелодию.

– Деда!

– Что, лисичка Лизонька!

– Что ты играешь?

– «Полонез» Огинского.

– Ты его сам сочинил?

– Нет, Огинский сочинил.

– Это он тебя научил?

– Сам научился.

Борис мстил не дочери Лизке, он отвоёвывал своё украденное детство у матери-потаскухи. Не попрётся же он на кладбище, не разроет могилу, не развеет по земле-по ветру её кости? Он избивал дочь с наслаждением садиста:

– Вот тебе! Вот! Поделом! Шлюха! – и снова пил, и снова бил, находя для себя всё больше оправданий:

– Чтоб неповадно было! Отобью напрочь желание краситься, юбки «по пид фэ» носить, задом вилять перед мужиками, тварь продажная!

– Дерьмо! Ублюбина! Выродок! – орал Борис. Накидывался на дочь и лупил наотмашь, со всей дури, которую в себя влил. Бил, не куда попало, загнав дочку в угол, – наносил удары прицельно, опираясь одним костылём в пол для устойчивости, другим нанося удары по голове, стараясь попасть в глаза, чтобы не пялилась, но Лиза уворачивалась, и удары щедротно осыпались на спину. Ослеплённый яростью, Борис желал одного: выбить два болотных, омутных, бесстыжих глаза.

Фраза, нисшедшая на Елизавету ниоткуда и отовсюду, всё крутилась в мозгу:

– Отчество помнишь?

– Да помню я своё отчество!

Слово жило своей жизнью, Лиза это чувствовала по загрудинной щемящей боли. Слово отвоёвывало, раздвигало, осваивало пространство души. Оно влетело в её мир не лёгким серым воробьём, а снарядом, выпущенным из пращи метким стрелком.

Троллейбус распахнул двери – о т ч е ство. Захлопнул – о т е ч е с т в о. Двинулся по маршруту – ОТЧЕство…

– Выходит, – думала Лиза, – принимая отчество, я принимаю и родину, и папу, и Бога? Перебор. Или…

– Что я видела этой ночью – во сне ли, наяву?

Её, залитую светом, насквозь пронизывала и прожигала любовь:

– Ты Моя… наша… ты будешь здесь, с нами… в Раю… для тебя уготовано место на небе…

– Я не состоялась, как мать!

– Ты – прекрасная мать.

– Чем я могу поделиться с сыном, больная, безработная?!

– Любовью.

– Какой?!

– В коей сейчас пребываешь.

От всеохватного, всесогревающего, прожигающего любовью насквозь, душу и сердце света, отделился сноп, вытянулся, пронзив кромешную темноту, и Лиза, прослеживая взглядом его движение, разворачиваясь вправо, разглядела далеко внизу каменную арку, под которой стояла мама, держа десятилетнего сына за руку.

– Ты наша…, – и Лиза вернулась в реальность.

В воскресенье она заказала заупокойные службы за отца сразу в трёх церквях, принеся туда масло и муку. Купила свечи и просвиры. Так ей посоветовали осведомлённые люди.

Борис в своём любимом зелёном «Made in India» свитере стоял, опершись на «Форд». Палка ему была не нужна, как, впрочем, и костыли. Он был здоров. Он опирался на легковую машину, он стоял на двух ногах. Вокруг – благоуханная нереально-сочная зелень, мощные стволы деревьев с густой кроной. Пение птиц наполняло дивный лес.

Перед ним на траву опустилась крупная птица, с синими загнутыми полосками вокруг глаз. Сорокопут? Сойка? Иволга? Седой дятел? Он восхищался птицей и понимал, что она не похожа ни на одну из тех, о которых он, подлинный знаток певчих птиц, когда-либо читал, или встречал, или держал дома. Поднял глаза и увидел Лизу, стоявшую напротив:

– Доченька…

– Папочка! Помоги мне её поймать. Только не спугни.

– Как, Лизонька?

– Сними с крыши машины покрывало и набрось на неё.

Покрывало с кисточками по краям опустилось на траву между ним и дочкой, подобно облаку.

– Мама! Мама! – кричала в трубку Лиза, – Мне папа во сне помог поймать райскую птицу в райском саду!

Эвакуация

Когда отец жил с ними, Борис не пил и не дрался.

Иван жалел сына, о коем больше всего болело сердце, изводилась душа. Для хлебнувшего лиха на войне, подбирал такие целебные слова, в которых больше всего нуждалась сыновья душа. Любил Лизу, ветреную внучку без царя в голове, певунью, плясунью и хохотунью, любимым занятием которой было дуракаваляние. Младшая Лиля была полным собранием девчачьих капризов, но он не пасовал перед её многочасовым выматывающим нытьём и истериками, не мытьём, так катаньем, *все собі і тільки собі* [6], с каждого сострижёт, хоть шерсти клок. Фамилия ей Итого в самый раз. Дитя, а мамку об коленку ломает. Старался находить общий язык со строгой невесткой Софьюшкой. Учительница.

Десять лет несвободы вместили Великую Отечественную войну, десятки миллионов погибших, отняли у его детей детство и юность, сделав взрослыми, а он… не стал героем, заработал астму и поседел.

– Всего лишь, – признавался он самому себе. – Обязан наверстать. *Муситы*.

Как объяснить это Лизуньке, что надо навещать дочерей, которые ему дороги. Она будет цепляться за одежду, бежать следом и истошно кричать на всю улицу: – Деда, родненький, не уезжай! Умоляю! Я обещаю, что буду тебя слушаться, и не буду валять дурака! Дедуля!

Зато, когда он вернётся, внучка повиснет на шее, а он, сдерживая слёзы, серьёзно глядя ей в глаза, скажет:

– Когда я ехал к тебе, поезд неожиданно остановили, – проводница нажала на «стоп-кран».

Зрачки Лизы расширялись: – Деда! Почему? Кто-то отстал от поезда?

– Нет.

– Авария?

– Нет, моя девочка. Когда поезд остановился, и пассажиры выглянули в окна, на рельсах увидели зайчика.

– Зайчика? Живого? – Лиза заваливала дедушку вопросами. – Дедуня, он был больной? У него болели лапки?

– Нет-нет, он был в прекрасной физической форме. Он поскакал к составу и громко спросил: «Едет ли в этом поезде Иван Сафонович?». Я услышал своё имя, разволновался, но ответил: «Да! Есть! Это я!». «Куда ты едешь?» – строго спросил зайка. «К своим внучкам». Зайчик улыбнулся и сказал: «Вот тебя я и поджидал на дороге», – вынул из узелка бумажный свёрток и передал мне.

С этими словами дедушка доставал его из дорожной сумки и передавал внучке:

– Хлебушек от зайчика.

Хлеб сей был животворным, волшебным. Хлебом жизни, который заповедовал Божий Сын.

Лиза, став мамой, принося домой гостинцы, прежде, чем положить их на нежную детскую ладошку, рассказывала про храброго зайца, не побоявшегося остановить целый поезд, чтобы передать подарок. Став бабушкой, Елизавета поняла, как детские слёзы разрывают любящее сердце.

Иван никогда никому не рассказал, как пережил десять лет лагерей. Но от своих ребят знал историю их спасения в день своего ареста, как голодовали, цеплялись за жизнь, как выживали.

Недалеко от дома матери располагался госпиталь, и сестрички частенько прогуливались под его окнами, кокетничали с больными, выполняли их просьбы: сходить за фруктами, булочками, принести свежую газету. Обе шустрые, ладные, невысокие, грудастенькие и голубоглазые, только Катя блондиночка, а Галя – брюнетка. Девочек приметили сердобольные нянечки, затем медсёстры, стали нагружать их несложной работой и подкармливать. В тот день, когда отца увезли в НКВД, сёстры с младшим братом по дороге к госпиталю решили пройти мимо родного дома в надежде хоть глазком увидеть маму. И увидели её, выходящую из ворот:

– Детоньки мои, сюда, сюда!

Переглядываясь, девчонки нерешительно двинулись к матери, но Борис идти отказывался. Сёстры силой затащили брата во двор. От матери узнали, что Кузьмича, её нового мужа, вызвали в комендатуру, его пехотный полк, стоявший на северной окраине Балты, ушёл в сторону Молдавии, что воинских частей в городе не осталось. Надо искать лошадь и уходить с обозами. В тот день в жизнь детей вошло слово «эвакуация».

Нагрузив пожитки на скрипучую телегу, мать уселась на место возницы, девчонки вскарабкались по бокам, а Борьке места не хватило. – *Тому що хлопець!*[7] Они влились в живую, стонущую и плачущую толпу. Борис был вынужден идти пешком, чёрт-те куда, гудели стёртые в кровь ноги, хотелось курить, пить, есть и хоть немного отдохнуть. Но надо, надо было идти, идти, идти. Ботинки стоптались и просили каши, носки изодрались, а обозы с людом тащились то через поля, то по дорогам, то плутали по лесам. Когда над головами очередной раз раздался угрожающий прерывистый рёв немецких двухфюзеляжных самолётов, Борис сорвался. Рванул в лес и затаился за деревом. Он слышал, как сёстры кричали и звали бунтаря, но мальчишеские амбиции взяли верх. Брат не вышел из укрытия, его сморила усталость, и он забылся тяжким беспробудным сном.

Какие могут быть сумасбродства и капризы, когда война?! Беспощадная изуверка, убийца, не щадящая выходок слабых?! Но Борька был пятнадцатилетним подростком, пусть капризным, но ребёнком, впервые столкнувшимся со страшной действительностью: со смертью! Не осознающим, *что* это – потерявший отца, презирающий изворотливых сестёр-приспособленок и отвергшего мать! Он не выдержал испытаний, выпавших ему. Обозы ушли далеко, а он радовался и дурковал, как чертёнок. Когда понял, что его никто не ищет, и не будет искать, когда дошло, что остался один на один со своим «я», испугался. Борис блукал по лесу, крича во всю глотку от страха и отчаяния, ещё не осознавая, что испытания только начинаются в его судьбе.

Сигизмунд Шломо Фройд

– Ну-тес, уважаемая, располагайтесь, укладывайтесь. Вот так… так… каждую складочку на юбочке расправим. Красота! Картинка! Я, с вашего изволения, присяду в головах. Ах, шуточка получилась! Оговорочка, как говорится, по мне. Займёмся с вами «диванным искусством». Квитанцию об оплате, будьте любезны. О, как мило… Минуточку, зафиксирую в Kassa-Protokoll. Деньги любят счёт. Знаете эту поговорочку? Хм-хм-хм… Итак. У нас пятьдесят минут. –

Лиза представила себя на приёме у Зигмунда Фрейда. От него несло сигарами, валютными банкнотами и плесенью:

– Не буду я с вами секретничать! Тем более, что давно всё рассказала чужому дяде из психо-невралогического диспансера.

– Доктор, понимаете, я не знаю, что с ней делать! Она неуправляемая! Порвала на себе халат, в кои веки ко мне приехала сестра из Майкопа, так она её часы бросила на пол!

– Вдребезги?

– Что?

– Разбились? Разлетелись?

– Нет, она утверждает, что просто положила для красоты. Скатала ковёр, а сверху водрузила дорогие наручные часы! Это что, здоровый ребёнок?

– У вас есть ещё дети?

– Да, младшая дочь, но с ней у меня нет никаких проблем! Болезненная девочка, шумы в сердце.

Психиатр кишинёвского отделения детской неврологии попросил Софью выйти:

– Оставьте нас тет-а-тет, мне нужно задать несколько вопросов ребёнку.

И Лиза осталась наедине с чужим человеком, рассматривая плакаты на стенах.

– Я доктор, Николай Степанович. Тебя как звать-величать?

– Елизавета!

– Храбрая умная девочка. Ты знаешь, почему мама тебя сюда привела? – и протянул руку к голове ребёнка, больше похожего на бычка, глядящего исподлобья.

Лиза шарахнулась от него и закрыла голову руками: – Мама!

– Ну-ну. Я только хотел пригладить твою причёску. Присядь, я тебе задам несколько вопросов, и позовём маму. Хорошо?

– Можно, я позову? –

Врач дал согласие, и Лиза послушно села на стул, ссутулилась и кивнула.

Доктор не был похож на дедушку. У него не было нарукавников, значит, и подтяжек не было, не было рубахи в мелкую клеточку и очков-увеличилок, которые Лиза примерила, чтобы уточнить, как через них деда может что-то разглядеть. Ей тогда не понравились очки, но деда без них был, как без рук, так он объяснил, поэтому Лиза всегда помогала их искать и всегда находила первой! Дедушка называл её «ищейкой», на что мама обижалась: «Словом можно и убить, папа!».

На докторе был белый накрахмаленный халат, но он не был похож на Айболита: у того были усы и борода, и вокруг него сидели зверята. А вокруг Николая Степановича только она, и то, с одной стороны. Но он был спокойный, говорил ласково, больше не пытался до неё дотронуться, Лиза подняла голову и посмотрела прямо ему в глаза:

– Папа разбил подоконник.

– Расскажи, как это случилось?

– Он решил выстрелить в себя из ружья, но у него не получилось, прибежала мама, и он выстрелил в неё.

Пугало, что речь девочки была сдавленной бесцветной и безэмоциональной:

– Мама убежала и заперлась в ванной, завязала на шее тонкий шланг и стала себя душить.

– Лиза… если мама закрылась, ты не могла видеть её, – мягко, почти шёпотом обратился к ней врач.

– Папа сильно-сильно, изо всех сил, дёрнул дверь, задвижка упала, и мы увидели… маму… она хрипела, и у неё изо рта текла кровь.

– Покажи, откуда.

Лиза дотронулась до уголка рта и нарисовала пальцем дорожку до подбородка.

– А потом?

– Они сидели за столом и пели.

– Пели? Сможешь напеть?

Лиза соскочила со стула, приняла театральную позу и с глубоким чувством, пискляво запричитала:

– *Давай никогда не ссориться,*
Никогда, никогда.
Пусть сердце сердцу откроется
Навсегда, навсегда.
Пусть в счастье сегодня не верится –
Не беда, не беда.
Давай ещё раз помиримся
Навсегда, навсегда. – И крупные слёзы одна за другой выкатывались из правого глаза, оставляя левый сухим.

– Может, ещё что-то хочешь рассказать?

– Мама сожгла Зоню! – в глазах девочки заполыхало пожарище. Она рассказала, как была сожжена старая немецкая кукла, которую любили сёстры. Зоня была большая, с двухмесячного ребёнка, у неё была деревянная кроватка с мягким матрасом, подушка и одеяло с пододеяльником. Когда была новой, жалобно говорила «мама!», открывала и закрывала синие глаза, но они вывалились, обнажив провалы глазниц, пискушка онемела, распашонка с ползунками потерялись, материал, из которого была изготовлена игрушка, потрескался. И мать, у которой в детстве не было кукол, приняла решение сжечь куклу-фашистку, присвоившую себе её имя!

В послевоенные годы прямой подачи горячей воды в систему водопровода не было, в хрущёвских совмещённых санузлах устанавливали титаны на дровах и угле для нагрева воды.

Объятая пламенем, кукла не горела, смиренно лежала в топке, вытянув руки и ноги, как младенец. А девочки, глядя на огонь выли, как два подсосных волчонка, у которых отняли маму. Долгие годы Лиза

боялась открытого огня. Огонь – это убийство, смерть, страх, слёзы. Это маленький ребёнок, сожжённый в печи. Мамой.

– Ты любишь папу и маму?

– Я люблю дедушку! Маму жалко… Папу… боюсь, – Лиза вжала кулачки в грудь и по-старушечьи сгорбилась.

– Расскажи о дедушке, – попросил врач.

– Деда научил меня читать немецкие буквы!

– Научишь меня?

Лизунька, забыв о страхе, взяла лист, ручку: «PUPPEN DOKTOR», – выводила и приговаривала:

– У меня детская больничка. Я лечу кукол. На коробке – слова. Деда сказал, немецкие. Наша буква «р», а ненаша «п», потом буква рожками вверх – «у», перевёрнутая «и» – ненаша «н»! Второе слово ещё легче! Нужно только две буквы запомнить: первая, как половинка «о» – «д», а перевёрнутая буква «я» – это «р»! Читайте!

– Пуп-пэн док-тор, – по слогам прочёл Николай Степанович.

– Пуп! Пупок! Пупсик! А Лиля говорит «клукла»! Правда, смешно? – оба дружно прыснули.

– Спасибо, Лиза, зови маму.

Девочка слышала, но не примеряла слова доктора на себя:

– Ей не нужна помощь психиатра, она нужна вам! При ней и с ней на повышенных тонах говорить нельзя, не то, чтобы… Детский бунт – несогласие с тем, что происходит в вашей семье.

Мама кивала.

– А как на семейные конфликты реагирует младшая дочь?

– Никак. Остаётся спокойной, истерик не закатывает, – о многочасовых изводящих всех и вся завываниях Лили мать умолчала.

– Я бы задумался на вашем месте о реакции младшей. Кто вы по профессии?

– Учитель русского языка и литературы в старших классах, – отчеканила Софья.

– Задумайтесь, какой педагогический пример подаёте своим дочерям. Вы можете здесь и сейчас поручиться, что при детях не будете кричать и ссориться с супругом?

– Извините, не могу, – залилась слезами Софья.

– Я домашний вор?! – визжала Лилька, – Я?! Вы все не любите меня! – и впервые ушла из дома в неизвестном направлении. Недалеко, но ушла.

Софья не находила себе места:

– Бедная девочка! Как близко приняла к сердцу. А оно у неё слабое! О, нет! Нет! Нет! Лизка, будь проклята, воровка, марш искать сестру! И без неё не возвращайся! – и строптивая старшая дочь покинула дом.

– Пропадают деньги. А я тут при чём? Покупаю продукты, сдачу всегда кладу на радио, как мама велела, – плакала в кулак обиженная Лиза, шагая в сторону гаражей, – и сегодня купила хлеб, пересчитала монетки, сложила башенкой и положила, куда следует. Почём мне знать, куда они исчезли?

Она нашла сестру у гаражей и привела домой. Но мама не обрадовалась стараниям старшей дочери, – а только прошипела:

– Всё из-за тебя, чудовище! Младшая сестра из дома сбежала, а ей хоть бы хны!

– Мама! Я не крала деньги!

– Заткнись, обои рябои. На, читай! – мать сунула в руки дочери газету. В очерке рассказывалось о вопиющем случае непочтительного отношения сына к матери. Подсчитав, сколько он высосал из неё молока за период грудного вскармливания, притаранил два бидона к порогу и заявил: «Я с тобой расплатился сполна! Отныне ничего тебе не должен!». – Это ты, тварь неблагодарная! Уверена, ты точно также поступишь со мной! Только знай, когда я состарюсь, ты обязана будешь содержать меня!

Мама, мама, не ты ли цитировала Грибоедова: «Ах, злые языки страшнее пистолета!»? Не от тебя ли первой услышала: „Уж лучше грешным быть, чем грешным слыть“?

Да, мамочка, „напраслина страшнее обличенья“»[8].

Лилька праздновала триумф:

– Обхитрила! Обманули дурака на четыре кулака, а дурак послушал! Ха-ха-ха!!! – это была первая примерка лжи на детскую душу.

Что это? Удар под дых? Ампутация детского сердца без наркоза и с ноги выпуленного прямиком в мусорное ведро? Или скачки на нём, ещё живом и любящем, до брызг, дребезгов, до состояния тряпки?

С того самого дня Лизу обвиняли в воровстве все, кому не лень: в школе, техникуме, институте, на работе. Как будто именно тогда с неё была сорвана защита от злых оговоров и сплетен завистников

и наушников. Ей приписывали венерические заболевания, ссылаясь на знакомых венерологов из кожвендиспансера, по утверждениям очевидцев она стояла на учёте в психдиспансере, с ней запрещали дружить мамы приличных девочек, уверяя, что Лиза насквозь прогнившая и гулящая, принимает у себя и в себя толпу мужиков, живёт с ними за деньги и бесплатно не гнушается. И некому было укротить злоязычных, исполненных смертоносного яда. В ореоле бесславия за ней волочился шлейф из скверны и проклятий многие десятилетия, покуда жизнь не поставила всех на свои положенные места.

Для Елизаветы Бог Единый и Неделимый занял первое место. Во свете Его созидающей мощи чернота меркла, кукожилась, обращалась в прах, занимая нишу, предназначенную только ей. Что до кристально чистых судей, раскрывающих глаза окружению на падшего смерда, которым набили оскомину умопомрачительные подробности его личной жизни, – они так и застряли в поступательном развитии.

Пренизкоуважаемые, предлинноязыкие, вам больше не о ком судачить? В таком случае, оставайтесь на какашечном уровне, зависьте и дальше от горшков.

Фуфунюшки вам!

Здгасьте вам чегез окно!

Кто тырил деньги? На самом деле, кто? У кого рыло по локти в пуху?

Старшей – не поверили. Поверили младшей Лиле, которая отплясывала камаринскую на втором пиршестве вранья, когда мать созванивалась с сёстрами. Коллегиально решили выпереть Лизку на Кавказ на переплавку и перековку. Как воровку. И пришпандорить к пути истинному так, как это умеют горцы Северного Кавказа, не запятнавшие свои честь и совесть ни на войне, ни в оккупации. Строго. А к кому из сестёр? – к Инне, у неё малявка, присмотр нужен. Правда, у младшей из четырёх сестёр личная жизнь наклёвывается, сожитель в доме, не муж, да квартира однушка, но в тесноте, – не в обиде, на кухне – не в постели с Евой Браун! В подвале места и того меньше было, уместились же! Несколько лет в нём прожили!

Седьмой класс, четырнадцать лет, Лиза не поездом тыгыдычет – на самолёте летит. Сама. Ликовать бы, глядя на землю с небес. Только нет ни упоения, ни услады. Ей грозит учиться в Адыгейской автономной области среди адыгов, армян, курдов, черкесов, татар, лезгинов, укров, азеров и немцев. Девчонки Анишоара, Ляна, Стелуца, Снежана и пацаны Ион, Тудор останутся в Кишинёве, будут ходить в школу и, скорее всего, забудут её. Их привычные для слуха имена сменятся на Зулейху, Теймураза, Вано, Реваза, Вэлодэ, Дунэ, Лизэ. И кому, как не им, выпадет уникальная возможность дразнить иноземку: «Кукуруза-пэпушой, молдован дурак большой!». Чтобы не провоцировать, Лиза заранее забросала соперников шапками-перчатками и поклялась: «Буду учиться так хорошо, насколько позволят умственные силёнки. И постараюсь жить в чужом доме с тётей Инной, которую почти не знаю. А, да, ещё буду приглядывать за трёхлеткой». Летела, а в голове не укладывались дребезжащие мамины слова, которые отказывалось принимать сердце:

– Ты старшая в семье. Отрезанный ломоть, – а потом цитировала Горького, переиначивая на свой лад, – Ну, Лизка, ты – не мядаль, на шее у меня – не вяси, а иди-ка ты в люди.

– Мам, зачем тебе Горького подсебячить? Я – не мальчик. Я – девочка. Я – дочка твоя. Или нет? Мам. Зацепились бы мизинчиками и, хохоча, глядя друг другу в глаза, прочли клятву: «Ссор, ссор никогда! Мир, мир навсегда!» – и дело с концом! За что меня в ссылку?

Так бывает. Не каждая родившая женщина обладает душой, способной вместить в себя любовь сразу к двум детям. Существуют такие, для которых и один – балласт и ярмо. Только Божьи избранницы, многодетные мамы, любят каждого: младшего, пока не вырастет, заболевшего, пока не выздоровеет, вышедшего из дома, пока не вернётся.

У Моисея вместимость души была необъятной! Он, хромой и картавый, смог собрать вокруг себя целый народ и повести в земли обетованные! Не всё и далеко не всегда ему удавалось, но он взывал к Богу, и Тот не оставлял молений неуслышанными.

– Лиля, зачем тебе отвоёвывать и отдирать от меня маму? Знакома ли с декларацией о мирном сосуществовании? Или в пику вбила в мамину голову, что ты старшая, поэтому она должна подчиняться тебе? Мама призналась, если бы не уверенность, что первой родила меня, усомнилась бы в этом и поверила Лильке. – Мы посмеялись. А смешного ничего в этом нет! К чему эта пагубная стратегия?

Вначале Лилька гадила по мелочи: сопрёт монеты из коробочки из-под любимой Лизкиной больнички «Puppen-Doktor»[9], спрятанной далеко под ванной, сунет вместо них мятую бумажку и затаится, ждёт. Потом кофты, свитерочки, нижнее бельё, босоножки возьмёт из общей кладовки чистые отстиранные отутюженные, начищенные, изгваздает, изорвёт и схоронит с глаз долой. А Лизка шарится. Изведётся, каждую тряпицу на своей половине переложит-пересложит, – нету! Меньшая регочет:

– Посмотрите на неё, память отшибло! – и снова запихнёт, где сестра уже искала. Только Лиза не понимала этой недоброй игры, которую затеяла младшая. Когда старшая спала, Лиля всегда с шумом заходила в комнату и включала свет. Наслаждалась, когда будила. Если не удавалось, подходила близко-близко и прямо возле уха сестры начинала лязгать ножницами или подносила к носу что-то дурно пахнущее, наблюдая за реакцией. Животики надорвёшь! Подросла, её шутки стали более изысканными. Мама даст задание бельё перестирать, пальцем не притронется, сидит, телевизор смотрит, пускай Лизка корячится. Та и корячится полдня со стиралкой Ревтруд. Увидит маму из окна, заскочит в ванную, Лизку выпихнет и запрётся. Кто матери двери отворит? – Отгадайте! А «труженица» Лиля выйдет, обтирая лоб, и жалуется: «Целый день Лизку умоляла помочь, – валялась, лежебока-белоручка, баклуши била!» – мать поверит.

Протечёт у Лизы кровь на юбку сзади, слюнями изойдёт, но промолчит, не подскажет, – «а что, пусть позорится! Не у меня же!». На остановке с наскока пёрла на абордаж: «Почему ты смотришь на водителя, как проститутка?». А в салоне троллейбуса продолжала показательную порку: «Фу, какие у тебя толстые руки! Плечи, как у мужика, а грудей нееееет!!!».

Кого же ты мне напоминаешь, сестрица?

Да ладно, Лилька подросток. А отец?

Борис припахался домашним ОТК, руководил процессом: подслушивал телефонную болтовню, вставлял свои сальные комменты, не к месту и не ко времени, вскрывал чужие письма, присваивал себе кассеты с Высоцким и Битлами. Воровал в основном по-крупному, но и мелочами не брезговал. Он тоже демаскировал Лизкин схрон, и тоже прикладывал к нему загребушки. Как ни смешна была сумма, которую он там обнаруживал, монеты изымал: «Живёт за мой счёт, – мои!». Взрослый мужчина не засмущался залезть в детские «драгоценности» и присвоить себе стекляшки.

А потом случилось непоправимое и страшное. Духовная деградация. Борис переступил черту нравственности – продал свои ордена и медали. Папа… Мой герой… покатился водочной бутылкой по наклонной.

– Ты, стерва! – орал он, тряся за грудки жену. – Завела сберкнижку втихую за спиной! Я твой муж! Отдавай! Или убью! – и Софья уступила. Открыла новую сберкнижку на имя Бориса, разделив сумму пополам. Через десять лет после его смерти Лиля, разбирая бумаги в серванте, уронила выдвижной ящик. Из выдолбленного в нём углубления посыпались облигации Золотого займа СССР на сумму сто тысяч деревянных. Менять их было поздно. Вместе с обесцененными бумажками рассыпались по полу детские попрошайничества:

– Мама, хотим молока!

– Не подоили быка! Ишь, губы раскатали!

– Мама, хотим масла!

– Коза не напасла! А губы – не дуры!

… Хрусти, папирусом, коза…

… Не поперхнися, дереза… Не приятного тебе не аппетита!

Поезд обожратушек скрылся в выпуклой брюховидной туманности, проржавел и вместе с рельсами мамона сдан в металлолом.

А деньги продолжали пропадать. Если младшая сестра нашла тайник отца, то мать нашла Лилькин.

Учебный год близился к концу. Однажды, готовясь к домашке, Лиза обнаружила на столе письмо:

– Почерк мамы. Адресовано тёте Инне. Почему раскрытым лежит на столе поверх тетрадей? – Стала читать: – … деньги нашлись! Лиля собирала их на собаку! Бедная девочка так страдает от одиночества! Мы подумали и купили ей собаку. –

Ни извинений, ни какой-раскакой неловкости. Купили собаку воровке, а обгаженную даже не реабилитировали. Разрешили вернуться домой.

– Здгасьте вам чегез окно! Где вы сохнете бельё? В духовке на веговке, чтоб не стыгили воговки!

Да будет так всегда-всегда

Бывает, гора рождает мышь. В этом случае природа вынуждена отдыхать на мышах. Но бывает, в условиях дискомфорта, при остром дефиците кислорода и личного пространства, доставляя окружению мучения, из сора, из мусора внутри живого организма начинает созревать жемчужина. И, если её силком никто не выдворит, никто и не узнает о ней. Дискомфортно всем: среде обитания, откуда изымается инородное тело, и самому инородному телу, мешающему нормальной жизнедеятельности среды её обитания. И только при условии изъятия, жемчужина явит себя миру во всей красоте или уродстве, внеся гармонию или кошачий концерт во внешний мир.

– Я или она? – зверела Лилька, вцепившись в Лизкину гриву, повалив её на пол в куцей хрущёвской кухне и дубася головой о чугунную батарею.

– Ты, Лилечка, ты!

– Я или она?! – орала Лилька, которую бесило, что старшая не взывает о пощаде, а только прикрывает голову руками.

– Ты, Лилечка, ты!

– Я или она?! – когтями сдирала кожу на Лизкиной шее младшая сестра, – а та, уродина, разразившись наконец-то своею поганую пасть, заумоляла не волноваться, видите ли, у Лильки большой срок беременности и могут быть преждевременные роды.

– Я – не ты, недоносок, у меня выкидышей не будет! Я за твоими нахлебниками подтирать не намерена! – и, нависая над сестрой, придавив её громадным животом, вопила:

– Я или она, мама?! – и выворачивала ногти сестры наружу, а они не ломались: выгибались, отрываясь от ногтевой лунки, и не ломались.

– А-ха-ха-ха!!! А теперь иди в свой ресторан! Празднуй там свой вонючий день рождения! – Выбив из матери не единожды утвердительный ответ, с трудом разогнула колени, оставив сестру валяться, и указала на выход. Лизка поднялась, ухватившись за дверцу холодильника, и та распахнулась. Закрыть не смогла.

Софья подошла к холодильнику, отстранила от себя дочь и пнула в спину.

Лиза не успела выйти, – ей в голову полетели сырые яйца. Мама и Лиля одновременно прицеливались и забрасывали живую мишень снарядами. Когда промахивались, младшая собирала скорлупу с жижей с пола и размазывала по волосам и лицу сестры. А эта дура вела себя более чем нелогично! Дура, она дура и есть! Повторяла:

– Спасибо, это для волос полезно.

Ей не позволили вымыть и высушить волосы:

– Ещё чего! Горячую воду на неё тратить! – и мать перекрыла кран.

– Мама, можно холодной?

– Мама! Гони её! – и они выпихнули Лизу из квартиры в одних брюках и кофте по-брежневски с чувством глубокого удовлетворения и исполненного долга. Январь, злющий ветер и минус пятнадцать.

Это был третий Зомби Апокалипсис, участниками которого стали мать и две её родные дочери. Подобно сектантке «пред сенным ковчегом скакаше, дурью маямшися», Лилька исступлённо горячечно плясала. Победа! Рискуя жизнью ещё нерождённого ребёнка, между прочим.

Сейчас-то всё ясно. А тогда не было ясно ничего. Ничегошеньки. Ни хрена.

В жизнь девятнадцатилетней девушки вошли убежища на ночь, ночлежки, вокзалы, съёмные квартиры.

…Благодарение Богу!

– Мам, закрой глаза и слушай, я написала колыбельную, и мне хочется тебе её спеть.

Софья сомкнула веки. Лиза откашлялась и запела:

Придёт Беда – уйдёт беда,
Пребудет Божья благодать.
Я знаю, есть на свете Бог,
Он дал нам Сына и Любовь.
Да будет так всегда-всегда.

Софья закрыла лицо руками и разрыдалась:

– Как я могла! Как я могла быть такой жестокой! Доченька! – и они обнялись, примирённые Божьей Любовью.

Сладко. Мёд в уста, мёд в уши. Но сладким не бывает даже мёд. Послевкусие приходит позже. Это вам скажет любой сомелье. Чтобы обуздать, подчинить себе ситуацию, ей нужно дать имя. Именно так поступил Бог Отец, когда назначил первому Человеку в Раю наречь именами всё живое и растительное, съедобное и ядовитое. Были в словаре Адамовом слова «поле» и «брань». Но что за место – поле брани? Там, где обзывают и унижают детей, или дерутся за каждую пядь родной земли?

Лилька не желала мириться с приходами старшей сестры в квартиру, ставшей её вотчиной, отвоёванной с таким трудом у этой… и в очередной раз, воспользовавшись приёмом ниже пояса: «Если ты откажешься, я повешусь», вынудила мать продать квартиру и с дочерью, зятем, собаками и кошками ломанулась обживать тьмутаракань на бескрайних просторах России-матушки.

Вместе-врозь

– Встаньте по обе стороны! – приказал возлюбленный Бога Иедидиа. И они повиновались. Встали справа и слева от матери. Три женщины вопрошающе глядели на многомудрого Царя, восседающего на троне. Софья со страхом. Елизавета с надеждой. Лилия заинтересованно.

– Возьмите мать за руки! – приказал самодержец. И они снова повиновались.

Лиза взяла руку мамы и легко пожала, та ответила пугливым коротким пожатием.

«Сколько помню, ты чуралась своих обмороженных во время войны рук. Называла пальцы толстыми и уродливыми, – думала Лиза, – мамочка, для Бога они совершенны, прекрасны! Твои мягкие, податливые, уставшие и натруженные руки бесценны в лице Господа. Ты пеленала ими нас, маленьких, кормила из ложки любимой „маминой пушистой“ кашей, одевала и обувала, стирала одежду, чистила обувь. За сорок лет педагогического стажа принесла из школы и отнесла в школу горы ученических тетрадей, таскала тяжеленные сумки с покупками из магазина. Трудолюбивыми руками своими сажала, сеяла, поливала и собирала урожаи на маленьком огороде, и одерживала победы в поединке со зловредными вороватыми кротами… мамины руки это…» – и вздрогнула от резкого возгласа:

– Тяните за руки! Каждая к себе! –

Лиза поднесла мамину руку к губам, поцеловала и отпустила. А Лиля рванула мать к себе.

– Мама, я люблю тебя! Знай это, что бы ни случилось! Только живи! Живи! – кричала Лиза в трубку и плакала. – Каждое воскресенье я заказываю Службы за твоё здоровье. Ты только представь: за тебя молится весь приход! Все миряне, монахини и священники!

– За меня, за одну? Неудобно беспокоить приход.

– Удобно, мамуля! Перед Службой стоит целая очередь, чтобы заказать прошения о здоровье или за упокой.

– И ты стоишь?

– Конечно!

– И что дальше?

– Перед началом воскресной Службы священник читает: «Сегодня мы просим защиты и покровительства Матери Божией для Анны, Софьи…».

– А как прошения передаются? Это же не материальные предметы, которые можно потрогать.

– Мамуля! От сердца к сердцу, от души к душе – любовью!

– Доченька! Теперь понимаю! Я это чувствую! В это время у меня ничего не болит!

Лиза писала маме длинные письма. Те, что были короче десяти листов, Софья называла открытками: «Доча, пожалуюсь, на почте такие непорядочные люди работают: все письма от тебя приходят распечатанными».

„Работники почты“… доверчивая моя мама. Внутрисемейный подряд ОТК работает бесперебойно. Security круглосуточно на посту. Но мне нечего скрывать. Пусть читают, главное, чтобы письма отдавали тебе, а не предавали огню.

– Мамуля! У тебя скоро юбилей! Поздравляю тебя заранее, жди посылку!

Лиза решила на мамино восьмидесятилетие сделать нужный полезный подарок.

Деньги? – отнимут и потратят на себя.

Платок? – отнимут и будут носить сами.

Конфеты? – съедят, не подавятся и спасибо не скажут.

И она придумала! – Большое увеличительное стекло, чтобы маме с её глаукомными глазами было легче читать. И… памперсы! Уместно ли говорить, что Лизины фантазии осудили на работе? Реакция Body Guard-ов была предсказуема – бешенство. Малахольная мамалыжница в своём репертуаре!

Но главное, мама взахлёб рассказывала, как первый раз за год вышла за пределы двора, дошла до сельской библиотеки и подарила Лизину книгу.

… Благодарение Богу.

– Мама! Со снегом тебя! С зимой! Я шла утром, кругом белым-бело, красота неземная. Вижу, два камешка на снегу, как двоеточие на белом листе бумаги. Зацени четверостишье для педагогов:

Двоеточье на белом, на снежном.
Точка – ты, точка – я. Вместе-врозь.
Но, пронзая пространство насквозь,
Между нами пульсирует нежность.

– Да-да! Пульсирует!
… Благодарение Богу!

– Лиза! Лиза! В центре Кишинёва снимали «Играй, гармонь, любимая!». Это же недалеко от твоего дома! А я реву и вглядываюсь в экран, родные лица выискиваю. Не нашла… А народ на центральной площади веселится, пляшет, заливается: «Молдованка хороша, веселей поёт душа!». И про национальное молдавское блюдо вспомнили. И так мне мамалыжки захотелось.
– Мамуля, я передам через знакомых! Полакомишься!

– Лиза, рада тебя слышать! Чудо! Телефон рядом! Лиля его не унесла с собой! Она не разрешает мне с тобой общаться, потому что я плачу.
– Да, мама, она написала, что из-за меня у тебя был гипертонический криз, и тебя увезли в больницу.
– Лиза, я старенькая, поэтому болею. И плачу, потому что старенькая. Я завишу от неё. Она пригрозила, что откажется делать обезболивающее, если я не буду слушаться. Были бы у меня крылья… улетела бы к тебе.
– Мам, а мне снилось, что я к вам прилетела. Рядом с тобой кот, а от окна тропинка в лес.
– Выдумщица. Откуда знаешь…

– Лиза, я связала тебе лапоточки. Тебе передали?
– Спасибо, передали. Они разной длины, так надо?
– Да, один большой, другой маленький. А клубочек есть?
– Есть!
– Из-за глаукомы ослепла, как моя мама, вяжу на ощупь. Если короткий придётся впору, распустишь длинный. Если длинный, довяжешь. Клубка хватит.

– Мама! Это о нас с тобой и обо всех разлучённых, слушай:
Два сердца, согретые в Божьем.
Услышь полнозвучье, услышь.
И нет расстояния больше –
Ты рядом со мною стоишь!
… Благодарение Богу.

– Алло?
– …
– Алло, мама!
– …
– Алло, мама! Это я! Лиза! Слышишь меня? Мамочка?
– Молчание. Шорохи. И мобильник шлёпнулся на стол. После очередного «алло, мамочка!» смех усиливался, затем стихал, разговоры возобновлялись, опять позвякивали ложки, приглушённо стучали о стол чашки. Лизе казалось, она видит телефон, из которого кричит её голос, видит уютную кухоньку и накрытый белой скатертью стол, булочки горкой на широком блюде, посередине варенье в прозрачной вазочке, сахарница, блюдца и пузатый заварной чайник. Младшая сестра, племянница и внучка, три родных по крови тела. Три чужих по духу души. Лиза касалась плеч, спин, рук каждой из них и орала в уши:
– Мама! Я тебя люблю! Мама, где ты! Что с тобой? Лиля, передай трубку маме! – и младшая не выдержала. Нажала «отбой».
Больше Лиза никогда не говорила с живой мамой. Не услышала живой мамин голос. Позднее узнала, что последнее письмо мама держала в руках.
… Благодарение Богу.

За длинным столом умостилась Софья и шинковала хрусткую белокочанную капусту. Лиза присела напротив, наблюдая:
– Для дедушкиных зайчиков? Давай, помогу. Ух, ты! А что это за капуста чудн*ая*: с двумя кочерыжками?
Софья подняла глаза на Лизу:
– А как же, у меня ведь две дочери.
Мама, снись мне. Снись. А я молиться о тебе буду. И всегда буду помнить, как называла меня родной по духу. А родных в Едином Духе никто никогда не разлучит.

Яйца курицу не учат

– Хм… хм… Простите…

– Слушаю тебя, Софья!

– Извините, не знаю, как к Вам обращаться… с чего начать…

– Смелее, дочь Моя. Внимаю тебе.

– Душа болит… Вы знаете…

– Ведомо.

– Должно быть, Вы знакомы с моей старшей? Прихожанкой Вашего Храма. Молится, поёт, заказывает Службы, стихи Вам посвящает.

– Елизаветой?

– Да! Когда ей было семь, заболела менингитом. Головные боли, рвоты, судороги, температура под сорок. Лежала, бредила, а тут встала и с края дивана рыбкой сиганула в пол. Прыгнула, просите, как в бассейн, с бортика. Первая бригада «Скорой» поставила точный диагноз, врач потребовал срочной госпитализации и пункции спинномозговой жидкости. Но я…

– Испугалась?

– Мгм… отказалась. Подписала бумагу.

– Рассказывай, Софьюшка. Всё, как есть. Поди ко Мне. Вот так.

– Два года Лиза мучилась головными болями и судорогами. Температура – тридцать семь и пять, не выше, после рвоты – ниже тридцати шести. Врачи «Скорой» диагностировали отравление… не могу…

– Не плачь, детонька Моя.

– Лиза говорила, тошнит от головной боли, – а я, глухая тетеря, знай себе, промываю. Три литра воды с марганцовкой! Что наделала!

– Девочка.

– Промывала-промывала, желудок иссушила. В результате Лиза ослепла на один глаз. Мёртвый, пустой, из него даже слёзы не текли! Что только не предполагали: сходящееся косоглазие, расходящееся, врождённая слепота, носить очки, запретить носить.

– А что Лиза?

– Всё ей шуточки! То полководцем Кутузовым себя назовёт, то адмиралом Нельсоном! А головными болями страдала.

– Сильна духом. Знай. Замироточил глаз. Первая слеза была густой и вязкой. Сам узрел! Слабовидящий, да живой!

– А она?

– Смотрела на Меня, молилась, плакала и сияла!

– Скажи, если бы я позволила сделать пункцию, спасла бы дочку?

– Софья, история не терпит…

– …сослагательного наклонения… Да-да… если бы да кабы, да во рту росли грибы… Как простить себя, что наказывала за леворукость, обзывала ведьмой, пугала страстями-мордастями про костры инквизиции. Избивала!

– А Лиза?

– Старалась, я левую руку привязывала к телу, она плакала и правой рукой писала. Посуды перколотила без счёта! У неё неврозы, а нам каково? Позорище! В семье потомственных учителей – левша!

– Приняла наследство от твоего отца.

– Даа… Вот ведь… Я не знала, честное слово!

– Верю. Ибо, знаю.

– Сидит, виноградину на просвет часами разглядывает. Лыбится. Извините, улыбается. Или белый налив. Знаете?

– Как не знать про яблоко! Ведомо!

– Или встанет столбом, природой любуется! И как запищит! Извините, запоёт. А у меня времени нет на красоты ваши!

– Слова… Словечки… Словеса…

– Сейчас понимаю: любовь во мне будила. Ей Борис вбивал: «От горшка – два вершка», «Яйца курицу не учат», – а она про любовь, как дятел. Нет мне прощения!

– Да, Сонюшка, саму себя простить сложнее сложного. Расстояние от сердца до головы коротко, да бывает длиннее жизни.

– Как преодолеть этот путь, Отче?

– Не кори себя, не самоедствуй. Помогай доченьке своей. Не горькими травами стези устилай, дыханием надежды. Свети звездой путеводной.

– Не подведу!
– Будь благословенна, жено, давшая жизнь!
– Господи… аминь…

Panis Angelicus

Panis Angelicus[10], – пела Елизавета, стоя у органа. И Хлеб живый, сшедший с небес, наполнял её Божьей благодатью.

– Fit panis hominum;
Dat panis cœlicus.[11]*–*

Восхваляя Сына Божьего, вспоминала дедушкин хлеб от зайчика:

– Деда, ангел мой, как тебе там, на небесах? Слышишь ли меня? Ты научил меня верить в чудеса и торжество справедливости, читал сказки и гладил по голове. Ты так и умер с книгой сказок в руках.

Дедуня…

Она мечтала, когда вырастет, сошьёт себе такие же нарукавники, какие были у него, научится аккуратно *кунать* перо в *чернилку* и старательно писать на листочках в полоску. А ещё она попросит на день рождения, чтобы деда подарил ей подтяжки для брюк и носков, такие же, как у него. И тогда с неё не спадёт юбка, а носки и гольфы будут натянуты, – и… опа! – ни единой морщинки!

«Хадательство», – выводил Иван на листе.

– Софьюшка, подскажи, дорогая, как правильно: «хадательство» или «ходательство»? – Поворачивался к внучке и спрашивал, – А ты как думаешь, Лисонька?

– Деда, мне это слово не нравится, оно злое, ругательное. Подходила мама, вытирая руки о передник:

– Папа! Сколько раз вам нужно объяснить, чтобы вы запомнили? Дитя малое!

– Ты учительница, доченька, помоги, – пододвигал Иван к невестке далеко не первый листок с прошением о реабилитации. И она красными чернилами по-учительски зачёркивала неправильные буквы и исправляла на правильные.

Послевоенные годы. Вождь и отец всех времён и народов умер. У М Е Р. Культ личности Сталина, продлившийся вплоть до 1956, был официально развенчан на XX съезде КПСС, за год до рождения Лизы.

– «Ход*а*тайство», папа! Пора бы запомнить!

Это сейчас, в современном техномире написать письмо, поставить электронную подпись, «прогуглить» адрес организации и отправить по электронке «на мыло», или «Емеле», как шутит молодёжь, – пара пустяков! Ксерокс не существовал, каждое письмо нужно было писать заново, идти на почту, выстаивать очередь и отправлять заказным с уведомлением. И ждать долго, терпеливо, смиренно. Потому что правда одна. Потому что она придаёт мужества. Потому что его дети не достойны называться детьми репрессированного. Детьми вора. И он прилежно складывал буквы в слова и описывал снова и снова инцидент, из-за которого был арестован: «Мною, (таким-то, таким-то), был продан уголь на 70,00 рублей (семьдесят рублей 00 копеек) поставщику. Выписана квитанция №… Покупатель не расплатился, вследствие чего возникла недостача. Себе государственных средств не присваивал, несмотря на трудное семейное положение», – и зачёркивал последнюю фразу, – у всего народа было тяжёлое положение.

Иван взывал к справедливости, как библейская женщина. Лжи много и продраться через её флажки тяжко, но надо. Муситы[12]! И он не побоялся выйти на своё поле брани, чтобы одержать Свою Великую Победу!

Так было. Тогда…

Ничего этого Лиза не знала. Для неё дедушка Иван – терпеливый многомудрый наставник, научивший девочку правильно собирать мусор на совок, чтобы на полу не осталось ни крошки, умываться, довольствуясь одним стаканом воды. Что выбешивало маму. От него знала, что посуду, в которой была еда, грех называть грязной. Вместе с ним прихлёбывала жгучий кипяток, пропуская в нутро живую огненную душистую энергию! И та стремительной горной лавиной низвергалась в неё, растекаясь и разветвляясь по кровеносному руслу! – «Любое дело нужно доводить до конца, – частенько повторял он, добавляя, – не мудрено начать, мудрено закончить». Указывая на папу, который решил научиться смачно плеваться через передние зубы, беззлобно произносил: «Плевако». А мама неистово доказывала, что он применяет слова, не понимая их смысла: «Плевако Фёдор Никифорович – русский адвокат и юрист, судебный оратор!». Он, смешно покряхтывая, засунув руки глубоко в карманы, делал потягуси, а Лиза его копировала. И все смеялись, а он не обижался, потому что смеялись дети!

– Хочешь, научу тебя говорить по-французски? – с хитринкой в глазах спросил деда. –

А кто ж откажется? Потом во дворе все обзавидуются! Конечно! Вот бы ещё запомнить, как следует, и не перепутать!

– Ну, дедуля, давай!

– «Па нтеля пасээ», – что значит?

– Не знаю… – я французский не учила…

– Тогда: «Мари яль он жнээ!» – сказал и хихикает.

– Деда, это точно по-французски?

– А ты попробуй, угадай! Не получится, завтра открою секрет.

Ох, и намучилась она, повторяя про «нтэля» и «яль он» на все лады! И случилось маленькое чудо, великая радость открытия, когда до неё дошёл смысл второй фразы: «Марія льон жне»! – «Мария лён жнёт»! Это по-украински! Деда похвалил внучку, наградой тому было освобождение её от мук отгадывания первой фразы: «Пан теля пасе» – «Пан телёнка пасёт»!

Лиза помнила, как во время прогулки деда резко останавливался и доставал из кармана ингалятор, подносил ко рту и одновременно с нажатием кнопки делал вдох. У Елизаветы появился подобный после хронических бронхитов с астматическим компонентом, но пение в церковном хоре соделало лёгкие чистыми и избавило от кальцинатов. Никто не знал, а его никто и не спрашивал, испытывает ли он неудобства, живя в одной комнате с девочками: одну ночь с ним спит Лиза, другую – Лиля. У него мёрзли ноги, но он никогда никому не жаловался, не требовал тёплых носков или грелку. Лизе он доверил свою тайну. Пододвигал под одеялом к её горячим пяткам свои ледышки, и она их согревала. Однажды перепутал, кто рядом, дотянулся до ног девочки, а Лиля его лягнула.

– Прости, прости, внученька, дедушка старенький, больше не будет.

А под подушкой у него лежал скреплённый с проволочкой наушник. По ночам дедушка слушал радио, а в шесть часов с первыми сигналами поднимался. Смешно называл стул – «стул», арбуз «г*а*рбузом», а мама сердилась на него. Для мамы было основополагающе, фундаментально говорить правильно, не коверкая язык. «Мам, ну, чего ты… – мысленно обращалась к ней Лиза, – помнишь, ты спросила, был ли дедушка хорошим, я ответила: „Он был ангелом, ничего не боялся и любил, как никто не умел в нашей семье“. Ты удивлённо вскинула брови, пристально взглянула и сказала: „Откуда ты знаешь? Я тебя этому не учила“. Да, мамочка, дети весь мир воспринимают не умом, не ВУЗовскими знаниями, которых у них нет, а всем существом. Сердцем, которое выходит за пределы маленького тела, через каждый пальчик, глаз, ушко. Сердце ребёнка великое и милосердное на кончике ещё непослушного языка, но как старательно выговаривает: „Я теба лубу, баба“».

Дедушка-мальчик ко всему относился серьёзно и внимательно, но умел многое обратить в шутку или игру.

Именно это уникальное свойство стало чудом и откровением для Бориса, потерявшего в войну семью.

Батя!

Война для Бориса закончилась в Австрии. – Домой! Домой. А где дом? Папа, где ты? Где сёстры, мать. Живы? Я? – вот я: жив-здоров, грудь в орденах, не ранен, не убит. Контужен был, – так, ерунда. Был, да сплыл. Готовился к участию в Параде Победы на Красной Площади, да заглохла старушка полуторка: ни с толкача, ни с буксира, ни с горки. Встала как вкопанная! Всю войну прошла, а на Парад Победы постеснялась. Сам-то причепурился и её выкупал, вычухал, осталось выкрасить да выбросить. Одно слово, *жінка*[13]. – Растёр кисти. – Привыкли руки баранку крутить. Ничего, заживу, как человек, будет у меня своя коняга, объеду на ней весь белый свет, как говорится, мир посмотрю, себя покажу.

Дорога с войны для победителя – овеяна славой и усыпана цветами. Дорога с войны – кровоточащая память, которая не зарубцуется десятками лет мирной жизни. Для Бориса – длинная дорога в никуда. Бесконечная. Перед ним – бескрайняя Родина! На любой станции выйди и пускай корни в землю.

А состав шёл по шпалам, знай себе, постукивал. Вроде соглашался, а вроде и спорил. Слушал мысли бойца в вагонном тамбуре, а тот курил и тяжко непобедно вздыхал. Из соседнего вагона звенел смех, да такой задорный, заливистый и говор родной, знакомый. Так это ж свои, хохлы! Закашлялся. Стал прислушиваться, но не все слова понимал:

– Ви знаєте, куме, оце був в зоопарку і бачив яка!

– І як як?

– Ну як як… Як як як[14]… – Га-га-га! Гы-гы-гы!

– Ви знаєте, я бачив Оку!

– І як Ока?

– Ока… Ока як Ока[15]… – Го-го-го!

– Смешно. А я українську мову[16] подзабыл… Только про козинячу смерть от Сашка: «Нагадали козі смерть, де не ходе, то все пердь»[17].

– Ось, ось, слухайте, шо мы бачилы[18]: по полю как угорелый, представляете, носится хлопчик, беленький совсем, воздушного змея запускает!

– Годі тобі[19]…

– Да! Да! Сам склеил! А мы что, рыжие? Нам тоже охота змея в небе за верёвочку подержать! На силу догнали! Подбегаем, а это не хлопчик! Представляете? Это дедусь!

Бориса передёрнуло. Он вздрогнул всем телом, схватился за горло, за сердце, хватая ртом воздух: «Отец. Папа. Не может быть». Ноги подкашивались, он их с трудом переставлял, медленно приближаясь к компании. «Вот зубы мне в задницу – под бомбами не так страшно!». Завидев военного в орденах, хлопцы, девчата повскакивали с мест, принялись пожимать ему руки, хлопать по плечам, лезли с поцелуями, объятиями, а он не мог разлепить губы, чтобы задать один вопрос! Всего-навсего один! Кашлял, тёр глаза, кивал и молчал. А потом по слогам, как будто шаг за шагом вступал в ледяную воду: по щиколотку, по колено, вот уже вровень с ременной бляхой. Жгучим холодом сковало солнечное сплетение, сердце:

– Кто… из… вас… рассказывал… про… – и разрыдался. Они всё поняли. Послевоенное поколение отличается от нынешнего. Радостью, верой в светлое будущее, дружескую поддержку и сострадательное милосердие к нуждающимся в помощи. Когда и хлеба краюху пополам, и вшей портошных кормить сообща, когда в огонь и в воду, на смерть за Победу коктейлем Молотова фрицев шугать, и в разведку со спокойной душой. Потому что не предадут! А потім[20] и фронтовую сорокаградусную соточку. Эх! Первая колом, а вторая соколом! Можно и ещё плеснуть. И потом ещё накапать. До рисочки.

Вот рисочка у каждого своя…

А тут счастье на голову свалилось, и лица родные, а родным можно всё рассказать. Всё. И про козу.

Боречка плутал по лесу, сам не знал сколько, пока не вышел на просеку. Деревья, ясное дело, прятали его от самолётов, но небо над головой, как лёгкие, полные воздуха. «Эге-ге-геей, небоооо! Ты слышишь меняааа?», – и он зашагал, развернув плечи, не прячась, не пригибаясь, уставший бояться подросток.

Вышел к хаткам, сгрудившимся у небольшого озера. Над дверью одной из них прибита табличка: «Сельсовет», под ней от руки: «Комендатура». Борис постучался и вошёл.

Кем были эти люди? Военные? Гражданские? Подростку было важнее, что его не прогнали взашей, не убили, а накормили, напоили, одели, обули, спешно выправили бумаги. Наутро, сорвав табличку, заперев на крючки внутренние деревянные ставни, перекинув дужку навесного амбарного замка через кольца, заперли наружную дверь и оставили осиротевшую деревеньку. – Выступаем! – Наконец-то кто-то принял ответственность за его жизнь, проявил отцовскую заботу, взял над ним командование, и всё стало приобретать ясные очертания.

Борис был откомандирован и сдан под расписку в аэроклуб Чернигова на курсы самостоятельных прыжков с круглым десантным парашютом с минимальным управлением. Там сдружился с Сашком, таким же рудим и веснянкуватим[21]. Сестёр потерял, зато брата обрёл!

– Ну, что, Сашок, мы к небу, небо к нам? – толкал друга Борис.

– Дааа, с нашей земли – в наше небо! – и тихо, чтобы никто не слышал, друзья навек чокались кулаками, – За тех, кто в стропах!

Они мечтали нырнуть в небеса, прочувствовать свободный полёт, испытать кураж, волнение, адреналин, силу и уверенность.

На курсах заучивали так, что отскакивало от зубов: «Высота прыжка от восьмисот до тысячи двухсот метров. Раскрытие парашюта – через три секунды вытяжным кольцом или страхующим прибором. Время снижения под раскрытым куполом – пять минут».

Сашок, настоящий друг, прыгнул первым и полетел камнем к земле. Следом – Борис.

Приземление с десантным парашютом на сведённые вместе ноги жёсткое, но для Бориса первый прыжок был удачным. Он смог! А вот для Сашка война закончилась. Он лежал на мураве лётного поля, как живой, тихий, и небо отражалось в его глазах. Борис отстегнул стропы и побежал к другу. Он сам вызвался переложить тело на брезентовые носилки. Ухватился за плечи и не почувствовал костей. Руки стали мокрыми от горячей крови, хлынувшей из-под гимнастёрки, кожа рвалась, как ветошь, через разрывы вываливалось кровавое месиво из внутренностей и костей, которые были раздроблены так мелко, что тело друга стало мягким, подобно плюшевой игрушке. То, что раньше было другом, растекалось и расползалось с носилок, и никак не желало принимать форму тела.

– Надо было сразу в мешок, – раздался над головой голос командира. Борька свалился и, катаясь по земле, вопил:

– Аааа! Дружок-Сашок! Тебе мешок!

Борис не смог больше прыгать. Даже под угрозой ареста, расстрела, трибунала, по законам военного времени, как дезертира и предателя: «Убивайте! Не могу!».

Душа Сашка впервые возносилась в небо без страховки, и её невесомый полёт никто и ничто не могло ни омрачить, ни остановить. Он летел домой.

Борис провалялся в госпитале при аэроклубе, по выздоровлении его отправили на курсы по вождению автомобиля.

– Я не сирота! Не сирота! – повторял и повторял, подъезжая к нужной станции, обращаясь к женщине-проводнице, и по дороге от железнодорожной станции, приветствуя жителей городка, и подходя к дому, в котором жил дедушка-мальчик, папа, безоговорочно верящий в чудеса!

– Батя…
– Боренька, сынок…

Лиза не знала. Никто не знал, что воспоминания дедушки, пережившего лагеря, папы, прошедшего войну, мамы, испытавшую оккупацию, станут уникальными свидетельствами очевидцев истории страны Советов. Не все, далеко не все из них сумели адаптироваться к мирной жизни, отягощённые скорбным скарбом смертей, удушливой гарью пожарищ и друзей под наскоро сбитыми крестами, и без, в объятиях чужой земли. Не каждому удалось плавно погрузиться в безмятежность подобно младенцу в крестильную воду, или хотя бы ножу в мягкое податливое масло. Зажить трудовыми буднями под мирным небом, свободными и независимыми, созидать, дышать радостью, пестовать деток и не сепарировать окружающих на друзей и врагов, джигитов и не джигитов, с кем пойдут в разведку, а кого без суда и следствия поставят мордой к стене. Их души, закалённые невзгодами, стали острее булатной стали, сердца – прочнее кремня! Народ победитель, а на деле – мальчики и девочки, мужчины и женщины, выработавшие в себе стойкость, мужество, явившие героизм и бесстрашие на полях сражений.

Самостійная Україна стала Незалежной[22] 24 августа 1992, над ней взвился жовто-блакитний[23] стяг. А Молдавия, ставшая Молдовой, 27 августа 1991 сменила кириллицу на латиницу, и в лазоревой выси её полощется tricolor[24]. И ученики лицеев удивлённо слушают, что Молдавия входила в состав пятнадцати братских республик.

Матка! Курки! Яйки! Млеко!

…разбитые сердца и есть источник нашей силы,
нашего понимания, нашего сострадания.
Сердце, которое никогда не было разбито,
стерильно и чисто, оно никогда
не познает радости несовершенства.
Филлис Шлоссберг

За окном перечирикиваются воробьи, переговариваются люди. Жара не проснулась, дышится легко. Воспетые великим Пушкиным мухи не досаждают вниманием. По-весеннему тепло. Мужчины стучат костяшками домино. Девочки катаются на качелях. Мальчики пинают сдувшийся мяч и нервируют соседку с первого этажа, которая сторожит свежевыстиранное бельё, заодно и порядок во внутреннем дворе.

А по телеку «Белое солнце пустыни».

– Петруха, влюбчивый дурачок, молчи! Под паранджой Абдулла! – заливалась слезами Лиза. Но балбес, наивный неслух, как глухой тетерев на току: «Гюльчатай, открой личико». Был Петруха – нет Петрухи.

Бог Отец и Его Сын знают, когда бьют. Когда убивают.

– Убью гадину! – рвал глотку Борис, пытаясь на костылях догнать старшую дочь. Та успела заскочить в детскую и провернуть защёлку. Возможно ли малышке-защёлке с подружкой-стекляшкой соперничать с металлом костыля? Сюр! Нонсенз! Но Лизка об этом не знала, зелёная была. Неопытная. К полу приросла. Застыла перед запертыми дверями, как перед вратами ко спасению ото всех бед. Солнце лупилось лучами в окно, пытаясь предостеречь, пеленало-окутывало светом девичью нескладную фигурку, желая увести на безопасное расстояние от двери. Подвывало ветру, кричало воробьиными голосами:

– Смотреть в лицо собственному страху – похвально, но не запрещено прикрывать лицо руками! Зажмурься, детка! Моргни хотя бы!

Но она, упёртая, стояла. Шатаясь, стоял и он. Отец и дочь, по разные стороны двери, по разные стороны линии фронта.

Борис видел размытый ненавистный силуэт, бесясь, что вставил непрозрачное рифлёное стекло. Тот, кто мерещился ему, куражась, исходил ядовитой слюной, крутил у виска скрюченным пальцем, строил омерзительные гримасы, выбивал копытами чечётку. И рос, рос как на дрожжах. Мгновение, и он заполонит всё пространство собой, и несдобровать одноногому калеке.

Борис упёрся на левый костыль. Прицелился правым.

– Бей! Стреляй! Дерьму нет места на земле! Врагам нет пощады! – орало в нём. И он подчинился, чётко исполняя приказ.

Мощный резкий удар. Дверное стекло разлетелось вдребезги. Осколки влетели в комнату врассыпную, как снежинки в метель, иссекая, полосуя лицо девочки в кровь мельчайшими злыми звёздочками, впивались в кожу, оседали в густых косах, целуя, ища приюта в широко раскрытых глазах.

Боец Красной Армии Борька, семнадцати лет от роду, не убоялся расстёгнутой до пупа вражьей куртки с закатанными по локти рукавами. И перед упёртым в немецкое поганое брюхо автоматом не струсил, не дезертировал с поля боя, но вперился в тощего Ганса стеклянными ненавидящими глазами и орал:

– Тыыыыы! Мрааааазь! Отродье! Фашистскый выб**док! Убьюуууу!

В соседней комнате Софью сотрясал озноб. Война? Не закончилась?!

– А-а-а… Нишкни! Враг. В доме, – схватилась за голову. Затаилась: что-то тяжёлое грохало, стучало и звякало об пол. Она видела его, пьяного, ввалившегося в хату, с холёной, лоснящейся мордой, автоматом, в кованых сапогах, вытянувшего загребущие руки перед собой. Она слышала. И его слова разрывными пулями вспарывали нутро:

– Матка! Курки! Яйки! Млеко! Russische Schweine! Schnell[25]!

Они: мама и четыре сестры – семья крестьянина-красноармейца, беспартийного, ушедшего на фронт рядовым обоза прямо из родной мазанки, стены которой отец поднимал сам: замешивал штукатурку из конского навоза, глины и песка, сбивал из тонких деревянных длинных реек ячеистую решётку. Девочки помогали: по всей станице собирали конские лепёшки. Но кого этим разжалобишь? Северный Кавказ под немцами. Окна отчего дома выходят на центральную площадь, где вешают и вешают, и устали не знают! *Они* там и сейчас висят. Но сестёр с мамой выдворили в подвал рядом с избой, который семья сообща и споро выкопала и укрепила до войны. Соне двенадцать, Зоя, Нина – старшие, Инну и подростком-то не назовёшь – мала совсем. Не касаясь сединой волос цвета вранова крыла, годы лишений взимали с детей свою горькую беспощадную мзду: плотно сжимали губы, морщили лбы, глубили межбровные складки, опускали уголки рта. Детские глаза, ясные бусины, становились беспросветно-смоляными от бессилия и сострадания, видя, как пленных красноармейцев гонят по бывшей Советской, а станичные выбегают, кидают в толпу, кто что может, воют и выкрикивают имена родных. Мать Лилия, известная в станице учительница русского языка, девчонкам строго-настрого приказала сидеть и не высовываться: среди односельчан полицаи, ищейки. Чтобы немцы не отняли у них последнее, высоко в горах в лесу посадили очистки, картофельную кожуру, и те дали клубеньки! Вот радости было в семье! А как-то пришли на огородик и содрогнулись, увидев убитых партизанами мёртвых фашистов. Даже бездыханные застывшие тела врагов сковали страхом девочек. Перед войной в школе учили немецкий, и Соня хорошо его знала, но отказывалась говорить на языке фашистов от омерзения и чувства вины.

Звон стекла и крик дочери вывели её из оцепенения. Оттолкнув пьяного мужа, дёргавшего двери непослушными пальцами, отомкнула замок, подскочила к Лизе:

– Что с глазами?

– Печёт!

Приказала:

– Плачь! Слезами вымоет!

И, смешиваясь с кровью, они потекли по щекам, спасительно увлекая за собой осколки.

Память, ах, память, тебя не стряхнуть с плеча, как перхоть…

– Из четырёх участников этой трагедии живы только Ты, Господи, да я, – вздохнула Елизавета. – Не будь Тебя, была бы слепа. – Привстала, скривила рожицу отражению в зеркале. – Привет. Слёзки оставь плаксам. Дай рассмотреть тебя. Ну-с, что очевидно: глаза цвета ёлки. Веки покраснели и припухли. Фе! Но, мадам, ни одного шрама, ни одного пореза ни на лице, ни на шее.

Качели

– С лица воду не пить, – погрозило пальцем отражение. Лиза согласно кивнула. Вооружилась ручкой и выудила лист из папки:

– Итак, уважаемая палочка-выручалочка, послужи-ка мне верой и правдой, – и, шмыгая носом, вывела: «Качели». Разделила поле надвое, слева написала Личины «–», справа Лики «+». Из-под руки на лист скользнул один, следом другой маятник. Они хаотично раскачивались, Лиза провела между ними линию, соединила шары и автоматически поставила точку. Та зашевелилась, вытянулась вверх-вниз, вправо-влево и превратилась в мультяшного человечка. Лиза подмигнула ему и усадила на перекладину:

– Два чужих шарика на подвесах встретились и стали маятником-папой и маятником-мамой, а ты – их чадо Ч. Сиди посерёдке. Да следи, чтобы планку не перекашивало. Это важно. – Человечек кивнул, умостился поудобней, ухватился руками-палочками за нити-пуповинки и выжидающе поднял голову, стараясь вникнуть в суть.

– Абдулла, носитель зла, нелицеприятен. Петруха, олицетворяющий доброту, лицеприятен. – Ч заёрзал на жёрдочке, не понимая, о чём речь.

– Я о добре и зле, и о сюжете фильма! – пояснила Лиза, – Обоих лицезреют. Обоих уличают и обличают. Одного, чтобы вывести на чистую воду. Другого – оболгать, обдурить, объегорить. У первого – личина, у второго – лучина. Антигерой – лицемерный, двуличный, с манией величия. У героя – лик и величие. Его возвеличивают, его величают. – Лиза глянула на Ч. Тот сидел смирно, свесив ножки-палочки. Затаились маятники. Качели не двигались.

– Объединённые перекладиной, два маятника, мама и папа, стали едиными, стали качелями-колыбелями. Если недвижимы, ничего не происходит: ни хорошего, ни плохого. Ни рыба, ни мясо, ни соль, ни масло, ни хлеба, ни зрелищ. Состояние овоща в глубокой коме. Но! Стоит только тебе, Чадо, качнуться вперёд или назад, всё оживёт: и зло, и добро! – человечек кивнул.

– Любое слово, действие, любой поступок приводят качели в движение. Так и живём: рыдаем-хохочем, спим-бодрствуем, обнимаем-отталкиваем. И всё чего-то не хватает, и пустота в утробе аж звенит, как старый пятак в жестяной банке. Но Тот, Кто наделён полномочиями запускать механизм, Тому и останавливать его. Станция «Заходи» исключительно Его повелением сменяется станцией «Вылезай».

Меня били. Сына Самого Бога тоже били по ланитам, заушали. А Он? Он нёс Крест. Женщиной, отирающей кровавый пот с Его святого безгрешного лица, была не я, а Вероника, которая бросилась к Нему, упавшему. Поила и шептала, шептала слова любви и утешения. И не устрашилась быть битой, або убитой. Любила. И узрели осторожные и трусливые, что сострадание сильнее ненависти, любовь превыше страхов и предрассудков. – Человечек отпустил нить, протянул руку, указывая на Лизу.

– А что я? Я ничегошеньки не знала о Нём и Его страданиях. В своём безбожно раненом недолюбленном детстве, благодарение Богу, Он всегда был рядом, оберегал и ценой Своей жизни спасал от тяжких увечий, смерти и расправы. Он плакал, когда Ему было больно и страшно, и взывал к Отцу: «Или, Или! Лама савахфани! Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?». На Лобном Месте изувеченный, окровавленный был отдан на поругание. – Ч опустил острые плечики, с вопрошением глядя на женщину.

– Как призвать на помощь того, о ком ни сном, ни духом?

Святое Писание – об оставленности и Лике.

«Гадкий утёнок» – об оставленности и лике.

«Аленький цветочек» – об оставленности и лике.

Жизнь девочки Лизы – об оставленности и лике?

Малыш низко опустил голову и прикрыл нарисованное лицо.

– Ну-ну, не рюмсайся. Держись крепче обеими ручками. Вооот. Умничка.

Сказочные «страшилища» прятались и комплексовали из-за безобразной внешности, умирая без любви. И преобразились, благодаря ей. Один – в лебедя, другой – в друга пригожего и сердешного. И безоговорочно рады, что претерпели до конца унижения, и отныне могут оценить полноту счастья. А Сын Воскресшим воссел на Царском престоле одесную Бога Отца.

У каждого своя чаша страданий. И своя чаша славы. И она должна быть испита до дна, до капли.

Человечек спрыгнул с качелей и состроил рожицу.

– Озорник! – качели раскачивались вперёд-назад, вправо-влево, а тонкая перекладина крепко объединяла шарики, не отпуская их качаться вразнобой.

– Спасибо тебе, чадо. Теперь я знаю. Однажды мои мама и папа протянули друг к другу руки, объединили души и усадили меня на свои качели, чтобы не маяться порознь. Теперь понимаю, как важно

сидеть в центре объединяющей перекладины, надёжно держась за нити с распахнутыми для объятий руками.

Не в силах больше оставаться запертой в четырёх стенах, Елизавета наскоро оделась, придала помадой губам контур и с восстановленными чертами лица вышла из дома, который с утра хороводился с лужами и лужицами, а те в свою очередь, с облаками большими и малыми.

Втянула носом воздух:

– М-м-м… Здравствуй, Боженька!

Задрала голову. Полнеба расчертила большая стая. Птицы летели, вскрикивая, приветствуя Родину. На душе стало торжественно и тревожно. Елизавета хлопнула себя по лбу:

– Так сегодня же Грачевник! – и, повеселев, спросила, – Так, что же о лице, Господи?

– Посмотри на небо. Где облака?

– Растворились!

– Так и проблемы! И одиночество! Растворились, как облака.

– Господи, я о старости.

– Я в курсе.

– Ты соделал моё прыщавое лицо прекрасным. Преобразил его, исполосованное стёклами, а теперь рисуешь на нём пигментные пятна и чертишь морщины?!

– Пишу. Я художник.

– От слова «худо»?

– Художник Я. Люблю почтенных стариков и забавных старушек. С каждой новой морщинкой ты становишься Мне дороже.

– Каждая новая морщинка приближает меня к Тебе?

– …

Лизе показалось, что мягкая шелковистая кисть вывела на её сердце смайлик.

Грушенька-душенька

Творение может многое рассказать тому, кто готов слышать. Вселенная ветшает, как одежда. Только Бог вечен.

О. Михаил

– Милости прошу, в Дом Отчий, дитя Моё.

– Здравствуйте.

– Сыграем в игру, чадо? В «слова»?

– Можно. Только…

– Вопрошай.

– Кто Ты, если я Твоё дитя?

– Сущий. По всей земле рассеяны чада Мои, многие отдалились, но каждого люблю. Нет такого, которого не оберегаю десницею Своею. Нет такого, кого не призываю к Себе в правде, чтобы одесную воссел.

– И сына, и маму, и папу, и дедушку?

– Всех, душа Моя. До единого. Итак? Какие слова припомнишь, чтобы на «гру-» начинались? –

Елизавета принялась перечислять:

– Грусть, грубость, груз, грузило… – слова были болезненно-тяжёлыми и отдавались по всей округе раскатами грома, грозной поступью великана.

– …группа, грудь, груша… Груня, Грушенька…

– Душенька! Ну-ка, ладонку подставь!

Лиза подставила ладонный ковшик, и на неё опустилась свежая, душистая, зеленовато-жёлтая груша. И всем она была бы хороша, да только с одного бока была изрыта-изгрызена острыми гусеничными челюстями.

Елизавета глядела на грушу, а вкруг неё глянцевой листвой шелестел грушевый сад, и каждая ветка на дереве, отягощённая плодами, рассказывала свою историю.

И Лизиной червивке не сиделось в молчании:

– Росла я, росла да и выросла от семечка к саженцу, от саженца к деревцу. Дерево по весне зацвело, цветок подарило пчеле, а та пыльцу в улей снесла. Выросла, отяжелела, округлилась, чтобы ребёнку – сок, осам – сок.

– Плодоносная, кормящая, – думала Лиза. – Женская матка грушевидной формы: как груша вынашивает семечко, так мама во чреве вынашивает дитя.

– … И упала – земле перегной!

– У червивой ножка слабая. Дунул ветер покрепче, дождь пошёл – вот она и на земле.

– … И муравьям раздолье!

– Зачем с гусеницей было знакомиться? Непрошенной квартирантке ПМЖ[26] предоставлять? – съехидничала Лиза.

– Это садовая бабочка была, вовсе не гусеница. Я была в цвету, и на мой запах прилетали пчёлы и осы с бабочками. Вот одна из них и отложила личинку. Я же для всех цвела!

– Ну да, ну да. Пчёлы опыляют, пыльцу в улей на лапках несут. Люди нюхают, цветущие ветки обламывают на букеты, а бабочки для продолжения рода в сердцевину личинок подкладывают. И, чтобы жить, гусенице надо есть, и есть много. Но чтобы дышать, ей нужно прогрызть выход на свободу, где она окуклится, чтобы снова обрести крылья.

Лиза опустилась на землю, оперлась о ствол спиной и, поглаживая Грушеньку, размышляла:

– Социум – супермаркет человеческих душ, впаянных в тела. Одной червоточины более, чем достаточно, чтобы стать отбракованной человеком. И тебя, груша, в магазине брезгливо отложат в сторону, не украсят тобою стол, не насладятся вкусом. Нарекут «пересортицей» и, в лучшем случае, сварят из тебя компот или варенье. Вот и я, как ты, с гусеницей внутри. И мою плоть она грызёт. Мои обиды, печали, разочарования, болезни, грехи – это множество гусениц во мне.

Сколько их, червоточин? Сколько их, что засели, как за праздничный стол, за душу мою, без сна и отдыха, выедающих и обгаживающих сердцевину?

А ветер меня обдувает, за волосы треплет, а дожди кропят святой водой, и Солнце каждую весну на лицо веснушки ладит. Всё нутро черно от червоточин.

Но Свет от Света не отбраковывает меня. Я не становлюсь пищей ни муравьям, ни доброй земле, потому что у Сотворившего меня, Небо и Землю в планах очистить мою сердцевину. Творец жаждет преображения моего сердца, вместилища моего духовного вызревания.

Безбашенная женщина

– *Хочу быть владычицей морскою,*
Чтобы жить мне в окияне-море,
Чтоб служила мне Рыбка Золотая
И была б у меня на посылках. –

Лиза закончила читать сказку и отложила книгу. Склонилась, укрывая затихшего внука, погладила по голове.

– Бабушка, Старуха хочет жить под водой? А дети её отпустят? А чем она будет дышать? Ей Рыбка подарит акваланг и ласты? Или Старик с берега будет качать воздух через шланг?

Лиза осторожно коснулась губами лба:

– Горячий. Температура держится.

– Бабушка, ты умеешь жить в воде и небе?

– Только на земле.

– И я. Только хожу, бегаю и падаю.

– А чего больше: ходишь, бегаешь или падаешь?

– Бегаю и падаю.

– Малышик, я раскрою тебе секрет: когда ты бежишь, ты уже немножко летишь.

– А Старуха…

– Безбашенная была женщина. Ш-ш-ш-ш… спи… отдыхай. Проснёшься, мы вместе поможем дедушке Пушкину придумать другое окончание сказки, – Лиза подоткнула одеяло под спину малышу и прикорнула рядом.

– Давно не виделись.

– Ты? –

В сомкнутых ковшиком ладонях кругами расходилась вода. И Лиза плескалась в ней. А Он взирал и улыбался, и не пошевелил ни пальцем:

– Ты Мой ребёнок. – Вознёс к Себе и удерживал на уровне Своего бескрайнего сердца.

– Летаю и плаваю одновременно! – Лиза ныряла и выныривала, выдыхала воздух в воду, делала бульки, буруны, шлёпая ступнями о поверхность, выпускала фонтанчики, исполняла «поплавок». И смеялась! Смеялась! Выдохлась. Устала. И, обвивая руками Божий перст у края водоёма, осознала, что Он никогда не прольёт ни капли, никогда не выплеснет воду, никогда не подвергнет её опасности, никогда не даст ей захлебнуться или утонуть в мире бескрайней любви и доверия.

В мире тьмы, страха, боли, зависти и злословия прожорливые, не знающие меры, ненасытные птенцы требовали: «Подай! Напои! Накорми!». И чёрная птица с железным блестящим оперением, восседающая на краю свитого для них гнезда из проволоки и гвоздей, неустанно приносила в клюве земных грешников. Они кричали, они взывали, они молили о пощаде. Она усердствовала ради голодных крох:

– Ешьте досыта, детки! – и они дрались: кто за руку, кто за ногу, кто за голову, кто за тело.

– Господи, прошу у Тебя защиты, благодати детской доверчивости и наивности!

– Не бойся. Душа больше пищи. Тело больше одежды.

– Даже, когда буду лежать бездыханная, маленькая, сухонькая, сложив руки на груди, Ты воззришь на меня и скажешь: «Добро пожаловать, деточка, в Царствие Моё небесное»?

– Да.

– И даже, когда на земле скажут: «Ну, что, подняли? – Тяжёлый»?

– Отныне и вовеки, и до скончания веков.

В небесном озерке от биения Великого Сердца и благодарного женского сердца пульсировала и вздрагивала святая живая вода.

Примечания:

[1] автор слов – Павло Глазовой.
[2] автор слов – Павло Глазовой.
[3] А тебе Иван *(укр.)*.
[4] Муситы *(чеш.)* – ты должен.
[5] Дети, бегите отсюда к мамке, прячьтесь, как мыши *(укр.)*.
[6] Всё себе и только себе *(укр.)*.
[7] Потому что парень *(укр.)*.
[8] Шекспир. Сонет 121, пер. С. Маршака.
[9] «Детский Доктор» – детская игра, ГДР.
[10] Хлеб Ангелов (лат.)
[11] Стал хлебом человеческим:
Небесный хлеб *(лат.)*.
[12] Ты должен *(чеш.)*.
[13] Женщина *(укр.)*.
[14] – Вы знаете, кум, был в зоопарке и видел яка!
– И как як? – Як как як. *(укр.)*.
[15] – Вы знаете, я видел Оку!
– И как Ока? – Ока как Ока! *(укр.)*.
[16] Украинский язык *(укр.)*.
[17] Нагадали козе смерть. Где ходит, там и пукает *(укр.)*.
[18] Вот послушайте, послушайте, что мы видели! *(укр.)*.
[19] Да ладно тебе *(укр.)*.
[21] Потом *(укр.)*.
[22] Рыжим и конопатым *(укр.)*.
[22] Самостоятельная Украина стала независимой *(укр.)*.
[23] Жёлто-голубой *(укр.)*.
[24] Трёхцветный флаг *(рум.)*.
[25] Русские свиньи! Шевелитесь! *(нем.)*.
[26] Постоянное место жительства – аббревиатура.

«ОКОЁМ»

От редакции: начиная с 2019 года, являясь информационным спонсором Международного Грушинского Интернет-конкурса (МГИК), журнал «Южное Сияние» размещает на своих страницах произведения победителей и лауреатов ежегодного конкурса. В 11-м Международном Грушинском Интернет-конкурсе победителями в номинации «Поэзия» стали Майк Зиновкин (Архангельск) и Никита Брагин (Москва), победители в номинации «Малая проза» представлены двумя именами из трёх – Ганной Шевченко (Москва) и Ильёй Криштулом (Москва). Также «ЮС» публикует стихотворения и рассказы лауреатов конкурса Вадима Гройсмана (Петах-Тиква), Татьяны Поповой (Москва) и Алексея Жукова (Рига).

МАЙК ЗИНОВКИН

Архангельск

СОБАКА ПАВЛОВА

Когда качается мир, как палуба,
Когда все сказки – с плохим концом,
Ко мне приходит собака Павлова
И начинает лизать лицо.
Меня любого: больного, синего –
Она вытаскивает со дна.
Она умеет не рефлексировать,
Она училась всему сама.

А я на внешние раздражители
Вновь реагирую, как слабак.
Собака Павлова, положительно,
Намного лучше других собак:
Когда совсем пропадаю пропадом,
Она снимает меня с креста.
Хотя не делится горьким опытом,
Поскольку опытами сыта.

И я молчу, но она всё чувствует,
Клубком сворачиваясь у ног.
И водка кажется кислым уксусом,
И сигарета идёт не впрок.
И засыпаю к утру, закадрово,
Себя отчаявшись приручить.
И снится мне, как собака Павлова
Бежит куда-то в сырой ночи.

БЕЗОКОНЬЕ

Однажды он придумает окно
И город, обрывающийся в лето,
И зазвенит шестнадцатый трамвай,
Наполнив пассажирами живот.

Пока не станет в комнате темно,
Он просидит с потухшей сигаретой,
Записывая странные слова
В на-семь-восьмых-исчерканный блокнот.
Потом он допридумывает ночь
И женщину, задёрнувшую шторы.

И звёзды, нарисованные на
Обратных сторонах счетов за свет,
Проступят сквозь кофейное пятно,
Живые, словно женщина и город.

И он шагнёт за ними из окна,
Забыв, что в этом мире окон нет.

ПОСЛЕДНЯЯ

Только трещины в небе и камни в горсти…
Мы почти ничего не успели спасти,
оставаясь собой
у обочины мирного мая,
где горючая явь, будто дым от костра,
где свобода бессильна, а нежность остра.
Только верная боль,
о которую ногти ломаешь,

только сумрак на листьях смирившихся ив.
Только чёрная вера и белый наив –
средоточием сна,
подсмотревшего нас ненароком
из-под тихих ресниц опустевших зеркал.
Утром дождь, по карнизу лениво стекал…
А теперь ничего –
просто мы постарели до срока.

Просто кончился порох и вымок табак.
Тени молча рисуют морщины на лбах.
Как отцовский бушлат,
навалилась усталость на плечи.
Это наша победа и наша вина.
Ты простись – ведь за всё воздаётся сполна,
ведь осталось чуть-чуть:
по глотку да последняя вечность…

НИКИТА БРАГИН

Москва

ЭМАЛЬ

Лазоревая сущность изразца
таится до поры в корнях полыни,
терпя и зной, и серебристый иней,
и сталь подков, и ручейки свинца.

Пройдёт по ней заблудшая овца,
промчатся табуны, закат остынет,
сомкнётся ночь, не будет и в помине
ни золота, ни крови, ни творца.

Зажги огонь, и в раскалённом горне
проснётся небо, потечёт в золе,
как струйка бирюзы на камне чёрном.

И станет соль, рождённая в земле,
дорогой ветра в синеве просторной
и облаком в распахнутом крыле.

ПАМЯТЬ ПУСТЫНИ

На дальнем разъезде, под бархатным небом пустыни,
где падали звёзды, беззвучные слёзы Вселенной,
где след их на сердце моём не остыл и поныне,
где стерлись преданья, но память души сокровенна.

Там край мой ковыльный с песчаным встречается краем,
и волжская воля течёт в азиатском покое,
там кровью весенней тюльпаны горят, умирая,
и время развеялось прахом, оно здесь такое –

сухое и пыльное, словно саманная кладка…
Из пальцев моих рассыпается пепел былого –
волшебники, принцы, разбойники, джинны, лошадки,
в лазурном огне изразца воплощённое слово!

Прости мне, Восток, что беру твой калам и пергамент,
что стройная алеф укутана суздальской вязью,
что пресным лепешкам отныне лежать с пирогами,
что стены твердынь под дождями становятся грязью.

Твой древний язык расточается в брани базарной,
твоим матерям заграждают дорогу солдаты
и дети твои, словно толпы разгромленных армий
сквозь тучные земли Европы уходят к закату.

И где та пустыня, и кто её скорбный Овидий?
Погибшие земли, покрытые гипсом и солью,
где кости животных, да хлам человеческий видишь,
где сердцем немеешь, горюя над мёртвой юдолью.

Спаси, моя память, царей с барельефов Нимруда,
снега Бадахшана, красавиц, уснувших в Сидоне,
и пальмы проросток, взошедший из каменной груды,
и тайну улыбки, лежащей на детской ладони.

АССИРИЯ

Летят золотые павлины
из вечных висячих садов
над пыльной и пепельной глиной,
где нет ни примет, ни следов
ушедшего в полночь Ашшура,
крылатых богов и быков,
где степь, словно львиная шкура,
покрыла скелеты веков.

И видят небесные птицы
сквозь мёртвую пыльную твердь
жестокий полёт колесницы,
охоту, сражение, смерть;
ревут исполинские звери,
мечи обнажают цари
над прахом погибших империй
в кровавых просветах зари.

И нет ни ракет-минаретов,
ни чёрных, ни пёстрых знамён,
не смотрит с казённых портретов
на нас воплощённый закон,
и нет ни европ, ни америк,
не пляшут ни доллар, ни brent,
и некому рейтинг измерить
и вычислить нужный процент.

Но есть непосильная слава,
немыслимая красота,
и львиная кровь, словно лава,
течёт, первородно чиста,
течёт обжигающе близко,
так близко, что дух опалён,
и падает смертная искра
в бессмертную бездну времён.

———

ВАДИМ ГРОЙСМАН

Петах-Тиква, Израиль

***

В жестоком, обжигающем краю,
Где дымный полог скрадывает дали,
Мы, будто в нескончаемом раю,
К живой воде губами припадали.

Струна воды и колесо огня
Затихли в утомлённом вертограде,
И в сумерках безжалостного дня
Деревья растворяются в прохладе.

Когда же станет пусто и темно,
Мы сядем на кривом пороге рая
И будем пить последнее вино,
Последний хлеб делить, благословляя.

Пускай простит улыбку и слезу
И сложит из теней подобье знака
Создавший виноградную лозу
И хлебный колос выведший из мрака.

***

Мы не успеем рассказать,
В чём обречённой жизни суть:
Остынет яростный закат,
И нам дадут передохнуть.

За равнодушный будний крест,
Жару и прочие труды
Из тихих и далёких мест
Нисходит вечер на сады.

Но не таится тишина,
И одинокий звук острей.
Обуйся и проверь, жена,
Кто постучался у дверей:

Три гостя, знающих точь-в-точь
В невежественной суете,
О чём, когда настанет ночь,
Шумят деревья в темноте.

Мы связаны ночным судом
В неисчислимых временах.
Три гостя обступили дом,
Как на моих похоронах:

Земля, вода и небосвод –
Слова, с которыми я жил.
Я жил. Благослови, Господь,
Бессмысленную трату сил.

***

Отнимается всё, что даётся,
Как ни мучай его, ни зови.
Мне обузой моё первородство,
Кочевое наследство в крови.

В ненадёжное время, покуда
Грозный ангел не послан за мной,
Сотвори мне словесное чудо
Из камней да из персти земной.

На пороге, в тускнеющем свете
Говорит молчаливый ловец,
И сплетаются в нежные сети
Серебристые нити словес.

ГАННА ШЕВЧЕНКО
Москва

СКАЗ О ДЕРЕВЬЯХ
рассказ

Его стихи в редакцию прислал незнакомый человек, написал, что в городе Я-ске живёт никому не известный поэт. К публикациям он якобы равнодушен, но многие считают, что стихи его достойны внимания, поэтому он, его друг, решил предложить их в редакцию. Он указал имя, адрес и контактный телефон автора. Я открыла файл.

Начинающие поэты пишут просто и плохо, затем начинаются мытарства в поисках голоса и мастерства, многие забираются в дебри избыточности, переусложнения, искусственного остранения, и мало кому удаётся выйти на чистую воду. Неизвестный автор писал просто и хорошо.

Я проверила его имя в Google, заглянула в Журнальный зал, но такого поэта не нашла.

Для того, чтобы оформить гонорар, публикуемый должен предоставить в бухгалтерию паспортные данные, ИНН и номер пенсионного свидетельства. Всего этого в письме не было, поэтому я набрала указанный номер телефона. Потом набрала ещё раз. Потом ещё. Я набирала этот номер в течение трёх дней и в ответ слышала одно и то же: абонент временно недоступен. Написала несколько писем человеку, который прислал мне стихи. Ответа не последовало. Осталось одно – адрес.

В интернете я нашла расписание электричек на Я-ск и в первый свой выходной, в 06.57 села в электричку «Москва – Тула». Судя по расписанию, дорога занимала около трёх часов, и я решила выехать пораньше, чтобы у меня было достаточно времени на поиски и общение, в случае, если я найду этого человека. Ни один редактор не поедет разыскивать неизвестного автора и мне трудно объяснить мотив этого поступка, но я попробую.

Представьте, что вы любите кристаллы пирита и всегда готовы приобрести их в свою коллекцию. Многие знают об этом и идут к вам со своими предложениями. Но при внимательном изучении оказывается, что у вас в руках кристаллы, искусственно выращенные людьми, знакомыми с технологией. Они вызревали в тёплых лабораториях, и никогда не были включены в древние хребты на высоте восемьсот метров над уровнем моря. В Я-ск я ехала в надежде, что увижу натуральный пирит.

Улицу и дом я нашла довольно быстро. Поднявшись на третий этаж, я позвонила в нужную дверь. Мне открыла пожилая женщина лет восьмидесяти, с узкими щелочками глаз и дряблыми, нависающими веками. Седые волосы туго стянуты на затылке в небольшой пучок. Одета она была в шерстяной коричневый халат, подол которого украшал орнамент из бурятского национального фольклора. Обута в глубокие войлочные тапки и гетры до колен. Я сказала, что мне нужно видеть поэта, и назвала имя.

– Зачем он вам? – спросила женщина.

– У него талант, – ответила я.

– Толку-то… – сказала она.

– Можно его увидеть?

– Я не знаю, где он.

– Он уехал?

– Не знаю.

– Как его найти?

– Не знаю, – повторила она.

– Он ваш сын? – спросила я.

– Сын, – ответила она таким тоном, словно это родство вызывает у неё чувство досады.

Я развернулась и пошла по ступенькам вниз. Вдруг она окликнула меня:

– А вы кто?

– Читатель.

– Попробуйте спросить на автостанции. Там в забегаловке иногда околачиваются его друзья. Они всегда втроём. Святая троица…

Она мне объяснила, как туда пройти, и я отправилась на вокзал.

Мне повезло. К зданию автостанции примыкала дешёвая чебуречная. Двери были открыты. Рядом с входом, прижавшись спинами к пластиковой стене, сидели на корточках три алкоголика. Они держали друг друга под руки, видимо, как шли, поддерживая друг друга, так и сели под чебуречной. Они дремали. Тела их были плотно прижаты друг к другу, а головы клонились в стороны. Глядя на это трёхголовое существо, я вспомнила о Цербере, охраняющем выход из царства мёртвых.

Я тронула за плечо крайнего справа, он не отреагировал, я хотела тряхнуть следующего, но тут кто-то дёрнул меня за рукав. Я обернулась и увидела рядом с собой маленького человечка. Он был ниже моего плеча. Одной рукой он держал велосипед, другую, вытянув указательный палец, прижал к губам:

– Ц-с-с-с…

У него были розовые щёки, ясные глаза, маленькая бородка и седые, редеющие волосы. Этот человек походил на десятилетнего ребёнка, которого гримеры искусственно состарили лет на сорок для того, чтобы играть сказочного героя. И синяя куртка-ветровка на нём была подросткового покроя. Он немного смутился оттого, что я рассматривала его, съёжился и стал казаться ещё меньше.

– Не будите их. Они держат стену. Если они встанут, всё рухнет.

– Я ищу одного человека, может, вы знаете? – я назвала имя, и он заулыбался лукаво и искристо, как Ленин в советских учебниках.

– Знаю, – ответил он.

– Как мне его найти?

– Записывайте.

Я достала ручку и блокнот, он продиктовал адрес, я поблагодарила его. Он снова по-ленински улыбнулся, взобрался на велосипед и уехал. У него на куртке, между лопаток, был нашит кленовый лист бежевого цвета. Будь он ребёнком, я бы подумала, что он порвал куртку в уличных сражениях, и мать придумала оригинальный способ замаскировать разорванное место.

Через двадцать минут я сидела в автобусе указанного номера и ехала в направлении дачного посёлка. Располагался этот посёлок рядом с городком, и минут через двадцать я вышла на нужной остановке. Небо заволокли тучи. Я заглянула в сумку и поняла, что забыла дома зонт. Мне показалось это странным, я никогда не выкладывала зонт из сумки. Мне нужна была пятая линия справа от остановки. Остановкой назывался невысокий ржавый столб со стёршейся табличкой и толстое бревно, которое дачники используют вместо скамейки. Я пошла вправо, искать пятую линию. Домики и дворы были похожи один на другой. На некоторых висели поржавевшие таблички с указанием номера линии. Вскоре нашлась пятая, и я свернула в узкий проулок в поисках самого крайнего дома.

Некрашеный, покосившийся забор. Ветхий домик едва виднелся в глубине двора. Я открыла дряхлую калитку, вошла и увидела неухоженный двор, заросший травой по колено. Перед домом росли несколько деревьев: два тополя, два клёна, яблоня и берёза. К крыльцу вела тропинка, негусто выложенная островками плоских камней. Дом выглядел нежилым. Пару ступенек, ведущие на крыльцо, порог с облезлыми перилами и прохудившимся козырьком, и никаких следов живности. Ни будки для собаки, ни блюдца для кошки. Картину двора дополняло небо, к этому времени почерневшее от тяжёлых туч.

Я ступила на крыльцо и постучала в дверь – тишина. Ещё раз постучала – снова тишина. Несколько раз с силой ударила кулаком, но снова не услышала ничего, кроме шума приближающегося урагана. Резкий ветер набросился на деревья и стал трепать их кроны. Закапал дождь. Сначала редкими каплями, потом гуще и гуще. Вскоре небо прорвалось, и к земле потянулись звучные струны гигантского контрабаса. Пока небо исполняло ураган, деревья бились в истерике: то всхлипывали, вздымая к небу корявые лапы, то смиренно кланялись и затихали.

Я решила, что человек с велосипедом обманул меня, ради шутки назвал первый попавшийся адрес. Дождь стоял непроходимой стеной. Я присела на корточки возле порога, прислонившись спиной к двери, и стала ждать завершения. Вдруг мне показалось, что я услышала скрип половицы за дверью и едва уловимый толчок в спину. Прислушалась, но больше ничего подозрительного не услышала. Сидела, смотрела, как небо поливает землю, и ждала.

– Раньше они жили на дне океана, – услышала я тихий голос. По коже побежали мурашки.

– Кто? – спросила я.

– Деревья, – ответил голос, – раньше они жили на дне океана. Но потом морской владыка изгнал их на землю.

– Почему?

– Сначала они были вялые, как водоросли. Но потом окрепли, разрослись и стали вырабатывать много хлорофилла. Владыка испугался, что под водой станет много кислорода и глубинные воды перестанут быть загадкой.

Я повернулась и заглянула в узкую щель между дверью и косяком. Увидела часть плеча, небольшой фрагмент затылка. Человек сидел на корточках, как и я, прислонившись к двери. Мы слушали дождь, прижавшись друг к другу спинами. Нас разделяла дверь.

– А люди в те времена жили на земле? – спросила я.

– Да, но совсем немного, только по берегам рек и морей. Земля была пустынной. Но когда владыка изгнал деревья, они посадили на плечи детей, взяли в руки котомки и пошли заселять сушу, превращать пустыни в непроходимые леса.

– Люди взяли котомки? – переспросила я.

– Деревья! – ответил он.

Не знаю, что на меня нашло, но я ни с того ни с сего сказала ужасную глупость:

– Я из редакции. Мне прислали ваши стихи. Для получения гонорара нужны ваши паспортные данные, индивидуальный налоговый номер и номер пенсионного страхового свидетельства…

Внезапно он разразился звонким, безудержным смехом. Он хохотал так, что звенели стёкла в веранде. Он выделывал голосом такие импровизации, что мне стало не по себе. Он визжал во всю глотку: «Йии-хи-хи!!! Йаа-ха-ха!!! Йуу-ху-ху!!! Йоо-хо-хо!!!». Когда он наконец замолчал, то встал на ноги и удалился от двери. Я снова посмотрела в щель и увидела спину невысокого человека в синей куртке с нашитым на неё кленовым листом.

Дождь лил ещё минут пятнадцать. Всё это время я стояла на крыльце и прислушивалась к каждому шороху за дверью, но больше не услышала ни звука.

Вода залила тропинку, ведущую к калитке. Не было видно даже плоских камней, выложенных на случай мокрой погоды. Когда на краю неба показалось солнце, я сняла сандалии, закатила джинсы и отправилась прочь. Добравшись до остановки, я села на бревно и стала ждать автобус. А надо мной были тучи. И небо. И тучи. И небо. И тучи.

ИЛЬЯ КРИШТУЛ

Москва

ЗДЕСЬ И ТАМ
рассказ

Я больше не хочу здесь. Я хочу туда, где звёзды и море, и костёр на пляже, и гитара, и кто-то играет «Машину времени». И пахнет жареными мидиями, и девушка напротив смотрит влюблённо. И я уже знаю, что будет этой ночью…

А здесь я ничего не знаю. Здесь бегают менеджеры, все в одинаково повязанных шарфиках, и дети гор с одинаково злобными лицами. Здесь неоновые ночи, от которых болит голова, а девушки смотрят только в свои телефоны. Здесь убивают за царапину на машине и бьют по лицу за случайный толчок. Здесь шумно и грязно, здесь невкусное мороженое, немолодая усталая жена и старый я.

А там, куда я хочу, там все молодые, и жена, и я, а мои друзья смотрят на нас и смеются. Там за рубль нам наливали банку сухого вина, и мы шли на пляж, где валялись деревянные лежаки. Мы их раскладывали, как нам удобно, садились, и снова гитара, только теперь уже Антонов, «Море, море…», и пили вино из банки, и звёзды падали нам прямо в ладони. А невдалеке стояли пограничники и завидовали. Мы, конечно, им предлагали выпить, но они смущённо махали руками и уходили, бряцая чем-то металлическим.

Здесь такого вина нет. Может, оно и есть, но его никто не пьёт. Я давно уже не видел, чтобы кто-нибудь пил дешёвое вино из стеклянной банки и слушал Антонова. Можно, конечно, похожего вина купить, но с кем ты его будешь пить? И Антонова скачать можно, но с кем ты будешь его слушать? Со своими детьми? Они, услышав «Море, море…», понимающе улыбнутся, ничего не поняв, а тех, кто понял бы, уже нет. Уехали, спились, умерли или стали другими и не хотят помнить костёр на пляже с деревянными лежаками. Они и меня-то помнить не хотят, потому что я это воспоминания, а воспоминания отвлекают от бизнеса.

Там у нас тоже был бизнес. Джинсы, сигареты, кассеты… Бизнес в стиле «лайт», как сказали бы сейчас. Но моря было больше. И счастья больше. Продали джинсы, которые чей-то отец привёз из Югославии, вина взяли, портвейна по два двадцать, девчонок позвали… О, какие у нас были девчонки! Голдик, Стропила, Браун, Рюмашка, Дурёнок… Стропила недавно умерла от водки, Рюмашка с десятого этажа улетела под наркотой, Браун в Германии, достопочтенная бюргерша… Ещё Отрада была, Отрадушка, пятый размер, добрая и ласковая. Никого не пропустила, со всеми переспала. Потом замуж вышла за бандита, ещё в те годы, и исчезла. Можно, конечно, в «Фейсбуке» или в «Одноклассниках» поискать, но смысла нет. Всё равно не ответит. Не каждый хочет в прошлое возвращаться, как я. У меня-то всё светлое там…

Нет, мы не были ангелами. Ангелы жили среди нас, оберегали и иногда в кого-то из нас вселялись. И тогда тот, в кого вселился ангел, покупал духи и ехал к маме. И шёл с мамой по магазинам, и занимал очередь к прилавку, пока мама стояла в кассу. И ужинал с родителями, а потом смотрел с отцом «Футбольное обозрение». Может, наши мамы до сих пор живы, потому что в нас часто вселялись ангелы?..

А здесь ангелов нет. Какие здесь ангелы, у них же крылья, а и так не протолкнуться, им все крылья потопчут или оторвут. Ангелы ещё петь любят, по-своему, по ангельски, а где здесь попоёшь, если шум

везде и ор? Так что ангелы исчезли и появляются, только если беда, чтоб забрать кого-то к себе за небо. Они часто появляются, бед много, то горит что-то, то взрывается, то падает… Но жить здесь они уже не могут. Здесь ангелам больно. Да и среди кого им жить? Среди менеджеров?

А там, куда я хочу, даже слова такого не было. Нет, мы все учились, работали, что-то делали… Кто дворником пристраивался, кто квасом торговал, кто на «вечернем» учился раз в неделю, а днём снег с крыш сбрасывал… Но если компания загулять собиралась и квартира была у кого-то свободная, то всё, все дела побоку. И какие были загулы! Недельные, двухнедельные… Деньги кончались – посуду шли сдавать, а это рублей десять-пятнадцать… И по новой – портвешок, шипучий «Салют» девочкам, ночные Сокольники… И в кино успевали сходить, и на концерты какие-то… А могли деньги подсчитать, дозанять где-то и на море опять же уехать. Просто, в среду после обеда, в плацкарте. И кто-то один «зайцем» наверху прятался. Это потом уже – проблемы в институте, неприятности на работе… А родителям отзванивались, мам-пап, я у друга, мы занимаемся… Хотя родители всё понимали – звонок-то был междугородный. Если кто помнит, конечно, что такое междугородный звонок…

А здесь попробуй загуляй хоть на два дня. Или зайди ночью в Сокольники. Или позвони жене и скажи, что ты на море в среду после обеда с компанией уезжаешь, мол, присоединяйся… Такое услышишь… А там она с тобой с удовольствием ездила. С двадцатью рублями. И с улыбкой, и с влюблёнными глазами, и в том платье, в котором… Помнишь?

А ещё там был буфет на станции с вкусными пончиками, и немытая черешня, и солнце падало в море где-то за домиками, и девушка, которая будущая жена, утром просыпалась потрясённая… Где сейчас эта девушка? Здесь, гремит чем-то на кухне и руки в муке о передник вытирает… А я хочу, чтобы она там была, со мной, и в море умывалась с голой грудью, худая, загорелая и с длинными-длинными ногами… Но её отсюда туда не затащишь…

Да и что мне, сегодняшнему, там делать? С замусоренными мозгами, уставшему от всего – от людей, от вечных кредитов, от нелюбимой работы, от ненужных знаний… Ненужные знания это всё, что нажил, на что истратил жизнь, которая так хорошо начиналась… Или она ещё не начиналась? Может, я всё ещё стою в прихожей, а жизнь, она там, в комнатах? Я многих знаю, которые так и простояли всю жизнь в прихожей… А я сейчас зайду и… Смешно… Я ведь давно прошёл все комнаты, я давно спел все песни, я мало молчал и много говорил, я любил и не любил, я плакал и смеялся, я часто врал и редко не врал и я снова подхожу к входной двери, только уже с обратной стороны… И я знаю, что будет за ней. Я знаю, что веселье заканчивается слезами, пьянка – похмельем, любовь – ненавистью, а жизнь – смертью.

А эти ребята – молодые, красивые, шумные, беззаботные – не знают. Небесные длани лежат у них на затылках. И не надо им мешать и учить их не надо. И все мои знания ничего не изменят… Они не нужны там никому, мои знания. И я сегодняшний там никому не нужен. Слышите, как волны накатывают на берег? Как шуршит галька? Лучше этого звука в нашей жизни ничего не будет…

Я уже многих из них похоронил, вот из этих, поющих на пляже Антонова, «Море, море, мир бездонный…»…

Пусть поют. И пусть я пою среди них. Но не сегодняшний, а тот…

Не надо возвращаться в свою молодость. Надо её, улыбаясь, вспоминать.

Вот только вспоминать уже не с кем… И улыбаться я давно разучился…

Слушай, бармен… А налей-ка мне стаканчик моря! Того, коктебельского, лета восемьдесят четвёртого года… Сколько тебе лет? Двадцать? Я постараюсь не завидовать… «Море, море, мир бездонный, пенный шелест волн прибрежных…»…

ТАТЬЯНА ПОПОВА

Москва

ПОСЛЕДНИЕ ЗЕМЛЯНЕ РАЯ
рассказ

Я с трудом открыл глаза. Ли… Зачем она трясёт меня за плечо и будит? Ещё далеко до рассвета, через раскрытую створку палатки виден густой сиреневый сумрак. Ли прикладывает палец к губам и манит меня к выходу. Странно. Ли вышла, я натянул комбинезон и поспешил за ней.

Но, прежде чем рассказывать о событиях странной ночи, надо представиться. Я – Клод, полное имя Клод Стив-Мария/Ричард – Анна Иннеса-Хуан, 29 лет, представитель третьего поколения землян – жителей Рая.

Рай – это насмешка над судьбой. На самом деле 89 лет назад земной космический корабль NZ543IX13, совершавший исследовательский рейс, потерпел катастрофу в малоизученном районе Галактики, и капитан был вынужден посадить корабль на этой планете. Экипаж состоял из восьми человек. Их имена священны для каждого жителя Рая, вот они: Зденек, Хуан, Чен, Ричард, Инесса, Хелена, Йоко, Анна. Впрочем, я выразился недостаточно точно – корабль не смог совершить посадку на планету, он взорвался, но экипаж успел эвакуироваться на аварийных спасательных аппаратах.

Планета оказалась пригодна для жизни: атмосфера идентична земной, есть вода, флора и фауна. Большая часть планеты, если не вся её поверхность, покрыта горными массивами. Вот и всё, что мы, земляне, знали, знаем и хотим знать о Рае.

У нас есть цель – дойти. Дойти до конца Ущелья. Там должна быть равнина, её видели Первые Восемь через системы корабельной навигации до Катастрофы. Если за нами прилетят с Земли, то прилетят на Равнину. Потому что на этой стороне Рая она – единственное место, не покрытое горами. Первые Восемь выбрали путь, хотя знали, что они до цели не дойдут, слишком далека Равнина. Но Первые Восемь хотели, чтобы хотя бы их дети вернулись на Землю. Или внуки. Или правнуки.

Через восемнадцать лет после катастрофы было принято решение о рождении Вторых Восьми. Так принято называть – «Вторые Восемь», но их родилось десять – на случай несчастных случаев в детстве. Один умер. Осталось девять. Лишний был обречён на одиночество.

Первые Восемь могли выбирать себе жён и мужей сами. У всех последующих поколений права выбора нет. Я знаю, чьи дети станут мужем и женой моих ещё не рождённых детей (пол будущих детей человечество давно научилось регулировать). Так надо. Иначе настанет вырождение и вымирание, и потомки Первых Восьми никогда не вернутся на Землю.

Я родился ровно через 60 лет после катастрофы, Ли – через 62 года. Моими дедами были Хуан и Ричард, бабками – Инесса и Анна. Предки Ли – Хелена и Зденек, Йоко и Чен. Через 11 лет у нас должны родиться двое или трое детей. Мы будем воспитывать их до двадцати лет. Двадцать лет в Раю будут жить Третьи и Четвёртые Восемь одновременно. Затем нас не станет. Дальше пойдут лишь Четвёртые. Так было всегда. И так будет до тех пор, пока Восемь – не знаю, какие по счёту, найдут Равнину и дождутся корабля с Земли. Нарушить наши законы может только конец Пути. Выход к Равнине.

Я выскользнул из палатки. Ли ждала меня у костра. Она смотрела на языки пламени, тени причудливо ложились на её лицо. Ли совсем маленькая – на голову ниже меня. У неё тонкое лицо, большие светло-карие глаза, их удлинённость – наследство от Йоко и Чена. Ли как женщина мне совсем не нравится. Если бы у меня было право выбора, моей женой стала бы Хельга, моя двоюродная сестра и одновременно кузина Ли, внучка Ричарда, Анны, Хелены и Зденека. Хельга – высокая стройная голубоглазая блондинка, станет женой щуплого низкорослого Фари, потому что он – внук Хуана, Инессы, Йоко и Чена. Таков Закон, он мудр, потому что предохраняет всех нас от вырождения.

– Что ты хочешь мне сообщить, Ли?

Девушка вздрогнула и улыбнулась.

– Да вообще-то ничего. Просто хотела поговорить с тобой.

– О чём?

– Хотя бы о нас с тобой, о Клоде и Ли.

– Странная тема.

– Ну почему же: мы ведь жених и невеста, а жениху и невесте всегда есть о чём поговорить. Например, о любви. Ты любишь меня?

– Ли, зачем ты меня разбудила? – я начинал злиться. Побеспокоить человека ночью, во время своего дежурства, только для того, чтобы задавать совершенно дурацкие вопросы!

– Ты её любишь, а не меня, Клод, – Ли улыбнулась, – ты любишь Хельгу. И она любит тебя, а не Фари. А я пока не люблю никого. Так почему я должна стать твоей женой?

– Но, Ли! Так надо.

– Кому надо?

– Так велит Закон.

– Почему?

– Да потому, что только следуя Закону, мы сможем вернуться на Землю.

– Мы сможем?

– Ну, если не мы, так наши дети.

– Наши дети? Или внуки?

– Или внуки.

– Клод, пойми, никто уже не вернётся на Землю.

Разговор с Ли был мне неприятен, но не слушать её я не мог. Слова колючками впивались в сердце, липким облаком заползали в мозг.

– Скажи, Клод, почему мы должны жить только до шестидесяти лет? Почему мы должны родить именно двух детей и лишь в исключительном случае – трёх?

– Остановись, Ли! Замолчи!

Неужели это я закричал таким визгливым, истеричным голосом? Ли замолкла. Её глаза внимательно изучали моё лицо, а губы кривились в горькой усмешке. Молчание длилось минут пять. Потом Ли вскочила и, подойдя, положила руку мне на плечо. Она начала говорить совсем другим тоном – тихо, грустно, не нападая, а размышляя:

– Нас должно быть только восемь, потому что у нас мало одежды и питательных таблеток, мало места в палатке, и потому, что маленькой группе легче идти к цели. Я всё это знаю, но…

Ли замолчала, а потом решительно потянула меня к палатке. Там она тихо, чтобы не разбудить остальных, достала из рюкзака какую-то коробочку, и мы вернулись к костру. Тут Ли протянула коробку мне. В ней лежали питательные таблетки, много таблеток, штук пятьдесят. Пятьдесят дней жизни в Раю. Откуда таблетки у Ли? Запас питательных таблеток несла и хранила Сильвия, родная сестра Фари. Каждый из нас получал ежедневно только одну таблетку. Больше нам и не надо. Почему Сильвия нарушила Закон и дала сразу столько таблеток Ли?

– Не думай, Сильвия честно следует Закону и даёт мне только одну таблетку, как и всем остальным.

– Тогда откуда это?

– Сильвия мне каждый день даёт по таблетке, но уже два земных месяца я их не принимаю. Да перестань ты удивляться и возмущаться, лучше постарайся выслушать меня и понять. Я уже много лет, пожалуй, ещё до Ухода Вторых Восьми, задаю себе вопросы и ищу на них ответы. Некоторые ответы я нашла. Да, уже два месяца я питаюсь съедобными корешками, плодами деревьев, грибами. Если бы не скрывала всё от вас, могла бы и охотиться на райских петухов или свинокроликов. И, хотя Закон гласит, что это смертельно опасно, я жива и здорова…

– Но последствия могут появиться позже.

– Знаю, Закон говорит, что отравление может происходить на генном уровне. Но я сильно сомневаюсь в этом.

Злость опять закипела во мне. Самонадеянная дура! Нашла съедобные растения в Раю и считает, что может ставить под сомнения Закон. Да сколько раз я сам в детстве наедался всякой дряни. Но это ничего не меняет.

– Ты сделала рискованный шаг, но ничего не доказала. Допустим, мы можем найти сколько угодно пищи. Допустим. Но…

– И не только пищи. Погляди сюда, – Ли протянула мне кусок грубой некрасивой ткани, – я соткала этот материал почти вручную из волокон ивняка и травы. Если бы мы хотели, мы бы…

– Ну хорошо, мы бы оделись и обулись в сделанную нами одежду и обувь. Мы бы ели здешнюю пищу. Нас могло бы быть не восемь, а восемьдесят. Но всё это не меняет главного – мы всё равно должны идти к цели. А поиски пищи и изготовление одежды только задерживали бы нас на пути к цели.

– К цели? – Ли вызывающе засмеялась. – К какой цели? К Равнине? Мы идём уже восемьдесят девять лет. Земных лет. Это 32485 земных дней. Значит, за это время мы прошли примерно 649 тысяч километров. Подумай, Клод, ведь мы по меньшей мере три раза должны были бы обойти по экватору Рая.

Нас учили только Закону. Нас никогда не учили думать. Поэтому сейчас я так устал, как не уставал ни разу в жизни. Мне никогда в голову не приходилось считать, сколько километров мы прошли, а уж сейчас я точно был не в состоянии сделать такой расчёт. Но почему-то я не сомневался в точности расчётов Ли. И это было очень страшно.

– Ли, неужели Равнины нет?

– Не знаю. Может быть, и есть, но не это Ущелье ведёт к ней. Но, возможно, Равнины и не существует. Тебя это расстроило?

– Расстроило?! Меня это… убило! Ли, ведь это значит, что мы идём в Никуда? Что у нас нет Цели? Что мы… напрасно живём?

– Ты сделал почти правильный, но в то же время абсолютно неправильный вывод, Клод. Мы просто шли к цели, которая нам не нужна. Зачем тебе Равнина? Кто может поручиться, что туда прилетит корабль с Земли? Да если и прилетит? Разве ты – землянин? Разве моя Родина – Земля? Неужели ты хотел бы навсегда покинуть Рай? Никогда больше не видеть рассвет над нашими оранжевыми горами? Сиреневых рек и озёр? Не слышать голосов наших, слышишь, наших птиц и зверей? Послушай, Клод, ведь мы даже сейчас любим наш Рай, хотя так мало его знаем. Подумай, Клод, ведь мы даже не уверены в том, что мы, разумные существа, одиноки в Раю. Иногда я думаю, что стоит нам подняться хотя бы вон на ту высокую гору, и мы увидим там, вдали, раскинувшийся на плато город. Да если и не увидим, что ж. Зачем нам чужая Земля, Клод? Для наших дедов она была Родиной, возвращение на Землю имело смысл и стало их целью. Их, слышишь, Клод, *их*. Но вся беда в том, что они определили цель не только

для себя, но и для нас. А человек должен *сам* делать выбор. Они хотели нам добра, а сделали нас несчастными. Мы уже не земляне, нет. Но и не настоящие жители Рая. Мы должны прекратить движение в никуда. Мы должны искать цель здесь, в Раю. Мы должны выбирать себе спутников по любви и рожать много детей. Ведь самый простой расчёт показывает, что все жители Земли в каком-то колене родственники, но жизнь идёт. Законы природы, а не Закон, созданный человеком, не дает ей угаснуть. Так пусть для наших детей и внуков далёкая Земля будет священной планетой, родиной праотцов. А их собственной любимой Родиной будет планета Рай.

Ли замолчала. Над Раем царила тишина. Её нарушало лишь чье-то лёгкое дыхание за моей спиной. Я не оглянулся, потому что знал – там стоят Мира, Роберт, Хельга, Сильвия, Фари и Павел – первое поколение жителей Рая.

АЛЕКСЕЙ ЖУКОВ

Рига

СЧАСТЬЕ ПО АКЦИИ
рассказ

Магазин Андрей нашёл в конце улицы. Ничем не примечательное здание, притулившееся к веренице таких же обшарпанных трёхэтажек, первые этажи которых сдавались под торговые площади. Но в отличие от «соседей», сменивших старые витрины на современные стеклянные фасады, он сохранял свой первозданный вид.

Окна в потрескавшихся деревянных рамах выглядели пустыми глазницами. Осевший на стёклах многолетний пласт грязи скрывал внутреннее убранство. Потемневшая дверь также не привлекала внимания обывателя. И лишь старая вывеска «Товары для магии» говорила о его сомнительной, но всё же коммерческой стезе.

У входа он чуть не споткнулся об мешки с цементом, прислонённые к штабелю регипсовых листов. Какой-то ремонт планировался и здесь. Хотя фронт работ наверняка предполагал гораздо больших ресурсов.

Всё это Андрей фиксировал автоматически, как профессиональный строитель. Скорее это было просто способом уйти от волнения и сомнений. В конце концов, пришёл он сюда совсем не за этим.

А волновался Андрей изрядно.

На двери белела приклеенная скотчем распечатка: «Закрыто на ремонт». Человека невнимательного это отвадило бы на раз. Но он сразу разглядел едва заметную приписку от руки: «Но не для искателей счастья».

Да и шёл он сюда не наугад.

Немного потоптавшись на пороге, Андрей всё же взялся за ручку. Подпружиненная дверь подалась с трудом, но без ожидаемого скрипа. Едва он переступил порог, как та так же беззвучно захлопнулась.

Несмотря на солнечный день, свет пробивался сквозь замызганные окна слабо. Разгоняла сумрак одна единственная лампочка, болтавшаяся под потолком в пыльном плафоне.

Помещение магазинчика было небольшим, ещё больше его сужали нагромождённые у стен коробки. Кое-где валялись те же мешки с цементом, ведра, шпатели. У двери в подсобку стояли две стремянки и кейсы с инструментами.

Из общей обстановки ремонта выбивались лишь массивная дубовая стойка в глубине помещения, ноутбук на ней, да продавец, лениво теребивший колесико мышки.

Андрей нарочито покашлял.

Продавец поднял глаза, и широко улыбнулся.

Лет тридцати, одетый в неброский, но подчёркнуто стильный деловой костюм, он бы уместнее смотрелся в каком-нибудь офисе «Москва-Сити», чем здесь. Зачёсанные назад тёмные волосы, аккуратная бородка да холёный цвет лица выдавали в нём любителя барбершопа. А очки в тонкой прямоугольной оправе довершали классический образ так называемого эффективного менеджера.

Вот только было что-то в пристальных серых глазах способное отпугнуть даже самого безбашенного гопника.

– Добрый день! – «Менеджер» поднялся и протянул руку.

Андрей ответил на рукопожатие. По пальцам словно пробежал небольшой разряд.

– Прошу извинить, но мы закрыты. Ремонт. – Продавец сокрушённо развёл руками. – Да и инвентарь мы более не продаём.

– Да я как бы не за этим, – Андрей покосился на коробки в углу. – Мне сказали, что тут… Хотя, может я ошибся…

Он сделал шаг назад.

– А-а-а! – воскликнул продавец и заговорщицки подмигнул. – Наверное, вы загляну ли за своим кусочком счастья?

Андрей кивнул.

– Тогда вы по адресу! – бородач приспустил очки и резко посерьёзнел. – Итак, вы готовы расстаться со своей бессмертной душой?

– Что? – Андрей попятился. – Нет-нет! Ни в коем случае! Мне сказали, что… По-другому совсем…

Продавец сел и примиряюще поднял руки:

– Шучу-шучу. Вам опять-таки сказали совершенно верно.

– Так вы… – Андрей смутился, но продолжил, – и есть дьявол?

– Ну что вы! Мастер уже давно не работает в поле. Даже мой непосредственный начальник, достопочтенный Бельфегор, предпочитает в последнее время скайп. Так что работа с клиентами легла на плечи нашего чертовского контингента.

Он снова подмигнул:

– Но, как говорится, плох тот чёрт, что не мечтает стать сатаной. Верно, эээ…

– Андрей. Андрей Васильевич.

– Борис, – чёрт шуточно поклонился. – Просто Борис. Уж простите, не привык я к этим отчествам. До этого всё по Европе работал, а там как-то не принято.

– Да, конечно. А вы, – Андрей показал глазами на зачесанную шевелюру, – действительно… чёрт?

Борис усмехнулся:

– А вас, наверное, смущает отсутствие рогов? Увы, это сейчас не в тренде. Рога, копыта и хвосты – это всё издержки застарелого мировоззрения. Как вот этот хлам! – он кивнул в сторону коробок. – В своё время чёрная магия была настоящей находкой! А сейчас? Ерунда, побрякушки, не способные склонить заблудшие души ко тьме.

– Вы и меня собираетесь склонять? – воскликнул Андрей.

– Ну вот видите! – чёрт всплеснул руками. – Конечно, нет! Ваша реакция лишь подтверждает наши исследования. Мы хорошо изучили «рынок» и поняли, что современный респондент не готов расстаться со своей душой на веки вечные. Даже за самые яркие перспективы.

Борис вытянул из кармана электронную сигарету, глубоко затянулся.

– Ад – это не только дым и пламя, – он выдохнул струю пахучего пара. – Это предприятие, которое идёт в ногу со временем. Поэтому, мы внедрили новое предложение – «счастье по акции». Про которое вы, наверняка, и услышали от своих знакомых.

– Говорили про какую-то скидку…

– Не просто про скидку. А про очень гибкую систему скидок! – чёрт поднял вверх указательный палец. – Мы больше не требуем за наши услуги душу навсегда. Современные рыночные отношения предполагают не столько частную собственность, сколько аренду мощностей.

– Не понял…

– Не заморачивайтесь, – продавец махнул рукой. – Не стану утомлять вас техническими нюансами Преисподней. Главное, что можете получить вы.

Он залез под стойку, повозился там и вытащил толстую стопку то ли журналов, то ли каталогов.

Цветной глянец гулко упал на столешницу, взметнув облако пыли, отчего яркие обложки будто засветились в поднятом мареве. Но даже когда пыль осела, страницы не утратили бледно-белого свечения.

– А предложить нам есть что! Ну же, смелее!

Андрей протянул руку, повёл пальцами по гладкому титулу. Свечение зыбким туманом расступилось между пальцев, но тут же сомкнулось вокруг. Колючий, неожиданно приятный холодок скользнул по фалангам, а по коже пробежал ощутимый разряд.

– Что… Что это? – оторопел Андрей.

– А это… Это визуальная составляющая энергии счастья. – Борис снисходительно хмыкнул. – Ну, или, если по-простому: знак качества. Гарантия того, что наш товар не фикция, и отвечает всем заданным требованиям.

– Прямо всем? – Андрей потряс головой, будто опомнившись. – Подождите! Вы так и не закончили по поводу платы! Что за скидки-то?

– Прошу простить мою природную забывчивость, – чёрт виновато поклонился. – Как я уже сказал, мы не требуем душу навсегда. Мы просто берем её в аренду. Разумеется, только после естественной кончины, и ровно на оговоренный в контракте срок.

– И сколько же придётся вариться в котле?

– Почему сразу «в котле»? Что за стереотипы? – обиделся Борис. – Есть же ещё сковороды, лавовые

бассейны, паучьи озера, ледяные пики… И многое другое. Куда направят вас, это уже зависит от производственной необходимости.

Андрея передёрнуло:

– И всё же – сколько?

– А вот это определяется уровнем услуги. Калькуляция происходит из множества показателей. Качество, количество, аналог трудозатрат и человеко-часов, согласно актуальным показателям современного рынка. А далее – перерасчёт себестоимости вместе с наценкой на время пребывания в нашей… э-э-э… на нашем предприятии. И не беспокойтесь, мы следим за такими тенденциями, как скачки цен и инфляции.

– Да уж, – неожиданно согласился Андрей. – Цены сейчас и правда… Где это видано, чтобы кукла стоила тысячу евро?

– Что, простите? – чёрт удивлённо посмотрел на клиента.

– Кукла. Кукла-робот. Разговаривать умеет, ходить, смеяться. Даже писаться. Запоминает своё имя и отзывается на него. А ещё пахнет лавандой. Но стоит… Япошки, мать их…

Борис ещё с минуту озадаченно взирал на Андрея. Тот с секунду смотрел перед собой, потом махнул рукой:

– Не обращайте внимания. Это я о своём.

– В самом деле! – оживился продавец. – Какие, к дья… зачем взрослому мужчине, в расцвете сил, какие-то куклы! Взгляните!

Он вытащил из стопки цветастый каталог, и развернул его перед Андреем:

– Посмотрите! Какие цыпочки, а? Любая из них может стать вашей! А может, и не одна? – чёрт лукаво подмигнул. – Это, конечно, дороже. Но, по-моему, того стоит!

С ярких страниц на Андрея смотрели девушки в откровенных нарядах. Нет, не голые. Но латекс, блестящая кожа и ажурное бельё лишь подчеркивали и без того впечатляющие формы. А блестящие улыбки и откровенные позы вкупе с вожделеющими взглядами не оставляли сомнений в готовности «растерзать» его прямо здесь и сейчас.

Борис нагнулся над стойкой, заговорщицки посмотрев на посетителя:

– А может, у вас есть давняя страсть? Школьная любовь? Подруга, что не оставляет шансов на близость? Поможем и с этим! Любовь, конечно, не обещаем. А вот желание разбудим на раз. И какое! – чёрт закатил глаза. – И всего-то за лишние полвека аренды вашей души.

Андрей с полминуты пялился на глянцевых девиц. Потом замотал головой:

– Спасибо, но нет. Школьная любовь – и так моя жена. Да и вообще…

– Понял-понял, – уважительно закивал чёрт. – Вы – верный муж. Похвально. Окей, это убираем.

Каталог взмахнул страницами и улетел со стойки в дальний угол. Девушка с обложки укоризненно глянула на Андрея, но тут же исчезла среди коробок.

А на столе лежал уже новый «журнал».

Раскрытый посередине, он демонстрировал яркий постер, растянувшийся на две страницы. Атлетического телосложения мужчина лежал на шезлонге. В одной руке он держал бокал виски, а во второй – надкусанный хот-дог. Мужественные скулы обрамляли скупую, но бодрую и довольную улыбку. А глаза излучали безбоязненность и уверенность в себе. Даже несмотря на то, что мужчина был в одних плавках, а возле шезлонга набились снежные сугробы.

Андрей с трудом разглядел в его лице своё собственное. Это было совсем не то вечно усталое «нечто», что он видел по утрам в зеркале, собираясь на работу.

– Удивлены? А ведь – это и в самом деле вы! Если, конечно, позволите позаботиться о вашем здоровье. Нет-нет, – чёрт помахал пальцем, предвосхищая его вопрос. – Это не бессмертие. Но благодаря данной программе здоровье ваше будет непоколебимо до самого конца! Даже насморк не коснётся! Я уже не говорю про потенцию… – хихикнул он. – Но это уже шло, как дополнение. Стоило, по-моему, лет двадцать пять к основной сумме.

– Так себе бартер, – скривился Андрей. – Как в анекдоте? Умереть здоровеньким? Чтобы потом ещё отдуваться в ваших застенках?

– Скажете тоже… Застенки… – чёрт захлопнул каталог и бросил за спину. Тот недовольно зашелестел и упорхнул в дверной проём подсобки. – Ну а цена… Тут уж извините. Вы, люди, сами задрали цены на здравоохранение. Ладно…

Борис разложил перед собой оставшиеся каталоги. Один за другим они скидывались на пол:

– Это вряд ли, – комментировал нечистый, – это тоже… М-да, и это не по вашу душу. Остаётся, разве что…

На столешнице остался одинокий «журнал» с золотистым знаком доллара во всю обложку.

– Деньги, – чёрт хлопнул по глянцу. В невозмутимом доселе лице скользнуло раздражение. – Просто деньги. Прямая конвертация адских мук в наличные средства. Можно, конечно, и безналом, но тогда ещё будет процент за обслуживание. Вы как хотите?

– Спасибо! – вопреки ожиданиям чёрта, слова про муки посетителя не смутили. – Наличка меня вполне устроит.

– Хорошо. Итак, какую сумму вы желаете? И, кстати, тару приготовили? Бесплатный кейс полагается только при сумме в миллион и выше.

– Ай, – улыбнулся Андрей. – Не надо. По карманам распихаю. Тысячи долларов мне вполне хватит.

– Что? – Борис не поверил собственным ушам. – Тысяча? Одумайтесь! Вам сейчас доступно настоящее богатство! Купаться в деньгах! Всю жизнь шиковать и плевать всем на головы! Одумайтесь!

– Да не, – смущённо повторил Андрей. – Зачем плевать? Да и купаться я в речке люблю. Тысячи хватит. Сколько это будет… на ваши?

Чёрт сжал кулаки, в глазах мелькнули искры.

– Пятнадцать суток огненной геенны, – процедил нечистый. – Вы действительно уверены?

– Да-да. Где расписаться-то надо? – Андрей озадаченно посмотрел на свою кисть. Потом на Бориса:

– Кровью, наверное?

Тот молча достал сканер для отпечатков и тонкий конверт:

– Просто приложите палец. Угу. Спасибо. Вот ваш гонорар.

Андрей достал из конверта пачку соток, быстро пересчитал. Потом суетливо запихнул «франклинов» в бумажник.

– Ну… Прощайте, что ли, – он ещё раз смущённо улыбнулся.

– До свидания, – уточнил чёрт. – Пускай и не долгого.

Последние слова были обращены уже в спину Андрея.

Борис кашлянул, и каталоги слетелись, уложившись под стойкой в аккуратную стопку. В помещении вновь воцарился лёгкий полумрак.

За спиной Бориса скрипнула ведущая в подсобку дверь. Затем показались могучая спина в спецовке, коротко стриженный затылок и башня из коробок, раскачивавшаяся в волосатых руках.

Борис укоризненно посмотрел на выбивавшиеся из-под штанин комбинезона копыта.

– Степан! Ну куда это годится?!

Здоровяк опустил коробки в угол возле остальных, распрямился и гулко выдохнул. Замызганная кепка сползла на бок, но правый рог не дал ей соскользнуть с потной залысины.

– Что естественно, то не безобразно. И вообще, какого чёрта? Я ж не гуляю без штанов! Хвост вон даже затёк.

– Я тебе не про приличия. Мы же с клиентами работаем! И должны выглядеть привлекательно.

Степан облокотился на стойку. Вытащил из-за уха папиросу, покатал её в зубах:

– Ну и много наработал… привлекательный?

Борис замялся:

– Не очень. Пятнадцать человеко-суток для котельной девятого круга.

– Эх, молодёжь… – Степан закатил глаза. – Помню вот, в семнадцатом, сразу после февральской…

Борис отвернулся. Если старого чёрта понесло, это надолго. Он уже тайком кликнул по браузеру, как вдруг заметил плоский прямоугольник, валявшийся у входной двери. Он был овеян аурой белого света, наподобие знака «счастья», только гораздо ярче.

– Что это?

Степан обернулся и посмотрел на находку коллеги. Затем подошёл, аккуратно взял кончиками пальцев и, морщась, кинул на стойку.

– Смотри, не обожгись.

На столешнице лежала фотография. Из тех, что суют в кошелёк и клеят на панель автомобиля.

Давешний посетитель Андрей обнимал женщину, примерно тех же лет. Оба улыбались, морщась полуденному солнцу. А между ними, обняв обоих за ноги, шутливо повисла курносая девчушка. Веснушки на детском лице отражались сквозь глянец снимка, будто игривые огоньки.

– Что это? – повторил Борис, так и не рискнув притронуться.

– Счастье. – Степан вытер руки о спецовку. – Чистое, без примесей и добавок. Концентрат.

– Не понимаю… – пробормотал молодой чёрт. Озадаченно, даже как-то жалобно посмотрел на старого. – Зачем тогда продаваться за какую-то тысячу баксов?

– Я ж говорю – молодёжь. – Степан похлопал его по плечу. – Да, в Европе ты засиделся. Не понимаешь местного колорита.

Борис надулся:

– Какого ещё, нах…, колорита???

– А не, чему-то научился, – одобрительно хрюкнул здоровяк. – Но не главному. Ты глянь на эти глаза.

Взглядом он указал на веснушчатую девчонку на фото. Широко раскрытые, яркие, пронизывающие своей глубиной глаза были преисполнены радости и восторга.

– Да затем! Затем, чтобы видеть такие глаза, можно и душу отдать! Если ты, конечно, отец.

«ФОНОГРАФ»

ВАЛЕРИЙ НЕТРЕБСКИЙ

О ВАЛЕРИИ НЕТРЕБСКОМ

Был и жил в Одессе человек, за которым ходили люди. Он рассказывал им о старых домах, об истории улиц, о которых сам написал целую большую серию книг. Серия называлась «Прогулки по старой Одессе. Краеведческие этюды», а потом его тексты вошли в свод, названный «Краеведческие прогулки по старой Одессе от А до Я». Малоформатных его книг было издано более 50-и. Звали этого человека – Валерий Петрович Нетребский (30.12.1945-22.08.2019). Экскурсовод, писатель, исследователь… Прежде всего *одесский рассказчик*, обладающий особым мышлением, этой парадоксальной фазой, способной легко и весело в едином высказывании неожиданно соединять вещи разнородные, но неизменно интересные. В предисловии к одной из его книг сказано: «Простой, доступный массовому читателю язык исторических очерков, непринуждённое повествование, приправленное весёлым одесским юмором, – создают эффект присутствия современников автора в домах и на улицах наших предков – как знаменитых, составивших славу «третьей столицы» империи, так и самых простых, «из гущи народной». В основах его исследований лежала глубокая и искренняя любовь к родному городу. По образованию В. Нетребский – историк, выпускник Одесского государственного университета. После его окончания некоторое время преподавал в средней школе, но решил не уходить профессионально в атлантические глуби веков, а посвятить свои перо и голос – тем 200 годам существования приморского места, где он родился, учился и вырос.

В детстве на него оказали влияние его родная тётя Виктория Лозникова, экскурсовод в Музее западного и восточного искусства, и двоюродный дядя, Моисей Вигдорович Замечек, академик архитектуры, профессор, преподававший в строительном институте в Одессе; он был известным собирателем материалов по истории архитектуры города и его окрестностей и в двадцатых годах прошлого столетия стал одним из основателей Музея старой Одессы. На старинном четырёхэтажном доме на ул. Дерибасовской есть мемориальная доска профессора. Вот чьим прямым последователем был Валерий Петрович, создавший целую школу краеведов-любителей. Известного одесского учёного краеведа Олега Губаря он ставил исключительно высоко в одесской «иерархии» краеведов. Рассказывал о его исследованиях. И сам обладал ценным собранием одесских редкостей. Он завещал своё творческое наследие тем, кто помнит и любит Одессу, любит её тайны и яви, её былые реальности и мифы…

Станислав Айдинян

***

АУРА СЕННОЙ ПЛОЩАДИ

«Сено – трава скошенная и высушенная до влажности 15-17% и ниже; один из основных кормов для жвачных животных в стойловый период». Энциклопедический словарь

Прозаическая расшифровка названия одной из старейших и знаменитейших площадей Одессы вовсе не означает, что здесь в различные периоды не дислоцировались интеллектуальные силы Южной Пальмиры, знаменитые и не очень, но не всегда востребованные во времени, в котором им довелось жить.

Близость легендарного «Привоза» и не менее легендарного микрорайона Сахалинчика лишь пикантно «озвучивала» тот факт, что на Сенную, согласно справочнику Елисея Распопова начала XX века, выходили – *«зал, касса и приём багажа для пассажиров III класса»*. Это не смущало дореволюционных одесситов, утверждающих, что «I-м классом ездят начальство и урки». Но не все же, в конце концов, руководят от слов – «руками водить», авось и Одессе повезёт с начальством. Зато интеллигентные люди, путешествующие, в основном, низшим классом, попадали прямиком на Сенную, которая стала именоваться Старо-Сенной после вывода отсюда фуражных хозяйств в иные места.

Именно сюда Валентин Катаев приводит Петькиного брата Павлика (подразумевается будущий Евгений Петров), и в «Белеет парус одинокий» говорится: «Недалеко от Сенной площади по Старопортофранковской улице, спотыкаясь бежал Павлик. Он был совершенно один. По его замурзанному лицу, как из выжатой тряпки, струились слёзы… Из носу текли нежные сопли. Он непрерывно голосил на букву „а“…».

Несомненно, Павлик заголосил бы и на другие буквы, если бы знал, что он бежит над… засыпанным мостом. После ликвидации 2-й черты порто-франко, тянувшейся вплоть до Ланжерона, на её месте был разбит Внешний бульвар (его деревья упоминаются как существующие до конца XIX века), а на плане Одессы 1864 года (землемер Крылов) обозначен Сенной мост через ров прежней черты – за нынешней Пожарной командой до корпуса Экономического университета, бывшей школы приказчиков (бывший «Александровский участок»).

В вышеупомянутой школе ковались кадры дореволюционной торговой элиты, ставшей НЭПовской. Согласно источникам, *«Торговая школа Общества взаимного вспоможения приказчиков г. Одессы основана в 1901 году и помещается в собственном здании»*. Далее отмечено: *«Школа состоит в ведении Министерства Финансов. Содержится она на общественные* (! – В.Н.) *средства и имеешь целью подготовить учащихся к службе в торговых учреждениях»*.

Явно не с торговыми намерениями поселилась в здании семья «тихого» мальчика Лейзера Вайсбейна (изгнанного за плохое поведение из престижного коммерческого училища господина Файга), который, став Леонидом Утёсовым, напишет: «Так получилось, что некоторые события… проходили через мою квартиру… Мы снимали две комнаты у директора I торговой школы, здание которой находилось как раз против вокзала».

Леонид Осипович, описывая события 1917 года, не подозревал, что близость вокзала приведёт после Великой Отечественной к тому, что, пока будут «вырывать» колонны из католического костёла на Екатерининской для… поддержки купола строящегося нового вокзала, в бывшей торговой школе разместят… «временный вокзал». Прибывшая с семьёй из Сибири в 1946 году старожил Одессы В.С. Кульгина рассказала автору: «Я прибыла по вызову Одесского округа и по прибытию отправилась искать штаб (Новосельского, 64 – В. Н.), а мать с детьми оставила рядом с руинами бывшего вокзала во „временном“. Грязь была невообразимая, кругом сновали жулики».

В дальнейшем Вера Семёновна (ныне проживает на проспекте Шевченко) стала личной стенографисткой маршала Г.К. Жукова (в период командования им Одесским округом). Исследователь А.А. Швенднер указывал на план, утверждённый 27 июня 1803 г. Александром I: *«Проэктированное по этому плану городское застроение захватывает к югу Куликово-поле и Сенную площадь»*, причём последняя за время исторического бытия не раз меняла название. В 1909 году в честь 200-летия Полтавской баталии сообщено: *«На площади Петра Великого (бывшая Сенная), за зданием Александровского участка, проэктировано поставить памятник Петру Великому»*.

Профессор-педиатр Г.С. Леви вспоминал, что идея создания здесь сквера «принадлежала популярному в своё время санитарному врачу Клецелю».

Когда в 1924 году приближалась 20-я годовщина Кровавого воскресенья, планировалось установить здесь памятник «Фигура смертельно раненного рабочего с красным знаменем в руках».

В 1925 году сквер засадили деревьями и он стал именоваться «Сквер 9 января», а в путеводителе «Вся Одесса» за 1931 год сквер повышен в статусе и пышно именуется «Парк 9 січня».

В конце XIX века потрясённые одесситы прочли: *«В лучших частях города на весьма выгодных условиях, по невысоким ценам, продаются участки земли… На Сенной площади.., имеются мощёные улицы и канализация. Планы можно видеть ежедневно в конторе Д. Халайджогло на углу Еврейской ул. и Покровского пер., дом Тригера. Там же можно иметь сведения о ценах и кондициях».* Клиенты, прибывшие по означенному адресу, кроме цен и кондиций, могли узреть проживавшего в доме г-на Тригера очаровательного мальчика Лёвушку, ещё не ставшего Львом Троцким, сумевшим «изъять» купленное на Сенной площади.

Зато на подготовленных к продаже местах, как видно из планов, местность была отнюдь не бесхозной. Возле Сенной обозначены владения господ: доктора Костецкого (в честь него названа одна из улиц Молдаванки), мосье Д.И. Ратнера (владельца стройконторы и парохода «Нижний Новгород»), кожевенного магната Параскевы.

По поводу последнего у нынешних квартиросъёмщиков Сенной возникли сомнения – не будет ли претендовать на наследство кожевенника… артист Михаил Козаков, заявивший: «Моя мама, одесситка из дворянской семьи Параскева. Ещё прадед получил звание „Почётный гражданин Одессы“. После того как дед во время революции проиграл всё состояние в карты (вместо того, чтоб записаться в красные, белые или зелёные – В.Н.), мама с бабушкой уехали в Петербург (в то время – Петроград – В.Н.). Там она знакомилась с моим отцом из рода Гацкевичей.

На Сенной площади расхватали все угодья, а Гордума занялась любимым (почти единственным) занятием – переименованиями: *„Четырём вновь образовавшимся переулкам вблизи станции Одесса-Главная дать следующие названия:*

Ананьевский (Тельмана, Чехова – В.Н.)

Александрийский (Демьяна Бедного, Андре Марти, Волжский – В.Н.)

Вознесенский (Косиора, Парижской, Коммуны – В.Н.)

Елисаветградский (Анри Барбюса, Кировский – В.Н.)“».

Здесь построили дома многие «приметные» одесситы: статский советник, доктор медицины Александр Европин (Ананьевский пер., 1), потомственный почётный гражданин Яков Лопатин (Вознесенский пер., 23), староста молитвенного дома «Кесивас-Иаков» Рувим Барский (Ананьевский пер., 5), «кандидат на судебную должность» Глеб Никитин (Вознесенский пер., 1), мещанин Алексей Чашин (в его доме по Вознесенскому пер., 12 проживал сожитель Соньки Золотой Ручки мосье Пётр Геринбахер), мастер сапожного цеха Митрофан Киселевский (Вознесенский пер., 13), руководитель II-го общества взаимного кредита Семен Лайнер (Александрийский пер., 1). Собственный дом «соорудил» на углу Елисаветградского и Александрийского переулков и заведующий казённым очистным складом 1 (ныне ликеро-водочный завод) Корней Фомич Зелинский. Со стороны въездных ворот «доживший» до наших почти безалкогольных дней особняк по адресу: Елисаветградский пер., 6 – видны старые кирпичи с фамилией кирпичепроизводителя: «С.П. Лукановъ».

Путеводитель «Вся Одесса» на 1931 г. пышно именует питейный комплекс на Сенной «Центроспирт – Гуральня», а руководящий дом превратили в общежитие ликероводочных трудящихся.

Спустя полвека после событий старожил Николай Григорьев вычертил план квартиры потомка казаков (Полтавщина) владельца пекарни Кузьмы Игнатьевича Тарасенко (Вознесенский пер., 20, ныне № 18), при дочери которого Евгении состоял женихом. А у Жени была старшая сестричка Мария, и кто знает, какую девушку имел в виду Илья Файнзильберг в «Записных книжках»: «Я тоже хочу сидеть на мокрых садовых скамейках и вырезать перочинным ножом сердца… На скамейках, где грустные девушки дожидаются счастья». Произведя псевдоним от имени без последней буквы и первой буквы фамилии – Ильф стал супругом Марии (Маруси) Тарасенко.

Согласно Н. Владыкиной-Бачинской, ещё в 1905 году произошло первое знакомство Корнея Чуковского с бывшим актёром украинской трупы М. Заньковецкой, великим певцом, режиссёром и переводчиком классических опер на украинский язык, Леонидом Витальевичем Собиновым.

На сходке студенческой молодежи, куда Собинов прибыл в офицерском кителе (призван на русско-японскую войну), Корней, Лёня и студенты хором пели революционные песни.

Но при чём здесь Сенная площадь?

Историкам театра известно не менее шести гастрольных вояжей Собинова в Одессу. Исследователь Н. Панасенко в труде «Чуковский в Одессе» привела отрывок из письма К. Чуковского – Л. Собинову от 7 февраля 1927 года: «В Одессе у меня живёт моя „старенька маты“ (так в тексте – В.Н.) Екатерина Осиповна Корнейчукова. Ей семьдесят два года. Она полтавская крестьянка. Была крепостной. Её адрес Елисаветградский (Кировский – В.Н.) пер., 8, кв. 3. Будьте ласковы – поищите ей два билета на Ваш спектакль (речь идёт о предстоящих в марте 1927 года гастролях Собинова в Одессе – В.Н.), пусть она пойдёт с каким-нибудь внуком. А ещё лучше, если б Вы послали ей три билета, потому что внуков у неё двое, и если пойдёт один, то другой будет плакать».

Плакать пришлось самому Корнею – против него ополчились… руководящие жены: К.Т. Свердлова, З.И. Лилина (супруга Г.Е. Зиновьева), а вскоре подоспела и тяжёлая артиллерия в виде главной вдовы СССР. Н.К. Крупская строго указала: «Нашим ребятам давать (произведения Чуковского – В.Н.) не надо, не потому что это сказка, потому, что это буржуазная муть».

Гениальный «умывальников начальник и мочалок командир» в том же 1927 году записал в дневнике: «То, что рассказывает мой спутник о нашем строительстве, не смешно, а страшно… Невозможно работать на совесть, а можно только служить и прислуживаться». Прошли годы, и, по свидетельству Д. Быкова, «безграмотная медсестра (такая ли уж безграмотная? – В.Н.), делавшая ему укол от сердечной слабости, заразила его через грязную иглу желтухой, от которой он и умер».

Скоро зазвенит на Сенной колокол на выстроенной ОТТУ часовне «Во имя Алексия», а на новом автовокзале «Привоз» идёт отправка и приём пассажиропотоков по шести основным направлениям: Вознесенское, Николаевское, Кишиневское, Измаильско-Килийское, Овидиопольское, Киевское. Откуда подъедет начальство?

Верится, что город с такой аурой никакие начальники (сколько бы и каких ни послали) не превратят в затрапезную провинцию у моря.

ВЫСТРЕЛ НА ТВЕРСКОМ БУЛЬВАРЕ

Утро 12 мая 1926 года выдалось солнечным и бодрящим. В первопрестольной отцветал НЭП, зато на Тверском бульваре зацвели старинные липы. От памятника учёному Тимирязеву к памятнику поэту Пушкину прогрохотал трамвай «А» – описанная Булгаковым в «Мастере и Маргарите» знаменитая «аннушка». Почти незамеченным остался выстрел, который произвёл себе в висок немолодой уже человек, о внешности которого В. Катаев писал: «В его профиле было действительно что-то горбоносо-лосиное, сохатое». Составили протокол.

Да! Ошибки быть не могло, счёты с жизнью свёл знаменитый писатель Андрей Соболь (Юлий Михайлович Глузман).

Родился Соболь в 1888 году в Саратове в бедной семье, ушёл из дома, бродяжничал, примкнул к революционному движению. В 1906 год предан суду в Вильнюсе, сидит в тамошних «Крестах» с Самуилом (Максом) Дейчем, будущим председателем одесской ЧК, затем каторга, побег, эмиграция.

Пишет книгу «На каторжном пути», где проронил странную для того времени фразу: «Не будем говорить о ненависти», а в 1915 году под чужим именем снова в России, где после февральской революции становится комиссаром Временного правительства на Северном фронте.

Но многие истории, написанные Соболем, связаны с Югом. В рассказе «Мимоходом»: «Расстилалась степь, на горизонте дымило – к Одессе, к синему морю мчался поезд». Идиллическая картина замешана на крови: «Утекает!.. Утекает!.. Братцы! Братцы! Мотька вскинул винтовку…». Время рассказа «Княжна» – 1920 год: «Мой хозяин – окружной военный комиссар… Когда-то мы вместе просиживали в парижской «Ротонде», когда-то он писал очень нежные стихи о прекрасной несуществующей любви». А дальше: «Стреляют и убивают позади, будут стрелять и убивать впереди и между вчерашними и завтрашними. Я слежу за бегом минут-часов и, старой деве подобный, гадаю: чет-нечет, смерть-Москва». Последние слова можно считать пророческими для самого Соболя.

В 1920-1921 годах Соболь проживает в Одессе, и К. Паустовский вспоминает о нём как об одном из авторов газеты «Моряк». Этим периодом датировано известное произведение – повесть «Салон-вагон» – оно настолько приближено к одесской тематике, что литературовед Бенедикт Сарнов обвинил в «Огоньке» маститого одесского писателя в том, что «повесть была довольно беззастенчиво использована». Речь идёт о В. Катаеве.

Как отмечал краевед С. Лущик, во время пребывания в Одессе Соболь спасал людей от незаконных репрессий.

Одесский инженер В. Брамбилла познакомил меня с редчайшим изданием «Русский драматический театр им. А. Иванова, сезон 1928-29. Одесса». На его страницах – фотография 40-летнего, аккуратно подстриженного «зав. монтировочной частью, художника Н.И. Данилова. Именно Николай Ипполитович описал читку булгаковского «Бега» в Одессе в 1928 году, проходившую в присутствии самого Михаила Афанасьевича. Именно Данилова, согласно его мемуарам, спас от верной гибели Соболь, обратившийся к своему дореволюционному сокамернику М.М. Дейчу. Непросто было подобраться к Максиму Мовшевичу – вся Одесса от Молдаванки до Пересыпи распевала в то время (накрыв голову подушкой?) куплеты о визите некоего мальчика к председателю ГубЧК:

Приступая к делу прямо,
Наш малютка-молодец:
«Дядя Дейч! Отдайте маму[1]
Дядя! Где же мой отец?»
Дейч велел в кратчайший срок
Записать их в пионеры
На усиленный паёк.

В результате Дейча… расстреляли, а Соболь… угодил в одесскую тюрьму, оттуда лишь в августе 1921 года вырвался в Москву. Здесь он попал из огня да в полымя.

Подоспело время «каяться» бывшим эсерам, и в 1923 году в «Правде» № 207 опубликовано «Открытое письмо» Андрея Соболя, в котором он по замыслу режиссеров отрёкся от эсеровского, то бишь революционного прошлого: «В бурные, грозовые годы, шедшие перед нами, над нами, сквозь *нас,* – ошибалась, спотыкалась и падала вся Россия… Безукоризненными могли себя считать или безнадёжные глупцы или беспардонные подлецы».

Раскаяние? Но почему же тогда в покаянном опусе Соболь пишет: «В отсутствии глупости и подлости в себе я не нахожу повода для раскаяния»?

7 октября 1923 года в газете «Последние новости» (Париж) опубликовано «Открытое письмо Андрею Соболю» как ответ на «правдинское» выступление. Писатель-эмигрант Михаил Андреевич Осоргин писал: «Зная Соболя, сумбурного малого, плохо разбирающегося в политических вопросах, пылкого революционера старой складки и честнейшего человека, я не допускаю мысли о его неискренности». Далее Осоргин обращается к Соболю напрямую: «И вы можете быть революционером только до тех пор, пока правительство это попускает… Правительства могут быть революционными только на пять минут переворота и в лучшем случае через десять не делаются деспотическими».

Незадолго до трагической развязки издательство «Земля и фабрика» начало публиковать четырёхтомное собрание сочинений Андрея Соболя. Но финал приближался. Так ли далеко отошёл писатель в свой смертный час от горячо любимой им Одессы?

В серии статей «Встреча на Тверском бульваре» литературовед Р. Александров пишет: «Я вас опознаю по газете „Правда“ в левой руке… Оказался я на скамейке Тверского бульвара». Не та ли самая скамейка? Не на ней ли встретился прибывший из Одессы Александров с Осипом Шором… прототипом ильфопетровского Остапа Бендера? Напротив скамейки – дом №18, который старые москвичи называют «домом Кутайсовых». Речь идёт о роде, начало которому положил взятый в плен в окрестностях Хаджибея татарчонок Кутайсов (первый одессит?), ставший брадобреем, затем всесильным фаворитом Павла I.

Круг времени и пространства замкнулся. Талантливый писатель и благородный человек покончил с собой не «в состоянии душевной депрессии», как писали официозы. Об этом знали власти, и вдогонку мёртвому Соболю появился гнуснейший памфлет «Человек из паноптикума».

Сегодня Андрей Соболь полузабыт, но актуально звучат слова писателя: «Все содрогнулись – он один не содрогнулся. Так стояли друг против друга две силы…».

Тверской бульвар… Выстрел… Финал…

«СЕТЧАТКА»

ГАЛИНА ДАНИЛЬЕВА

СОБАЧЬЯ ПЛОЩАДКА В ЛУЧАХ АРБАТСКО-ПОВАРСКИХ ПЕРЕУЛКОВ

Собачка, да, именно так ласково величали улицу Собачья площадка во времена оны. И теперь, когда и улицы-то этой нет – погребена под асфальтовой кожей Нового Арбата (бывшего Калининского проспекта) – так называют порой место в центре несравненной Арбатской части Москвы, вблизи кинотеатра «Октябрь». Если сказать точнее, то Собачья площадка располагалась непосредственно к северу от нынешнего дома №17 по Новому Арбату (на месте пешеходной зоны), между Большим Серебряным, Малым Николопесковским, Большим Николопесковским, Дурновским, Кречетниковским и Борисоглебским переулками. Восточная часть Собачки – между Малым Николопесковским и Дурновским переулками – фактически также являлась узким переулком, уничтоженным в 1962 году. На карте Москвы 1917 года легко читаются не только шесть лучей, исходящих от Собачьей площадки переулков, но и весь ореол окружавших её больших и малых улиц.

Сегодня Арбат – самый маленький по площади район Москвы, но он, может быть, первый в столице по плотности достопримечательностей.

Переулочки Арбата, живущие в объятьях Пречистенки и Поварской, – бывший дворянский район столицы, а ещё раньше – слободской. Исчезнувшие навсегда, неузнаваемо изменившиеся, они всё окликают то говорящей топонимикой, то поэтической строкой, хранящей память о старомосковской жизни. А то и напрямую – воспоминаниями о поэтах, чьи следы не остудили зимы перемен, градостроительных новшеств и – «находок».

Вот и уникальная Собачья площадка – более чем литературная страница в летописи московской, скорее – многотомье. Исток имени – в названии слободского поселения. Есть мнение, что тут находилась царская псарня. Логично, так как рядом – царёв кречетный двор (от него – исчезнувший Кречетниковский переулок), на котором содержались соколы для царской охоты. Охочи были государи до охоты! Вспомнить хотя бы Алексея Михайловича, благодаря которому Москве были подарены возлюбленные Сокольники. Без этого парка, без этого зелёного района и Москва не Москва.

Собачья площадка – улица – площадь – в её габаритах возникла, по-видимому, в середине XVIII века. Тогда и была застроена небольшими деревянными домами. К середине следующего века ими владели в основном мелкие чиновники и весьма небогатые дворяне.

Если перелистать роман «Дым» И.С. Тургенева, то можно заглянуть в дом – вблизи Собачьей площадки – многочисленного семейства князей Осининых: деревянный, одноэтажный, с полосатым парадным крылечком на улицу… Полосатое парадное имел и дом профессора Ивана Владимировича Цветаева (изначально – старый дом Иловайских) в Трёхпрудном переулке. В угоду моде тогдашнего века? Мода, видимо, была всегда.

Собачка, Борисоглебский, Молчановка, Поварская… От Собачьей площадки до площади Никитских ворот – улицы, хранящие пушкинские адреса.

Сорок сороков московских – что ни имя церковки златоглавой, то потеря. Из тех, что возвышались вблизи Собачьей площадки, первой хочется назвать Церковь святого Николая чудотворца, что на Курьих ножках, или Церковь Николы, что в Трубниках, «на курьей ношке», то есть на меже (по-старинному – ношке). Начнём с этого храма *с названьем смешным*… Нет, не из-за названия, а из-за Пушкина, конечно, и не только…

Есть версия знатоков топонимики, которая объясняет это выражение тем, что здесь находился (возможно!) большой кухонный двор и в отбросах около него было множество ножек от кур, готовящихся

для царского дома. Логично, если вспомнить соседнюю Поварскую слободу и её переулки: Ножовый, Скатёрный, Хлебный.

А вот как объясняет это выражение географ Э.М. Мурзаев. Он приводит в составленном им словаре слово «курья», означающее узкий проток или небольшую речку, но не имеющую названия. Не такая ли здесь вилась-бежала, как во многих местах московских, например, в сторону речушки Сивки, чтобы дальше – вместе к реке Москве?

Ножкой, возможно, называлась и земельная мера (помните – Борисова ножка, Марьина ножка?) и межа, служившая границей между слободами.

Существует и такое объяснение: царь Михаил Фёдорович близлежащую к царёвым слободам местность подарил своей челяди, по словам в грамоте, «на курьи ножки», разумея их как еду. Выражение «дать на курьи ножки» следует понимать в качестве современного «дать на чай» (Крот А.Н. Путеводитель по Москве. М., Ефимов, 1905).

В 1635 году церковь была деревянной, а в 1729-м – в году обновления церквей – числилась уже каменной. Предполагают, что её первоначальное каменное здание построено в 1681-м. Именно тогда от Курьей ножки перенесли деревянную постройку церкви св. Николая Чудотворца в Нововоскресенское село у Пресненских прудов, где возник загородный государев дворец. К первой деревянной отсылает и ещё одна версия происхождения её имени: церковь стояла на высоких пнях, срубленных здесь деревьев, которые в народе назывались «курьими ножками». Отсюда, вероятно, и сказочная избушка на курьих ножках.

Для полноты картины припомним и такое толкование названия: будто причет, подавая челобитную о привеске земли, писал, что место у них зело мало – «курице негде ступить».

В начале XIX века здание храма было существенно увеличено – в 1805 году к нему пристроили новую трапезную и возвели колокольню.

7 сентября 1810 года Сергей Львович Пушкин, отец поэта, снял дом, принадлежащий священнику церкви Василию Иванову. И не один дом, а с хозяйственными постройками. Фасадом он выходил в Борисоглебский переулок (Борисоглебский переулок, 4). Основная часть церковного владения тянулась вдоль Большой Молчановки до Ржевского переулка (Большая Молчановка, 26–28, угол Большого Ржевского переулка, 1).

По Борисоглебскому переулку церковное владение соседствовало с тем, что имеет сегодня адрес: Борисоглебский переулок, дом 6. Через сто лет (в первой декаде сентября 1914 года) по этому адресу в строении один, в квартире номер три на втором этаже поселится семья Эфрон из трёх человек: Марина Ивановна Цветаева – венчанная жена – со своим мужем Сергеем Яковлевичем и двухлетней дочкой Ариадной, Алечкой. И тогда, в 1914 году, при них будет штат прислуги…

Марина Цветаева семь с половиной лет, правда, в другом веке, проживёт по соседству с одним из домов детства Александра Пушкина на родной московской земле, соседство же в царстве бессмертия будет даровано на века…

В книге для записи «условий», контрактов, договоров за 1810 год значилось: «…подполковник Сергей Львов сын Пушкин дал сие условие… в том, что нанял я у него, священника, собственный ево дом без мебели, состоящей Арбатской части 1-го квартала под № 62-м и к оному две людские избы, кухню, два каретных сарая, две конюшни и два погреба сроком на один год ценою за тысячу четыреста рублей».

Вскоре после обретения этого дома в жизнь семьи ворвалась беда: 12 сентября умерла Софья, маленькая сестра Александра – ей было всего год и восемь месяцев, а 27 декабря того же года скончался пятимесячный Павел.

Дом на Большой Молчановке, или скорее в Борисоглебском переулке – последний московский дом, где жил ребёнком Александр Пушкин, ведь именно отсюда в июле 1811-го выехала тяжёлая дорожная карета, увозившая его в Петербург, для поступления в Императорский Царскосельский лицей, который откроется 19 октября, в жизнь, совсем не похожу на домашнюю.

Последний дом детства, жизнь семьи с навсегда памятными радостями и незабываемыми бедами, думается, имели в сердце поэта свой особо хранимый уголок. Быть может, название Церкви святого Николая на Курьих ножках вспомнилось Пушкину, когда он в Михайловском писал вступление к «Руслану и Людмиле»…

Деревянный дом священника, из которого уехал 12-летний Александр Пушкин в Царское Село, исчез в пламени пожара 1812 года в числе многих и многих «домиков старой Москвы».

Ровно через 15 лет, 19 декабря 1826-го, после ссылки в Михайловское, Пушкин вернётся в этот район родного города. Он поселится на некоторое время у своего друга, Сергея Соболевского, в «непрезентабельном здании» под номером 12 на углу Собачки и Борисоглебского переулка. Уже на другой день здесь Александр Пушкин читал «Бориса Годунова» навестившему его историку и издателю Михаилу Погодину. Тогдашний хозяин дома спустя много лет напишет М.П. Погодину: «Мы ехали с Лонгиновым через Собачью площадку. Сравнявшись с углом её, я показал товарищу дом Ринкевича, в котором жил я,

а у меня Пушкин… Вышли из возка и пошли туда. Дом совершенно не изменился в расположении: вот моя спальня, мой кабинет, та общая гостиная, в которой мы сходились из своих половинок и где заседал Александр Сергеевич в самоедском ергаке. Вот где он выронил (к счастью, что не в кабинете императора) своё стихотворение на 14 декабря, что с час времени так его беспокоило, пока оно не нашлось… Вот, где собирались Веневитинов, Киреевский, Шевырев, Рожалин, Мицкевич, Баратынский, вы, я… и другие мужи; вот, где болталось, смеялось, вралось и говорилось умно!!!».

В царской России А. Пушкин пишет стихи, за которые можно заплатить (и платили!) ссылкой. Через сто лет здесь же, в другой империи, М. Цветаева говорит правду о времени «вселенской катастрофы», о безысходности Гражданской войны в цикле стихов «Лебединый стан», который в СССР не мог быть опубликован даже после смерти поэта…

В связи с именем Цветаевой, её судьбой надо ещё раз вернуться собственно к храму Николы на Курьих ножках. Он был приходским для семейства прадеда Марины Цветаевой – Луки Бернацкого, владение которого с 1864 года находилось как раз напротив будущего дома поэта в Борисоглебском переулке.

В церковной книге храма восемь записей о значимых событиях для семьи Луки Александровича Бернацкого: трёх венчаниях – дочерей Софии, Марии и сына Александра, трёх рождениях и крещениях внуков – Марии, Евгения, Владимира и двух смертях – дочери Марии и его самого. Среди записей – сведения о рождении матери Марины и Анастасии Цветаевых, Марии Александровны Цветаевой, в девичестве Мейн. Запись о рождении соседствует с записью о кончине – о смерти её матери, то есть бабушки девочек – Марии Лукиничны Бернацкой. Бабушка-полька прожила только год в счастливом браке с Александром Даниловичем Мейном и скончалась вскоре после родов от послеродовой горячки. Венчание – 9 ноября 1867, дата ухода – 21 ноября 1868 года, 23 ноября захоронена на Ваганьковском кладбище. В том году это была единственная смерть в приходе.

Вторая запись о кончине относится к 1879 году – году ухода главы семейства – Луки Александровича Бернацкого. Уже через год, в 1880-м наследники продают немалые владения по Борисоглебскому переулку. Через 33 года после смерти Луки Александровича в церковной книге храма Николы появится запись о крещении его праправнука Андрея, сына Анастасии Ивановны Цветаевой и Бориса Сергеевича Трухачёва. А через 35 лет (не позднее 10 сентября 1914) напротив владения прадеда поселится его гениальная правнучка – поэт Марина Цветаева.

О неслучайности выбора своего дома в Борисоглебском она узнает только в конце августа 1933 года от родственников по польской линии – от двоюродных сестёр матери, дочерей Михаила Лукича Бернацкого и его вдовы. Встреча произойдёт в Доме престарелых под Парижем, в Сент-Женевьев-де-Буа. Цветаева обещает написать (останется помета в черновой тетради 1933-1934 годов) про узнанное, угаданное, приснившееся, но не успеет.

Церковь Николы, что на Курьих ножках, была самой маленькой приходской церковью в Москве, но помнящей величайших прихожан. Этот храм знал Пушкина, Лермонтова… Здесь прощался с Россией Иван Бунин.

Наталья Крандиевская-Толстая, жена Алексея Толстого, в стихотворении, обращённом к Марине Цветаевой, не может не упомянуть эту московскую церковку – ведь она с Толстым (как Даша и Телегин из трилогии романов «Хождение по мукам») венчалась именно здесь.

…Теперь бы пойти на Арбат
Дорогою нашей всегдашней!
Над городом галки кричат,
Кружат над кремлёвскою башней.

Ты помнишь наш путь снеговой,
Счастливый и грустный немножко,
Вдоль старенькой церкви смешной, –
Николы на Куриих Ножках?

Любовь и раздумье. Снежок.
И вдруг, неожиданно, шалость,
И шуба твоя, как мешок…
Запомнилась каждая малость:

Медовый дымок табака,–
(Я к кэпстену знаю привычку), –
И то, как застыла рука, –
Лень было надеть рукавичку…

Затоптан другими наш след,
Счастливая наша дорожка,
Но имени сладостней нет –
Николы на Курьих Ножках!

Храм сломан в 1934 году Метрострoем для добычи стройматериалов. На его месте было выстроено здание средней школы.

Гнёзда литературные выбирали и выбирают арбатскую часть Москвы как во времена золотого, серебряного веков, так и поныне. Несмотря на то, что время и люди не сохранили не только здания, где проходила яркая литературная жизнь, но и сами адреса исчезли с карты Москвы, вычеркнуть их из благодарной памяти невозможно.

Как забыть литературно-философский салон Герцык-Жуковских, или, как часто его называли, салон сестёр Герцык?

Кречетниковский переулок, дом 13, квартира 1.

Название переулка происходит от царской слободы «кречетников», возникшей здесь в XVII веке. Переулок и окружающая застройка уничтожены в результате прокладки в 1962-1967 годах проспекта Калинина, ныне – Нового Арбата. Дом 13 находился на месте кинотеатра «Октябрь».

В арендованной с 1914 по 1917 год квартире проживали с детьми и их няней сёстры Герцык – Евгения Казимировна и Аделаида Казимировна, в замужестве Жуковская. Главным квартиросъёмщиком был её муж – издатель и думский деятель Дмитрий Евгеньевич Жуковский. Перечень гостей впечатляет: Ю.К. Балтрушайтис, А. Белый, Н.А. Бердяев, С.М. Булгаков, М.А. Волошин, М.О. Гершензон, Вяч. И. Иванов, И.А. Ильин, А.Н. Толстой, сёстры Крандиевские, М. Кювилье (в будущем – Роллан) и другие. Цветаева часто посещает сестёр Герцык – с 1914 года она не только дружит, но и соседствует с ними.

Марину Цветаеву с Аделаидой Герцык познакомил «творец судеб и встреч» Максимилиан Волошин. В эссе «Живое о живом», посвящённом Волошину, Цветаева оставляет такое признание: «Я сказала, что стихи Макса я переплела со стихами А. Герцык. Сказать о ней – мой отдельный живой долг, ибо она в моей жизни такое же событие, как Макс, а я в её жизни событие, может быть, большее, чем в жизни Макса».

5 (18 марта) 1915 года Е.О. Кириенко-Волошина пишет сыну из Москвы в Париж: «…вчера весь обормотник был у Жуковских для развлечения Бердяева (лежавшего в их доме в Кречетниковском пер. с переломом ноги) – С. Эфрон, И. Быстренина, Б. Грифцов, М. Урениус; В. Эфрон уехала с санитарным поездом; В. Жуковская и С. Эфрон уезжают на днях». Сохранилась фотография, видимо, иллюстрирующая написанное. Среди названных – Марина Цветаева, стоящая в дверном проёме.

Аделаида Герцык всегда любила стихи Марины Цветаевой, о сборнике, изданном перед отъездом в эмиграцию, сказала: «Передайте Марине, что её книга „Вёрсты“, которую она нам оставила, уезжая, – лучшее, что осталось от России».

Аделаида Казимировна Герцык – поэт, прозаик, переводчик, критик. Символистская критика называла её Сивиллой и пророчицей. Может статься, что «древние заплачки» Герцык послужили в какой-то мере обращению Цветаевой к русской народной поэзии, к народной речи.

Кроме сказанного и недосказанного, этот адрес важен как место встречи, как перекрёсток в судьбах двух поэтов – Марины Цветаевой и Софии Парнок.

Могу ли не вспомнить я
Тот запах White-Rose и чая,
И севрские фигурки
Над пышащим камельком…

Мы были: я – в пышном платье
Из чуть золотого фая,
Вы – в вязаной чёрной куртке
С крылатым воротником.

Я помню, с каким вошли Вы
Лицом – без малейшей краски,
Как встали, кусая пальчик,
Чуть голову наклоня.

И лоб Ваш властолюбивый,
Под тяжестью рыжей каски,
Не женщина и не мальчик, –
Но что-то сильней меня!

Движением беспричинным
Я встала, нас окружили.
И кто-то в шутливом тоне:
«Знакомьтесь же, господа».

Они познакомились в октябре 1914 года, когда салон после начала Первой мировой войны вновь собрал гостей. Это подтверждает рассказ А.К. Герцык в воспоминаниях о жизни первой военной зимой именно по этому адресу. Цикл «Подруга» Марины Цветаевой, обращённый к Софии Парнок, открывает стихотворение, написанное 16 октября 1914-го.

Минует зима и весной – в апреле 1915 года – Евгения Казимировна оставит такую запись: «Небывалое количество романов (а наш круг вообще такой безроманный!) в эту зиму военную (пир во время чумы!) – Шеры, Толстой с Тусей, Марина с Парнок, Майя <…> И про всех мы *первые* узнаем и смешливо тщеславимся этим и, возбуждая любопытство, показывая их, намекаем на них».

До осени 1917 года остаётся только две весны.

Дом, где жили люди, которые могли помочь и помогали в беде рухнувшего мира Марине Цветаевой и не только, был совсем недалеко от Борисоглебского переулка.

На пересечении Кречетниковского и Трубниковского переулков находился дом, где с лета 1917 по 1918 год проживала семья Цетлиных – Марии Самойловны (в девичестве Тумаркиной) и Михаила Осиповича. В Москве, как позже и в Париже, квартира этих талантливых и красивых людей превращалась в литературно-артистический салон. Цетлины жили здесь до осени 1918-го, когда уехали в Одессу, а оттуда, весной 1919 года, в Париж.

При прокладке Нового Арбата Кречетниковский переулок был уничтожен. От него уцелел только один дом – как раз тот, где была квартира Цетлиных. Але Эфрон этот красивый и добрый дом казался таким: «…а мой столик–шкафчик с книгами похож на дом Цетлинов». Адрес того времени: Кречетниковский переулок, дом 8, квартира 1; сегодня – Трубниковский переулок, дом 11.

Илья Эренбург вспоминал: «В зиму 1917/1918 года в Москве Цетлины собирали у себя поэтов, кормили, поили; время было трудное, и приходили все – от Вячеслава Иванова до Маяковского».

В записных книжках Цветаевой нечеловечески тяжёлого 1919 года читаем:

«Помогают мне ещё – изредка вспоминая о моём существовании – и не виню – ибо, кажется – сами нищие: актриса Звягинцева, пришедшая ко мне после Асиного „Дыма“ и полюбившая меня вместо Аси – и её муж – п.ч. любит жену. Принесли картофеля, муж несколько раз выламывал на чердаке балки и пилил.

Ещё Р.С. Тумаркин, брат г-жи Цетлиной, у которой я бывала на литературных вечерах. Даёт деньги, спички. Добр, участлив.

– И это всё. – <…>»

Каждый из членов семьи Цетлиных особенностью судьбы, красоты и таланта заслуживает полноты рассказа…

В начале года отъезда, 14 января (старого стиля) 1918-го, на квартире у Цетлиных состоялся вечер-событие, который в летописи литературной жизни Москвы остался «как встреча двух поколений поэтов».

Марина Цветаева участвует в нём вместе с Павлом Антокольским, Константином Бальмонтом, Юргесом Балтрушайтисом, Андреем Белым, братьями Давидом и Николаем Бурлюками, Вячеславом Ивановым, Верой Инбер, Василием Каменским, Владимиром Маяковским, Борисом Пастернаком, Маргаритой Сабашниковой, Алексеем Толстым, Владиславом Ходасевичем, Ильёй Эренбургом и другими.

Вечер был необычным потому, что сошлись два враждебных поэтических направления: старшее поколение – символистов представляли К. Бальмонт, Вяч. Иванов, А. Белый, поколение молодых – футуристов – В. Маяковский, братья Бурлюки, Б. Пастернак. Вне группировок – М. Цветаева и В. Ходасевич.

После вступительных слов от одних и от других звучали стихи, но главным событием стало чтение Маяковским его поэмы «Человек». Андрей Белый слушал как заворожённый, побледнев, и, как вспоминал Пастернак, «совершенно потеряв себя». Алексей Толстой бросился обнимать поэта…

Здесь, в доме Цетлиных, судьба посадит рядом Марину Цветаеву и Бориса Пастернака, но их настоящее открытие друг друга будет ещё впереди – 1922 год, начало «эпистолярного романа века», или скорее «нечеловеческой» любви небожителей.

Свою встречу с Цветаевой в Кречетниковском переулке Пастернак описал в автобиографической повести «Охранная грамота»: «…я не мог, разумеется, знать, в какого несравненного поэта разовьётся она в будущем. Но не зная и тогдашних замечательных её „Вёрст“, я инстинктивно выделил её из присутствовавших за её бросавшуюся в глаза простоту. В ней угадывалась родная мне готовность в любую минуту расстаться со всеми привычками и привилегиями, если бы что-нибудь высокое зажгло её и привело в восхищенье. Мы обратили тогда друг к другу несколько открытых товарищеских слов. На вечере она была мне живым палладиумом против толпившихся в комнате людей двух движений, символистов и футуристов».

Марина Ивановна пригласит Бориса Леонидовича заходить к ней в Борисоглебский. Зайдёт однажды, и то лишь промельком – с поручением от Ильи Григорьевича Эренбурга. Этот визит также останется в литературе – в романе в стихах Пастернака «Спекторский».

Хозяева салона, Мария Самойловна (одна из немногих женщин России, получившая в Швейцарии диплом доктора философии) и Михаил Осипович (прозаик, критик, поэт, известный под псевдонимом Амари), перед своим отъездом издали альманах «Весенний салон поэтов», где были напечатаны стихотворения Марины Цветаевой из цикла «Москва». План издания книги Цветаевой Цетлиными если и был, не осуществился…

Неподалёку сохранилось здание, известное как Дом научных сотрудников (в прошлом – доходный дом братьев Баевых) – Трубниковский, 26. По этому адресу перед тем, как поселиться в Мерзляковском, остановится вернувшаяся в конце мая 1921 года в Москву из Крыма сестра Марины Цветаевой – Анастасия.

6 июня (нового стиля) 1921 года читаем в письме Бориса Бессарабова сестре Ольге (именно он помог с возвращением в Москву Анастасии Цветаевой): «У Марины сейчас содом: приехала сестра Ася с сыном Андрюшей. Марине очень трудно, она превратилась в загнанного зайца, и у неё всё время болит голова, так что она не может даже работать и делает, что попадётся под руки. Марину я понимаю до мелочей и очень к ней внимателен, больше не через неё, а через реальности по отношению к Асе с устроениями на пайки и прочее…».

Анастасию Ивановну примут родители её гимназической подруги Гали (Елены) Дьяконовой, несравненной Гала, жены и музы Поля Элюара, а затем и навеки – Сальвадора Дали.

Позже в этом же доме по Трубниковскому переулку, 26 в квартире 38 поселится семья пианиста Генриха Нейгауза. Марина Ивановна, приехавшая в СССР в 1939 году вслед за дочерью и мужем, познакомится с Генрихом Густавовичем 18 августа 1940 года у Северцевых. Известно, что в 1940-м она с сыном здесь бывала.

А Трубниковский переулок был назван по Трубничьей слободе, что соседствовала с государевыми «кречетным» и «псаренным» дворами. Есть и другой вариант происхождения имени переулка: от слободы трубников – печников и трубочистов.

Продолжая рассказ о литературных салонах, вернёмся на Собачью площадку во времена Пушкина.

На другой стороне улицы-площадки (Собачья площадка, 7) стоял скромный дом, который принадлежал Алексею Хомякову, выдающемуся поэту, философу, богослову, историку, публицисту, одному из самых ярких и ярых славянофилов. Здесь же встречались русские мыслители в то время, когда литература заменяла собою политику, а споры в частных домах были так похожи на баталии-форумы на кухнях в 60-е и дальше годы XX века.

В доме Хомякова для таких словесных поединков была отведена даже особая комната – «говорильня». Читай – кухня в квартирах советской империи.

Ученик Хомякова Юрий Самарин, впервые издавший на русском языке богословские труды учителя и объяснивший существо его «жизни в церкви», завершает свои рассуждения вполне парадоксально-поэтически:

«Как! Хомяков, живший в Москве, на Собачьей площадке, наш общий знакомый, ходивший в зипуне и мурмолке; этот забавный и остроумный собеседник, над которым мы так шутили и с которым так много спорили; этот вольнодумец, заподозренный полицией в неверии в Бога и в недостатке патриотизма; этот неисправимый славянофил, осмеянный журналистами за национальную исключительность и религиозный фанатизм; этот скромный мирянин, которого семь лет тому назад, в серый, осенний день, на Даниловом монастыре, похоронили пять или шесть родных и друзей, да два товарища его молодости; за гробом которого не видно было ни духовенства, ни учёного сословия; о котором, через три дня после его похорон, Московские Ведомости, под бывшею их редакцией, отказались перепечатать несколько строк, писанных в Петербурге одним из его друзей; которого ещё недавно, та же газета, под нынешнею редакцией, огласила ересиархом; этот отставной штаб-ротмистр, Алексей Степанович Хомяков – учитель Церкви?

Он самый».

Учитель церкви… Выдающийся русский поэт – и лирик, и пророк. Навскидку открыв полновесный и полнозвучный фолиант «Стихотворений» (Москва, Прогресс-Плеяда, 2005), читаем в стихотворении «Мечта», написанном в 1835 году:

Но горе! век прошёл и мертвенным покровом
Задёрнут Запад весь. Там будет мрак глубок…
Услышь же глас судьбы, воспрянь в сиянье новом,
Проснися, дремлющий Восток!

Через несколько страниц – стихотворение «Киев»:

…Слава, Киев многовечный,
Русской славы колыбель!
Слава, Днепр наш быстротечный,
Руси чистая купель!

А дальше:

…Меч и лесть, обман и пламя
Их похитили у нас;
Их ведёт чужое знамя,
Ими правит чуждый глас.

Пробудися, Киев, снова!
Падших чад своих зови!
Сладок глас отца родного,
Зов моленья и любви…

Эти строки цитировать сегодня, в XXI веке – сердце рвать. Да и цитировать не получается – надо читать всё целиком. Ноябрь 1839-го, Алексей Хомяков.

После революции, в 1920 году, благодаря тому, что обстановка бывшего дома Хомякова полностью сохранилась, в нём открыли музей, пользовавшийся огромной популярностью, – Бытовой музей сороковых годов, или Музей дворянского быта 1840-х годов (филиал Исторического музея). Здесь некоторое время работал Андрей Иванович Цветаев, единокровный брат Марины и Анастасии.

Историко-бытовой музей давал представление об укладе жизни московской интеллигенции предреформенного периода – квартира А.С. Хомякова служила очагом культурной жизни Москвы того времени. Здесь бывали братья Аксаковы, Киреевские, А.И. Герцен, Н.В. Гоголь, Т.Н. Грановский, П.Я. Чаадаев, Н.М. Языков…

Дом был построен в стиле ампир в начале XIX века, отремонтирован после пожара 1812-го и не перестраивался с 1840-х годов, когда его хозяином стал Хомяков.

И дом, сохранивший черты построек того времени, и полнота музейной коллекции, позволяющая выстроить ансамблевую экспозицию, и память блистательных имён, всё это делало музей бесценным. Его часто именовали Домом Хомякова и не без основания – после смерти Алексея Степановича в 1860 году кабинет хозяина и знаменитая диванная – «говорильня» оставались почти в неприкосновенном виде…

Не спасло. Музей на Собачьей площадке закрыли. Коллекция и архив были переданы в основном в Государственный исторический музей.

В 1929 году дом перешёл к институту имени Гнесиных, и много лет (разобран в 1960-е годы при прокладке Нового Арбата) из его окон неслись звуки музыки и голоса юных певцов, как и теперь – из Российской академии музыки имени Гнесиных на Поварской.

Музыка звуков, музыка слов – один исток, две стихии. Видимо, не случайно напротив дома Хомякова вырастет особняк К.П. Мазурина. Построенный в 1897 году по проекту архитектора Н.В. Корнеева, являя «примечательный образчик» поздней псевдоготики. В нём какое-то время находилось правление Союза советских композиторов…

Собачья площадка и улицы-лучи, исходившие из неё или в неё впадавшие, хранят память о множестве адресов географии биографии великой москвички Марины Цветаевой. Здесь, на Собачке, летом 1912 года, перед рождением своего чудесного первенца, Ариадны, Марина Эфрон с мужем снимают дом, показавшийся ей похожим на «шкатулку шоколадного цвета» в Трёхпрудном. Так величала дом детства её сестра Анастасия. Ей-то и достанется «по наследству» снятый Мариной дом, вернее – один из флигелей особняка архитектора П.М. Самарина (Собачья площадка, 8). Павла Михайловича Самарина (1856-1912) к этому времени уже не было в живых, поэтому договор заключается с его вдовой.

Дом сохранится только в воспоминаниях сестёр. Марина Цветаева – сестре мужа Вере Эфрон: «Не помню, писал ли Вам Серёжа о нашем особняке на Собачьей площадке? В нём 4 комнаты, потолок

в парадном расписной, в Серёжиной комнате камин, в моей и столовой освещение сверху (у меня, кроме того, нормальное окно) и вделанные в стену шкафы. Кухня и комната для прислуги в подвале. Если не будет собственного, хотелось бы прожить в этом доме подольше, такой не скоро найдёшь!».

Будет и собственный дом, будет и квартира неподалёку, очень похожая на эту.

Анастасия Цветаева вспоминает:

«Мы выходили к началу Собачьей площадки – маленькой площадки, продолговатой. Посреди было скромное подобие скверика. По обе длинные её стороны – старинные дома, друг с другом несхожие, разного цвета и высоты.

– Тут, в одном из них, Пушкин бывал, – сказала Марина. – Вот по этим камням ходил… В какую входил дверь?

– В тот дом вход, кажется, был с Николопесковского! – сказал Серёжа».

Семья – Марина и Сергей – здесь не поживут, так как купят собственный дом в Замоскворечье (особняк на Большой Полянке, в Малом Екатерининском переулке, 1) на деньги, полученные в качестве послесвадебного подарка от Сусанны Давыдовны Мейн, в девичестве Эшлер. Швейцарка-бонна, воспитавшая маму девочек, Марию Александровну Цветаеву-Мейн, в 1888 году станет венчанной женой их деда – Александра Даниловича Мейна, через 20 лет после смерти Марии Лукиничны Бернацкой.

Надо сказать, что венчание Александра Даниловича и Сусанны Давыдовны произойдёт неподалёку, в церкви Усекновения Главы Ионна Предтечи в Кречетниках (находилась на углу Кречетниковского переулка и Новинского бульвара, 12). Церковь была сооружена в XVII веке позади Государева Кречетного двора, перестроена в 1754 году; обновлена в 1902-м. Храм разрушен в 1930 году.

Сегодня на его месте возвышается семиэтажный дом с башней (архитектор Л.Я. Талалай, Новый Арбат, 46).

В этом же храме в 1891 году свершилось таинство венчания родителей Марины и Анастасии – Марии Александровны Мейн и Ивана Владимировича Цветаева.

Ариадна – Аля Эфрон родилась 5 (18) сентября 1912 года под звон колоколов совсем в другой части Москвы, в Замоскворечье.

Девочка! – Царица бала,
Или схимница, – Бог весть!
– Сколько времени? – Светало.
Кто-то мне ответил: – Шесть.

Чтобы тихая в печали,
Чтобы нежная росла, –
Девочку мою встречали
Ранние колокола.

О приобретении дома, в котором родится «царица бала», её отец сообщает в письме сестре Елизавете: «Через несколько дней мы покупаем старинный особняк в девять комнат, в прекрасном тихом переулке. Напоминает он бабушкин, хотя, конечно, меньше последнего».

Спустя год Цветаева записала:

«Аля – Ариадна Эфрон – родилась 5-го сентября 1912 г., в половину шестого утра, под звон колоколов. <…>

Я назвала её Ариадной, вопреки Серёже, который любит русские имена, папе, который любит имена простые („Ну, Катя, ну, Маша, – это я понимаю! А зачем Ариадна?“), друзьям, которые находят, что это „салонно“.

Семи лет от роду я написала драму, где героиню звали Антрилией.

От Антрилии до Ариадны. –

Назвала от романтизма и высокомерия, которые руководят всей моей жизнью.

Ариадна. – Ведь это ответственно! –

Именно потому».

В собственном особняке родителей – лишь исток жизни Ариадны. Уже весной 1913 года семья уезжает в Коктебель, а с этим домом решает расстаться.

В квартиру № 3 дома № 6 по Борисоглебскому переулку Марина и Сергей Эфроны въезжают с двухлетней дочкой. Здесь – детство Ариадны, здесь истинное начало её судьбы, отсюда она с матерью уезжает в мае 1922 года из Советской России к отцу.

Мой первый шаг! Мой первый путь
Не зреньем узнаю, а сердцем.
Ты ждал меня! о, дай вздохнуть,
Приотвори мне детства дверцу!

И ты открылся, как ларец!
На! ничего наполовину!
Твой каждый мостовой торец
Вновь устлан пухом тополиным…

Первоисточник всех чудес
(Зачем они вошли в привычку!)
Как звёзды доставал с небес
Снежинками на рукавичку.

Ты помнишь? Всё, чем был богат
Ты отдал, щедр и неоплачен,
Мой первый дом, мой первый сад,
И солнце первое в придачу.

Так, откровеньями маня,
Путём младенческих прогулок
Ты ввёл когда-то в жизнь меня,
Борисоглебский переулок!

Это стихотворное признание Ариадна Сергеевна Эфрон напишет жизнь спустя.

Если выйти из Борисоглебского дома налево, Собачьей площадки не миновать. В центре площади – ампирный фонтан. Марина Цветаева называла его Марининым по имени Марины Мнишек, своей соименницы. В путеводителе «По Москве» 1917 года упомянуто, что сыном А.С. Хомякова на Собачьей площадке был поставлен своеобразный памятник-фонтан. «В центре памятника возвышался гранёный красный столб с чёрными собачьими мордами на гранях. Во рту собачек были трубочки, из которых когда-то били фонтанчики… Бывший водоём вокруг столба тоже был гранёный. На гранях были вылеплены амурчики с трубами: весь памятник окружали гранитные ступени. По бокам круглого сквера стояли лавочки, а у чугунной ограды росли ясени» – такое описание площади оставила жительница Арбата Е.Б. Костякова.

На фотографии фонтана начала 1910-х годов видно, что гранёный столб венчала урна, а морды, из которых текла вода, в разных воспоминаниях называют сердитыми и не то львиными, не то собачьими. Да и версии происхождения фонтана-памятника множились и прирастали легендами.

Сюда водили няньки гулять Ариадну. Они и сами были не прочь посидеть с московскими говорливыми старушками у фонтана имени собачки, в этом уютном, камерном уголочке старинной Москвы.

Путь проходил мимо булочной Милешина (дом 12/2) и прачечной. В тетради Али среди записей о своём детстве есть и такая: «Из прачешной всегда выходила хромая прачка и начинала разговаривать с нянькой. Я её почему-то страшно ненавидела, и когда она меня кротко и любезно спрашивала куда я иду, я сердито отвечала каждый раз: „в гости“, а нянька прибавляла: „Голодать кости“. (очевидно глодать.) Когда я наконец вырывала няньку из разговоров мы шли дальше».

С 1917 года – другая жизнь и другие воспоминания. После революции Цветаева неоднократно упоминает появившуюся в её жизни «Лигу спасения детей». Эта организация была подведомственной Красному Кресту. Во времена Гражданской войны одно из подразделений Лиги размещалось на западной стороне Собачьей площадки, в здании известной всей округе Долгоруковской лечебницы.

«Лига спасения детей» занималась сбором и доставкой продовольствия, распределением его по школам, детским садам и приютам, устройством детских столовых. Правление Лиги располагалось на Мясницкой, дом 20, в обществе «Кооперация».

Идея помощи голодающим детям России возникла у Владимира Галактионовича Короленко в Полтаве осенью 1918 года. Первоначально организация появилась на Украине, потом – в Москве. Среди тех, кого не могла не волновать эта проблема, была и Екатерина Павловна Пешкова.

Лига, утвержденная Советом народных комиссаров, являлась независимой общественной организацией. В перечне её главнейших задач было устройство приютов и колоний для беспризорных детей, в том числе детей погибших красноармейцев. За время существования организации через неё прошло примерно 3500 человек. В подчинении Лиги находилось свыше 18 колоний, 11 детских садов, санаторий,

детские клубы и огороды. Для своих целей она использовала помещения учреждений здравоохранения, а также бывшие приюты, входившие в ведомство императрицы Марии Фёдоровны.

Организация просуществовала недолго – около двух с половиной лет. В 1920 году руководство Лиги обратилось к советскому правительству с просьбой разрешить получение помощи для голодающих детей из-за границы. На этом документе В.И. Ленин делает пометку: «Я думаю, что это подвох» – и переадресует Ф.Э. Дзержинскому. Председатель ВЧК ставит свою резолюцию: «Кормить наших детей не заграница будет». Вскоре наркомпрод наложил вето почти на все запасы продовольствия Лиги, полученные из российского, американского и датского отделений Красного Креста. В январе 1921 года детские учреждения «Лиги спасения детей» были переданы Московскому отделу народного образования. Позднее на их основе создавались знаменитые трудколонии.

Из этого ясно, что там, где детей кормили и «пахло супом», наступил голод.

В записной книжке Марины Цветаевой страшного 1919 года читаем:

«Пишу в чужом палисаднике. Аля обедает в подвале этого дома, в Лиге Спасения Детей. (Как это грозно звучит! Вроде Чумы!)

Только что проглотила даровой обед в детском саду Залесской. – Рядом со мной, в умывальном кувшине, несколько ложек супу и кусок хлеба в узелке, – Алин даровой обед из советской столовой.

Сейчас идём в д<ом> Соллогуба («Дворец Искусств») за 3мя обедами (супом и тремя воблами на всех.)

– И все голодны».

Здесь упоминается детский сад Залесской. Он располагался по адресу Большая Молчановка, 34. Аля начала ходить в него в конце августа – начале сентября 1919 года, но проходила недолго: «…Потом стирка, мытьё посуды: полоскательница и кустарный кувшинчик без ручки „для детского сада“, короче: – „Аля, готовь для мытья детский сад!“ (Аля походила три недели, схватила коклюш, теперь хожу за обедом)».

Ни кровинки в тебе здоровой. –
Ты похожа на циркового.

Вон над бездной встаёт, ликуя,
Рассылающий поцелуи.

Напряжённой улыбкой хлещет
Эту сволочь, что рукоплещет.

Ни кровиночки в тонком теле, –
Всё новиночек мы хотели.

Что, голубчик, дрожат поджилки?
Всё, как надо: канат – носилки.

Разлетается в ладан сизый
Материнская антреприза.

Москва, октябрь 1919

Казалось бы, можно как-то выжить, спастись и спасти детей, но… «Ранняя зима в этом году. – Очень холодно». Читаем и пытаемся представить жизнь матери, дворянки, поэта, а значит, «утысячерённого человека» в ноябре 1919 года.

«…надо сказать, нам круто пришлось: сразу прекратились все даровые обеды и мы 5 дней ели исключительно овощи на воде и картофель – огромными количествами – „Аля, хочешь есть?“ – Нет, Мариночка, я *нашего* совсем больше не могу есть, я лучше буду спать».

Часто помогала соседка по дому Елизавета Моисеевна Гольдман:

«И сегодня вышел блаженный день – Елиз<авета> Моис<еевна> Г<ольд>ман достала мне 2 билета в Лигу Спасения детей и подарила множество еды (у самой трое детей, её доброта божественна, 3 года жизни отдам, чтобы ей хорошо жилось!), я получила для Али праздничный обед в детск<ом> саду: пол яблока, конфету, 2 кусочка серого хлеба, бурду вместо супу, 2 ложки тёртой свёклы – и к довершению всего – оказывается: вчера хлеб выдавали!».

В том же ноябре запись Цветаевой:

«Живу с Алей и Ириной (Але 6 л., Ирине 2 г. 7 мес.) в Борисоглебском пер., против двух деревьев, в чердачной комнате – бывшей Серёжиной. Муки нет, хлеба нет, под письменным столом фунтов 12 карт<офеля>, остаток от пуда „одолженного“ соседями – весь запас! <…>

Живу даровыми обедами (детскими). <…> Мой день: встаю – верхнее окно еле сереет – холод – лужи – пыль от пилы – вёдра – кувшины – тряпки – везде детские платья и рубашки. Пилю. Топлю. Мою в ледяной воде картошку, к<отор>ую варю в самоваре. Самовар ставлю горячими углями, к<отор>ые вынимаю тут же из печки. (Хожу и сплю в одном и том же коричневом, однажды безумно-севшем бумазейном платье, шитом весной 17-го года за глаза у Аси в Александрове. Всё прожжено от падающих углей и папирос. Рукава – когда-то на резинке – свёрнуты в трубу и заколоты булавкой.)

Потом уборка.<…> За водой к Г<ольд>манам, с чёрного хода, боюсь наткнуться на отца. Прихожу счастливая: целое ведро воды и бетон! (И ведро и бетон – чужие, моё всё украдено.) <…>

Часы не ходят. Не знаю времени. <…>

Маршрут: в детский сад (Молчановка, 34) занести посуду, – Староконюшенным на Пречистенку, оттуда в Пражскую столовую (на карточку от Гранских), из Пражской (советской) к бывшему Генералову – не дают ли хлеб – оттуда опять в детский сад – за обедом – оттуда – по чёрной лестнице, обвешанная кувшинами, судками и бетонами – ни пальца свободного – и ещё ужас: не вывалилась из корзинки сумка с карточками! – по чёрной лестнице – домой. – Сразу к печке. Угли ещё тлеют. Раздуваю. Разогреваю. Все обеды – в одну кастрюльку: суп вроде каши. Едим. (Если Аля была со мной, первым делом отвязываю Ирину от стула. Стала привязывать её с тех пор, как она, однажды, в наше с Алей отсутствие съела из шкафа полкочна сырой капусты.) – Укладываю Ирину. – Спит на синем кресле. Есть кровать, но в дверь не входит. – Кипячу кофе. Пью. Курю. Пишу. Аля пишет мне письмо или читает. Часа два тишина. Потом Ирина просыпается. Разогреваем остаток супа. Вылавливаю с помощью Али из самовара оставшийся – застрявший в глубине – картофель. Аля ложится спать, укладываем – или Аля или я – Ирину.

В 10 ч. день кончен. Иногда пилю и рублю на завтра. В 10 ч. или в 11 ч. я тоже в постели. Счастлива лампочкой у самой подушки, тишиной, тетрадкой, папиросами, – иногда – хлебом. <…> Но жизнь души – Алиной и моей – вырастет из моей записной книжки – стихов – пьес – её тетрадки.

Я хотела записать *только день*.

Москва, – кажется 10-го ноября 1919 г.».

Из этого рассказа одного дня жизни Марины Цветаевой нельзя не понять её решения ради спасения дочерей отдать их в Кунцевский приют. Предложение она услышала от близкого друга – Лидии Александровны Тамбурер, с ней-то она и отвозит девочек 14(27) ноября в Кунцевский приют («имение Аннино»), где, возможно, приходящим врачом служил муж Тамбурер Владимир Аввакумович Павлушков. Он обнадёжил Цветаеву в отношении лечения и усиленного питания, которые тогда и в самом деле ещё были.

Поскольку в приют принимали только сирот, Цветаева вынуждена была назваться приёмной матерью своих дочерей. В записной книжке появляются «Алин отъезд в приют» и «Кунцевская эпопея». О первых приютских днях Аля рассказывает в своей тетради в виде письма к матери.

Адрес Лиги на Собачьей площадке в судьбе Марины Цветаевой миновать невозможно. Через 10 дней после того, как дети будут отвезены в Кунцево, запишет:

«Иду по Собачьей площадке. Тонкий голос:

– „Здравствуйте! А Ваша Аля по Вас скучает!“

Оглядываюсь: жалкая простая девочка лет 10-ти в рваном жёлтом пальто. Рядом деревенские сани с соломой, рыжая лошадь. – „Ты видела Алю?“ – Оказывается, девочка из Алиного приюта, приехала с заведующей в Лигу Спасения Детей „за продуктами“. Я, взволнованно и горестно: – „Ну, как Аля? Как она живёт?“ – „Скучает, плачет“».

Через два дня от заведующей приюта, Настасьи Сергеевны, с которой Марина Цветаева сговорилась поехать – навестить детей, она узнаёт, что её Аля «захворала».

Две руки, легко опущенные
На младенческую голову!
Были – по одной на каждую –
Две головки мне дарованы.

Но обеими – зажатыми –
Яростными – как могла! –
Старшую у тьмы выхватывая –
Младшей не уберегла.

Две руки – ласкать-разглаживать
Нежные головки пышные.
Две руки – и вот одна из них
За ночь оказалась лишняя.

Светлая – на шейке тоненькой –
Одуванчик на стебле!
Мной ещё совсем не понято,
Что дитя моё в земле.

«19-й год прекрасен, – если за ним не последует 20-й!».

Заболевшую Алю Марина Цветаева увозит в Москву.

Дела со здоровьем Ариадны обстояли так плохо, что по дороге они будут вынуждены остановиться в Кунцевском красноармейском госпитале. Позже Ариадна Сергеевна скажет, что у неё был «брюшняк и сыпняк», то есть тиф, но это, видимо, не так. В госпиталь с инфекционным заболеванием их бы не приняли, да и с малярией это стало возможным лишь потому, что главным врачом был близкий знакомый, друг – В.А. Павлушков.

Даты и указание места написания под стихами воистину – «путь к пониманию» и не только стихов, а и судьбы, биографии поэта.

Итак, в приют дети попадают 14(27) ноября 1919 года. В госпитале (значит, уже вместе) 16(29) декабря будет написано первое стихотворение – «Между воскресеньем и субботой…». 17(30) декабря – «Простите Любви – она нищая!..». Кроме даты Цветаева обозначает место: «Кунцево – Госпиталь».

Звезда над люлькой – и звезда над гробом!
А посредине – голубым сугробом –
Большая жизнь. – Хоть я тебе и мать,
Мне больше нечего тебе сказать,
Звезда моя!..

4 января 1920, Кунцево – Госпиталь

По старому стилю это стихотворение было написано 22 декабря 1919-го. Из записных книжек Марины Цветаевой того года мы узнаём, что Рождество (по старому стилю 24 декабря) мать и дочь встретили вместе. Ясно, что Аля в приюте пробыла чуть больше месяца. Ирина «ещё „дюжила“ – ходила, не лежала; всё просила „чаю“» и осталась там, где уже не кормили. Но ещё до потери дочери, до этой страшной беды, зародится мечта о сыне и провидение его рождения – в стихотворении ноября 1919 года:

В тёмных вагонах
На шатких, страшных
Подножках, смертью перегруженных,
Между рабов вчерашних
Я всё думаю о тебе, мой сын, –
Принц с головой обритой!

Были волосы – каждый волос –
В царство ценою……

На волосок от любви народы –
В гневе – одним волоском дитяти
Можно……сковать!
– И на приютской чумной кровати
Принц с головой обритой.

Принц мой приютский!
Можешь ли ты улыбнуться?
Слишком уж много снегу
В этом году!

Много снегу и мало хлеба.

Шатки подножки.

После госпиталя выхаживать, «выхватывать» из цепких рук смерти, Марина Ивановна везёт дочь не в холодный дом в Борисоглебском, а в Мерзляковский, к племяннице мужа А.К. Герцык Василисе Александровне Жуковской, предложившей временно их приютить.

Начало января 1920. В письме Цветаевой друзьям В.К. Звягинцевой и А.С. Ерофееву читаем: «Москва – числа не знаю – день: четверг, год: 1920», сообщает свой адрес: «Мерзляковский пер. дом 16, кв. 29 (большой красный дом, подъезд с улицы, верхний этаж, дверь направо)», просит навестить их с Алей и принести папирос.

В следующем письме им же 22 января (4 февраля) – о тяжёлой болезни Али (малярия!), об их одиночестве и отсутствии какой бы то ни было помощи.

2 (15) февраля 1920 года в приюте умерла от истощения младшая дочь Цветаевой Ирина. Ей не исполнилось и трёх лет.

По одной из версий, именно здесь, на Собачьей площадке, стоя в очереди, Марина Цветаева узнала о гибели Ирины. Этой вестью её материнство будет ранено смертельно.

«Я получил блаженное наследство – / Чужих певцов блуждающие сны…», – это строки Осипа Мандельштама.

Марина Цветаева представляла «две возможности биографии человека: по снам, которые он видит сам, и по снам, которые о нём видят другие», имея в виду, конечно, не только подлинные человеческие сны…

Сновиденное наследство, оставленное Цветаевой, велико – порядка 50 записанных снов, которые она, записав, толковала. Сны блуждали, тревожили, одаривали невозможным, но о «блаженстве» их говорить приходится далеко не всегда.

Потеря Ирины кажется ей страшным сном. Не было чувства вины? Было! И не перестанет мучить всю жизнь. «…ночью мне снится во сне Ирина, что – оказывается – она жива – и я так радуюсь – и мне так естественно радоваться – и так естественно, что она жива. Я до сих пор не понимаю, что её нет, я не верю, я понимаю слова, но я не чувствую, мне всё кажется – до такой степени я не принимаю *безысходности* – что всё обойдется, что это мне – во сне – урок, что – вот – проснусь», – делится она с В. Звягинцевой в феврале 1920 года.

Сны о дочери буквально терзают:

«Держу её на руках, верней – она меня обхватила (руками за шею, ногами за пояс.)

– „Ну, поцелуй меня!“ – Лицо – её, прекрасные глаза её тёмные, золотые волосы, – но весёлая! здоровая!

Целует. Взгляд немножко лукавый, как когда на: „Скажи: мама!“ застывала с открытым ртом: – „М – а – а –а – а…“ <…>

Держа её на руках, испытываю такую остроту блаженства, с которой не сравнится *НИЧТО*. – Непереносно как-то. (М<ожет> б<ыть> это и есть – Материнство?)».

Живая девочка недолюблена… Умершая – навеки потерянная – обожаема матерью и незабываема.

«На днях – 13-го апреля – Ирине было бы 3 года. Мне не с кем говорить об Ирине – Аля не знает, с другими совестно, ни к чему – поэтому пишу об ней в книжку.

Сегодня Страстная Суббота, чудесный день, утро, солнце греет волосы на лбу, сижу у открытой форточки.

Вспоминаю – сами вспоминаются! – чудесные Ирининины глаза – ослепительно-тёмные, такого редкостного зелёно-серого цвета, изумительного блеска – и её огромные ресницы.

О, я хочу сына! – А если С<ёрежу> мне не суждено встретить – мне никого не нужно.

– А всё-таки – даже если будет сын – мне всё-таки вечно будет грызть сердце, что – двое, когда могло быть трое. – Вот. –

В Иринину смерть я по прежнему не верю», – признается Цветаева. Она же вынесет себе и миру – месту и времени – беспощадный приговор:

«История Ирининой жизни и смерти:

На одного маленького ребенка в мире не хватило любви».

Боль от чувства вины она пронесёт в себе до конца.

Тема трагического материнства Марины Цветаевой – непосильная, как никакая другая. Трагическое время, трагическое материнство. И если по определению Цветаевой «Поэт – это утысячерённый человек», то и материнское в Поэте утысячерённое. Доказательство? Весь почти 30-летний брак Марина Цветаева – Сергей Эфрон. Что она делает сразу после встречи со своей судьбой 5 мая 1911 года на коктебельском берегу? 7 июля везёт своё «роковое и грустное счастье» в Москву и затем в Башкирию – на кумыс: выхаживать, опасаясь вспышки туберкулёза после страшной вести о смерти матери и брата.

Перелистав страницы жизни Марины Цветаевой и неоднократно прочитав: «Хотите ко мне в сыновья?», без удивления примешь: «В человеческом – больше всего – мать».

А как же решение отдать дочек в приют? Решение далось непросто, а ответ прост – СПАСТИ!

«Никто не понимает, что меня нужно – просто – пожалеть», – эту просьбу услышит, как никто другой, старшая дочь – Ариадна: «Ах, Марина, мне бы хотелось обнять Вас с четырёх сторон своей души!».

Не об одиночестве ли Марины Цветаевой сказал Иосиф Бродский: «Чем лучше поэт, тем страшнее его одиночество»?..

«Вчера, возвращаясь домой по Арбату, было так черно, что мне казалось: я иду по звёздам» – 1919-й, Марина Цветаева.

На московской земле, которую Марина Цветаева поцеловала словом, навсегда остались её следы и ветер крылатой походки. Но ещё при жизни её путь был не только и не столько по земле, сколько – по звёздам и под звёздами памяти…

А Собачка до самой своей кончины – прокладки Калининского проспекта, который Анастасия Ивановна Цветаева называла «вставной челюстью Москвы», или «нашим Вишнёвым садом» – оставалась по-особенному уютной, тихой, будто прислушивающейся к незабвенному звуку шагов незабвенных…

«Смерть, наверное, такой же океан, как жизнь. Говорю ересь, ибо смерти – нет». Это слова «самого московского из московских поэтов» – Марины Цветаевой.

Историю города составляют тома, главки, строки, рассказывающие или умалчивающие о судьбах людей, живших, живущих и тех, кто придёт следом. Каждый адрес, часто связанный с множеством имён, можно прочитать как отдельное стихотворение, но из венка сонетов, услышать как самостоятельно звучащую часть, но одной единственной, неповторимой симфонией жизни города, имя которого – Москва.

В помощь нам не только оставленные в наследство сведения, но и дорождённая память сердца и души.

«ЛИТМУЗЕЙ»

ЕВГЕНИЙ ДЕМЕНОК

ДАВИД БУРЛЮК
СУВЕРНИРЫ. СТИХИ ИЗ АЛЬБОМА В ПАРЧОВОМ ПЕРЕПЛЁТЕ
(окончание)

О Бурлюке-поэте можно говорить и говорить. Но если в предыдущих публикациях мы говорили о самом процессе написания им стихов, то в этой, завершающей, я хотел бы взглянуть и на «другую сторону медали».

Многое в характере Давида Бурлюка можно понять как раз через длящееся всю жизнь его увлечение поэзией. Хотя слово «увлечение», конечно, слишком слабо. Бурлюк поэзией жил, был натурой поэтической во всех смыслах этого слова. Он бесконечно читал вслух стихи, бормотал их себе под нос или декламировал в компании. Он воспринимал мир поэзии как «страну чудес, страну цветов» – кстати, цветы были ещё одной его страстью, в последние двадцать с лишним лет жизни он постоянно их писал – и совершенно искренне считал, что в этом мире поэзии он может скрыться от житейских невзгод и неурядиц.

Очень показательным в этом смысле является написанное им 10 июля 1936 года в восемь часов вечера и переписанное для газеты «Русский голос» спустя две недели, 24 июля, стихотворение:

Моя рука бежит к бумаге,
Моя душа к извивам строк,
Влечёт, как рыцаря к отваге,
Затей и слов вихреворот.

От жизни прозы и угрюмья
В страну чудес, в страну цветов,
Где полны сказок и раздумья
Потоки лучезарных снов.

Где нимф весёлых хороводы
Где в счастьи птичек и цветов
Первичные прозрачны воды
Родник древнейших юнеснов!

Страну поэзии привечу
На арфе, лютне иль рожке
Я вдохновению навстречу
Лечу призывно налегке.

Земную жуть отбросив мигом
В грядущее свой парус мчу
Где маяками встали книги
Всегда враждебные бичу.

В эту волшебную страну поэзии он сбегал от «земной жути» регулярно. И то, что сам себя он считал в первую очередь поэтом, а уже потом художником – хотя мало кто усомнится в том, что дарование его как художника несравнимо выше – красноречивее всего говорит о его мировосприятии. По сути, всю свою жизнь он вёл поэтический дневник, в котором фиксировал мимолётные впечатления, описывал вполне рядовые, текущие события, как, например, отъезд младшего сына на учёбу в университет, не забывая при этом указать дату и даже время и место написания стихотворения, а иногда и описывая такие забавные детали, как, например, их с женой меню на завтрак. Дневник этот не был систематическим, он был разбросан по альбомам, записным книжкам и просто обрывкам бумаги, которые в нужный момент оказались под рукой. К счастью, Мария Никифоровна старательно переписывала эти поэтические зарисовки и позже публиковала в журналах «Color and Rhyme». Но туда попало далеко не всё, и данная публикация частично восполняет этот пробел.

Альбом в парчовом переплёте Бурлюк заполнял в 1930-х. Годы эти были в его биографии особенными и едва ли не самыми тяжёлыми. Великая депрессия, отсутствие заказов, необходимость оплачивать образование сыновей поставили семью Бурлюков на грань выживания. Зачастую им нечем было заплатить за съём квартиры, не говоря уже о таких мелочах, как отопление. Спасала лишь работа в газете «Русский голос» и небольшие деньги, которые удалось получить от правительства в рамках программы W.P.A., в рамках которой финансировалось строительство и искусство (по сути, это был «госзаказ» для оставшихся без денег художников, литераторов, артистов, музыкантов). Именно в эти годы Бурлюк становится певцом кварталов бедняков в южном Манхэттене, которые вскоре будут снесены. Один из ближайших его друзей, американский художник Рафаэль Сойер, в своём интервью американскому журналисту Милтону Брауну особенно выделял эти картины: «Но в его работах было настоящее качество. По-моему, самые лучшие его вещи – это виды южного Ист-Сайда. Очень хорошие работы. Там, где изображена архитектура южного Ист-Сайда и люди южного Ист-Сайда. Я помню изображение пирса, на котором нарисовано много людей, сидящих вдоль воды. Это было впечатляюще»[1].

Но, как мы знаем, Давид Давидович писал не только картины. Многие его стихотворений того периода продиктованы впечатлениями от встреч с бездомными.

А вообще, чем старше он становился, тем более лирическими становились его стихи. Лирическими и философскими. Читая их, понимаешь, что все эпатажные «гробы» и «мертвецы» из ранних стихотворений питаются как раз из этого «философского» источника, философского склада его характера, который не позволял ему забыть о неминуемых старении, разрушении, смерти. Всё напоминает ему об этом – и старое высохшее дерево, и искры, летящие из костра, и согбенная фигура старика…

Но главные, глубинные черты характера человека, в отличие от внешности, почти не изменяются в течение жизни. Лириком Бурлюк был с ранней юности, просто в определённый период его страстная любовь к новому, неудержимая тяга к обновлению искусства определяла радикальность его высказываний. Но начиная с 1930-х, уже в Америке, когда остался позади период манифестов и можно было становиться самим собой, из его поэзии ушёл эпатаж, но остались яркость переживаний и радость каждого прожитого дня, перемежающиеся размышлениями о бренности всего сущего.

Об этой любви Бурлюка к философствованию вспоминал поэт, прозаик, переводчик Сергей Спасский: «Бурлюк сразу же пустился теоретизировать. («У меня на всё своя теория», – впоследствии признавался он мне)»[2].

Однако жизнерадостность неизменно побеждала. Жизнерадостность и лиризм. Бурлюк был неисправимым романтиком.

«Бурлюк был человек довольно лирический, всё время читал стихи, и свои тоже стихи часто читал. Но это ещё до Маяковского. Когда появился Маяковский, он больше читал стихи Маяковского и Хлебникова», – вспоминала художница Мария Синякова.[3]

Причём лиризм настолько не вязался с внешностью Давида Давидовича, диссонанс между внешним и внутренним был настолько велик, что поначалу поражал новых знакомых.

Алексей Кручёных так вспоминал свой первый приезд в Чернянку, где отец Бурлюка, Давид Фёдорович, служил управляющим имением графа Мордвинова:

«Давид Давидович встретил меня ласково. Он ходил в парусиновом балахоне, и его грузная фигура напоминала роденовского Бальзака. Крупный, сутулый, несмотря на свою молодость, расположенный к полноте, – Давид Давидович выглядел медведеобразным мастером. Он казался мне столь исключительным человеком, что его ласковость сначала была понята мною как снисходительность, и я приготовился было фыркать и дерзить.

Однако недоразумение скоро растаяло. Правильно, по-настоящему оценить Давида Давидовича на первых порах мешает его искусственный стеклянный глаз. <…> Давид Давидович, конечно, не слепой, но полузряч, и асимметричное лицо его одухотворено вполовину. При недостаточном знакомстве эта дисгармония принимается обыкновенно за грубость натуры, но в отношении Давида Давидовича это, конечно, ошибочно. Более тонкого, задушевного и обаятельного человека едва ли можно встретить.

Этот толстяк, вечно погружённый в какие-то искания, в какую-то работу, вечно суетящийся, полный грандиозных проектов, – заметно ребячлив. Он игрив, жизнерадостен, а порою и… простоват. Давид Давидович очень разговорчив. Обыкновенно он сыплет словами – образными и яркими. Он умеет говорить так, что его собеседнику интересно и весело. Записывать свои мысли он не любит, и мне кажется, что всё записанное не может сравниться с его живым словом. Это – замечательный мастер разговора.

Затем мы шли в сад писать этюды. За работой Давид Давидович читал мне лекции по пленэру. Людмила Давидовна, иногда ходившая к нам на этюды, прерывала брата и просила его не мучить гостя словесным потоком. <…> Иногда лекции эти затухали сами собой, и тогда Давид Давидович многозначительно произносил свое обычное „ДДДа“, упирая на букву д. Некоторое время молча накладывал на холст пуантель. Затем вдруг принимался громогласить, декламировать Брюсова, – почти всегда одно и то же… <…> Читал стихи он нараспев. Тогда я ещё не знал этого стиля декламации, и он казался мне смешным, после я освоился с ним, привык к нему, теперь порой и сам пользуюсь им. Кроме строчек про моторы Давид Давидович читал мне множество других стихов символистов и классиков. У него была изумительная память. Читал он стихи, как говорится, походя, ни к чему. Я слушал его декламацию больше с равнодушием, чем с интересом. И казалось, что, уезжая из Чернянок, я заряжен лишь живописными теориями пленэра. На самом деле именно там я впервые заразился бодростью и поэзией».[4]

Вот эти «бодрость и поэзия», эти детскость и ребячливость были присущи Давиду Давидовичу всю жизнь. Луна (и вовсе не дохлая!), звёзды, замки, привидения привлекают его даже в зрелом возрасте, дают пищу для вдохновения. Вера в волшебную силу искусства давала ему силы даже в самые сложные дни. Душа его была всегда открыта новому, а те самые упомянутые Бенедиктом Лившицем «торопливая всеядность» и «добродушное наплевательство» и сделали его тем, кем он стал – краеугольным камнем русского футуризма.

***

Стр. 118

Коричневых дубов ветвистые полки
Глядят на дол где вьётся лента Псла[5]
Их аромат пустой имеет влажность веса
И вечер опьянён осеннею тоской.

*

Вкруг пустынные деревни
Ширина немых лугов
Спят эти волосы зелени
Под дремотой облаков.
  Солнцем истомились сны
  И вдали от шума
  Волосы лунной волны
  Шороха лёгкие струны.
Подобно ивиным ветвям
Свисающим к болоту =
Власы падут к ея плечам
Веселья и заботы.
  Завитые точно предисловье
  Кустарники у реки
  Приглаживаются, как изголовье
  Течением ея руки.

*

С. 120
Уйти

Эту ослепшую осени муть
По дороге – пинским болотам
                подобной
С песенкой, писком мухи
                загробной
  Утонуть.

Поле ощерилось гробом зловеще
пустым
Чёрною краской прилежно
окрашенным
Воины тихо подняли щиты
Медленно движутся к целям
налаженным
Много их было, что стали зловещими
трупами
Зыбкой плотиной легли невылазную
топь
Бабы в тоске изольются
слезищами глупыми
Дождика в крышу
Бесцель надоедлива дробь.

*

Стр. 121
Выкидыш Мегеры

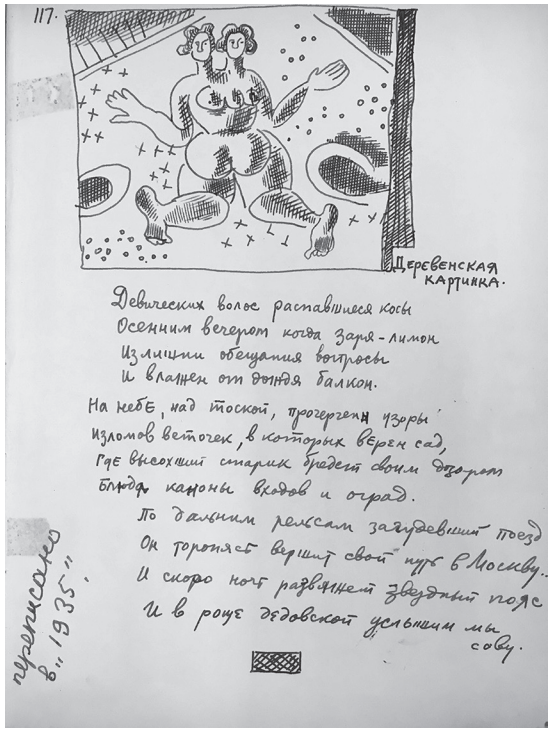
Приблудший стыд и срам
Палач убийца сокрушение
Самоубийца среди рам
Когда приходит радости крушение.
О негодяй, о крокодильи гадости
Где сыщикам не по плечу запор.
Вот червоточиной покрыты мои радости
И мертвечиной пропитался взор.
Гнездо ужей в помоях плащаница
О саван осени твой в рощах слышу
свист…
Какие бледные луны потомков лица,
Когда лишь под ногой шумит весенний лист.
(*стихи составлены по словам 1915-го года*).

*

Стр. 122
Пустыло нора

Согбенная фигура
Засаленный сюртук
Придёт посмотрит хмуро
И снова тук да тук.
Отца похоронили
Ужасное вчера
Бугор чернеет злобно
В прямые вечера
Весна в права вступает
Из окон виден крест
Где в веток чёрной стае
Он гость знакомых мест.
Дом опустел угрюмо
Средь комнат тёмных тишь
Отца осталась дума
И точит её мышь.

Ряд опустевших комнат
Где был отец вчера
Где стулья его помнят
И тишина двора.
Согбенная фигура
Засаленный сюртук
Придёт, посмотрит хмуро,
И снова тук да тук.



*

Пожар

Я жар-огонь, мой путь извивы
Моё всегда стремленье – вверх
Я не вода, что жмётся к ивам
Где мир прохлады не отверг.
Ревут седые водопады
С камней, со скал
Громады шума ринуть рады,
Что звоном оживят металл.
Не то огонь, он вьётся славно
Шипящий в тучам искропад,
Он прыгает дымя забавно
На пользу, часто невпопад.
Зимой суровой утлой стужи
Вдруг жрать начнёт людей домишки
Заботно мечется снаружи
Чирикает под кровлей птичкой.
Огонь забавник – скажешь нет,
На фоне моря ночи чёрном
Матросом лазает проворным
Меж вант и парусов тенет.
А кто угрюмо под землёю
Вдруг заревёт, как злой шахтёр
Резвится красной кутерьмою
Людей повыгонит из гор.
Тебя назвали петухом;
Пожар похож на бой петуший
Свой розовый язык и уши
Он садит на объятый дом.
Огонь нахал, он вор, притворщик
Змеелилов вползает (в) дом
Укрытный мрачный заговорщик
Злым, наказующим судом.

*

Изречения

1934. 18 февраля ездил в Вотерб. Конн(ектикут) (в автобусе)

Человек, находящийся в ванне, подобен вылупившемуся цыплёнку.

*

Каждый из нас входит в какой-нибудь дом в последний раз.

*

О браке.
Жена – это нежность и ласки в законсервированном виде. Всегда под рукой и свежий продукт.

*

Пуля – это удлинённый штык.
Пулемёт – удлинённая сабля.
Пушка – удлинённый, мощный таран.
Человек пытается удлинить свои руки, своё зрение,

*

Самые оригинальные таланты лишены
зачастую возможности увидеть свою славу.

*

В лесах друидов знали мои песни,
Тянули их на барках Миссисипи,
А пятый год на баррикадах Пресни
Их пламенем восстания насытил.

*

Очень часто конец бывает лишь только началом.

*

Необыкновенная смерть, подобно необычайной жизни,
делает подчас самое ничтожество знаменитостью.

*

Робость – качество беззащитности.
Жить – значит тратить ресурсы.
Бедняк должен быть бесконечно расчётливым.

*

Люди в деревне малы подобно их домам.
Но великие люди в городе обычно живут в самых непрезентабельных жилищах.

*

Богачи при жизни занимают громадные дворцы и о них говорит вся страна, но когда они умирают, то только камень со стёртой надписью напоминает некоторое время о них, говоря о тщете жизни и бессилии денег сделать человека бессмертным.

*

Я радуюсь просторам стратосферы,
Которой всем равно доступен бич,
Я восхищён попытками без меры
Её познать, оформить и постичь.

*

Мы только тени в этом мире,
Ответы дальних дней былых
Игрец на бирже, иль на лире –
Ты дышишь только краткий миг.

Мы все, как искры в тёмном поле,
Что ветер сдунул от костра,
Летим в сияний ореоле,
Считая мигами века.

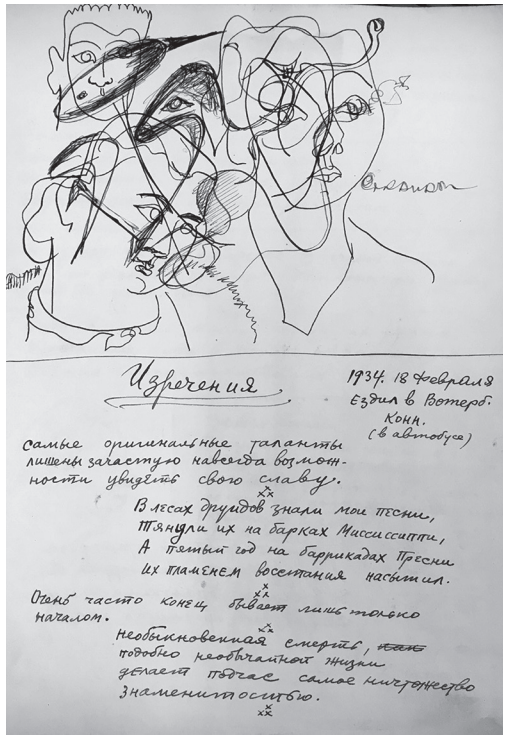
IV.18.1934
Написано до чтения Инн. Анненского

*

Я в облаке блуждаю снов,
Тенями мёртвых окружён,
Любуясь зеркалами слов,
Стоящими со всех сторон.
Пускай слова иных лишь
прозе службу
Несут, сгибаясь в пыльной чепухе,
Я с прошлой мудростью
поддерживаю дружбу,
Найдя её в созвучий пастухе.

4 мая 1934 года. 9 часов вечера дома.

*



Гиганты прошлого в пыли лишь книг живут,
Красавицы – в цветных политипажах,
Власы их скручены в благоуханный жгут
Шелки и кружева и пышные плюмажи…

Щиты героев вделаны в панель,
Закрыты ими водосточья труб,
И там, где голубела мель,
Там ныне зачернилась глубь.

Где взгляд Елены или Ниобеи?
О них лишь мрамора туман
Хранит тоску ваятеля затеей…

И, проходя осеннею аллеей,
Листов где жёлтый караван,
Их красоты прохожий не жалеет.

*

Крикливых стаи дам
И табуны мужчин
Неслись вдоль улиц площадей бульваров
По лабиринтным городам
В великий день кручин,
Когда иссяк успех обжорок банков баров.

6 окт. 1933 года

*

<u>В путь.</u>

Пленительна даль голубая,
Здесь лета царит карнавал;
Размашисто солнце лучами
Шагает, как брат, впереди.
Мещанская проза рябая,
Которой я недругом стал,
Осталась давно за плечами…
Не горбься, не мешкай, иди!

Отвергнутый, рынку не нужный,
Моё всё с собою несу,
Работ, где разумная лямка,
И зёрен тяжёлый налив,
Ступаю тропою жемчужной,
Приветя лазурь и грозу,
Я – зодчий воздушного замка
И сеятель облачных нив.

1934 год июль 17 Нью-Йорк Марусей (утром) переписано.

*

Бездомные

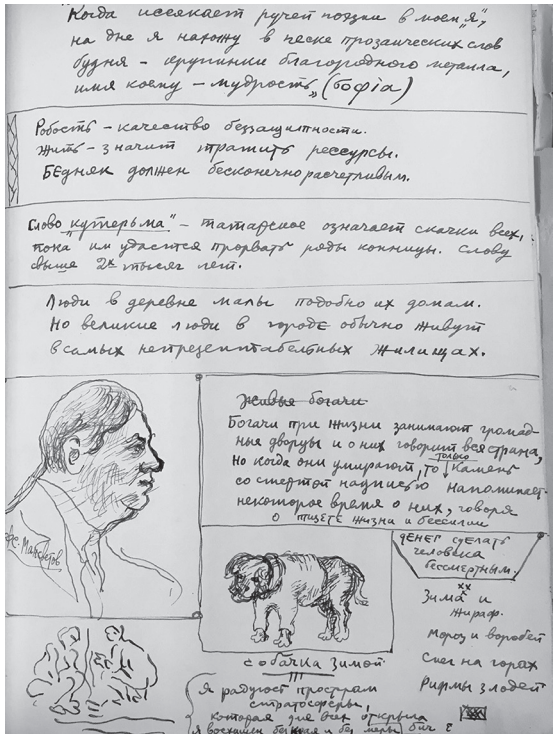
Лучей луны зелёная досада
О лунный светомёт среди ветвей
Предчувствьем осени измученного сада,
Где я бреду среди сырых аллей.
Скамейки здесь бездомников кровати
Бездомницы где сохнут в темноте
Загрезившись о тепло-сытой хате
А зеркало луны дианит в высоте.
Бездомница в него глядится вяло
Осколок зеркала над парком городским
Где спят, не зная ласки одеяла,
И не знакомы с «здравствуйте» людским.
Скамеек парка угловатость рёбра
Где митинг бессловесный фонарей
До утренней зари колеблется недобро
У спящих обывателей дверей.
Дома закрыты плотно для бездомных
Им лары и пенаты невдомёк
Нью-Йорка лабиринте нет им комнат
Кухонный им не вспыхнет огонёк.
Матраца не заменит парка травка
Осенняя сырая мурава
Воткнётся в ухо острою булавкой,
Когда её сминает голова.
Всё лето парк служил отелем,
Где отщепенцы знали свой приют,
Кусты где ширмы им, скамейки где постели
С которых их сгоняют поутру.
Но ночь теперь озноба лихорадкой,
Их потчует, когда луна в туман,
Как балахон для скверовой оградкой
Зелёный высохший оденет стан.

30.VIII.1934 год
10:40 утра за чаем. Завтрак (рыба копчёная, сливы, томаты, молоко, чёрн. хлеб, немного белого, чай, капуста со сметаной).

*

У каменной ночной стены
Фонарь страдалец одинокий
Свои расплёскивает сны
Что в дрёме знал у грязестока

Его лучистые слова
Как плющ среди кирпичной кладки
И в лысой пляске голова
За сказкой балует загадкой.
В перспективе предо мной –
Округлость газового бака
В объятьях смутности ночной
Невыраженная яснознаком
Преступно кругом лёг пустырь
И на него разведка света
Бежит с ужимками проныр
Чтоб нанести свои заметы.
А мимо пьяниц лунный хор,
Качаясь пляшет кораблями,
Сквозь дно бутылок слаб их взор
И руки вытянуты днями
Идут и мыслят о вине
О ласках ветреных гарема
Когда туманы вышине
Не выразили мыслей бремя.



*

Путь печали

Нужда её погнала на панель
В осенних сумерках,
болевших тягой к снегу…
Затем – пивная,
на углу отель,
И тут порок запряг её
в телегу!
Напрасно висли
сладкозвучья арф,
Девичьих грёз разбитые
скрижали…
Нуждою горькой затянулся
шарф
И лёг пред женщиной кремнистый
путь печали!

Панель Нью-Йорка

*

Экспромты на море

Я пошёл на побывку к природе –
Мой друг живёт в голубом доме

На небе – ни тучки;
Волной изузорена
Прозрачная даль.
Листы, как летучки;
Листы – инфузории,
Где воды – эмаль.
Цветок газолиновый
Вдыхаю мгновение
И снова – простор
И воздух малиновый,
Даря вдохновение –
Вьюнивший задор.

Здесь лёгким доступно
Морское дыхание
Мелодия – соль
    Где яхтою крупной
    (не знаю название)
    Исполнена роль.
Бродяги заморья
Заветность желания
И взмах парусов
    Внушенье: не споря
    Одобрить скитания
    Прогулки часов.

*

Я стал доступен снова неге
Морских запенивших часов,
Где своевольны волн набеги
И колоколит воли зов.

1935 год. 11юль.

*

О нём, о себе

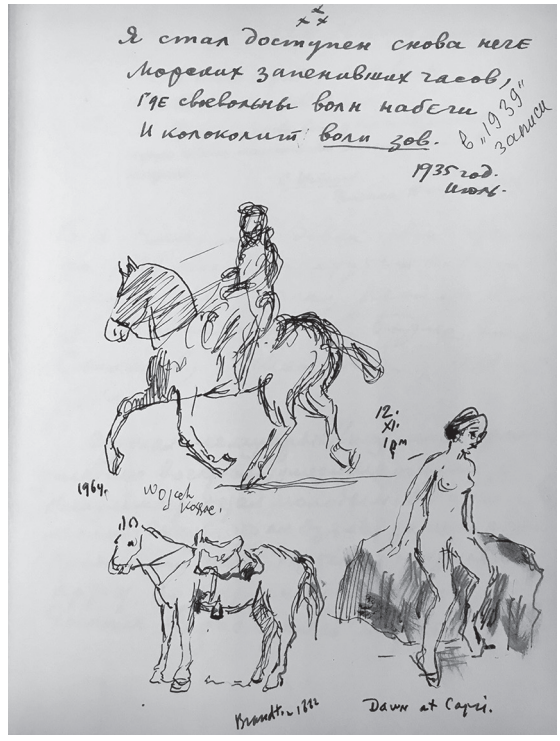
Его стихи залиты алкоголем,
Оплачены «тяжёлою ценой»,
Вдали дубравного раздолья
Для ритмов жизни злой.
  В стране безмерно-капитала
  Под хохоты пивных и баров голоса
  Его «цевница», как вдова, рыдала,
  Пока жужжала разума оса.
И тонким окликом питы
Пытался он связать сердца:
Тайник панический бандита
И комсомола голоса.
  «Живи живое!» – пели зори,
  Красуйся ярмаркою луг!
  Пускай, забыв свои раздоры,
  Народы станут в стройный круг.
Что, где экватор, хороводом
Плясать и славить солнца взлёт
И петь сияющие оды,
Что для сознанья – точный лот.
  Чтобы вселенского прилива
  Восславить радостность судьбы,
  Социализма – новодиво,
  Где – Геркулесовы столбы.

*

Океан
(последний поэт)

Я был захвачен океаном,
Волной от брега уносим…
Мне угрожал старик туманом,
И риф трезубием своим.

И час за часом плот Медузы
Меня в пустыню вод стремил
И порывал я с брегом узы,
И выбивался я их сил.
Созвездья надо мной мерцали
И пенилась вокруг волна,
И жидкий камень свои дали
В цвета окрасил синельна…
Я был один, я был в Нирване,
Никто не помнил обо мне –
Погибли все, в фантазий стане,
Сонеты кто слагал Луне.
По брегу жизни на Пегасе
Кто мчался, солнце полюбя,
Кто был смешон буржуев массе,
Кто жил столетья теребя…
И я один в пустыне водной,
Ветров игралище морских
Последней песнею свободной
Свой оглашал последний миг.



21 сентября 1936 по дороге в библиотеку в 8 час. вечера (на 42-й ул. II 5-й ав. дописано).

*

Древесных библий
бесконечье,
Там в рощах – книг шумят
листы,
Где находить просветы
в вечность,
Способен ежечасно ты!

*

Вкруг ярко пламенеют
клёны,
Воздушный свой
роняя шлейф,
На утомлённость
небосклона,
Овить услад последних
Кейф.

*

Разговоры с сухим деревом

(написано мгновенно в вагоне, во время поездки по Лонг-Айланду, к маяку Монток 20 авг. 1936)

Сухое дерево пришлось
мне по душе,
Я был его несчастьем
приколдован,
Оно костлявилось на
дальних нив меже,
Запретом выросшим коровам.
Осенним вечером люблю брести
не даром,
с костлявым мертвецом
наладив разговор,

Расскажет мне оно, как
здесь работал фармер,
Ведя с камнями и
корнями спор.
Рассказы дерева, забывшего
листву,
Просты они и тягостно унылы,
Я их «элегией страдальца» назову,
«Надгробием далёких плит могилы».

*

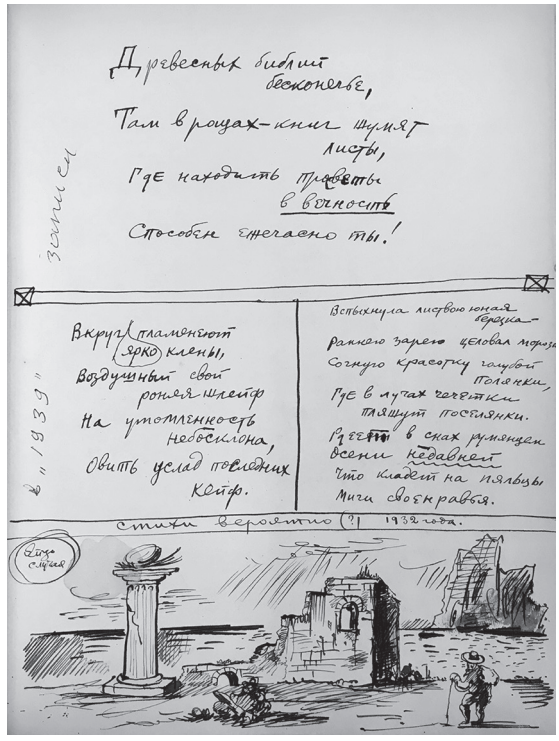
Закат-дукат,
Нам жалованный днём –
О нём теперь
слагаю я
поэму,
поэзных слов воздушную
трирему…
Закат – разливы огненных кудрей,
Причуда – сон, забытый
на рассвете…
Он отблеск золотой
Очей той девы, что жила
на свете
Чтоб быть вечернею зарёй,
Чтоб под пером
поэзой стать цветной.
Глядя через окно. Февр. 22, 1937

*

Сыновья

Дуб постарел, корнями впившись
землю,
Десятками считал минувшие
года…
былого покрывались они
темью
Они текли неведомо
куда!
Дуб постарел, в сучках, в сухих
гирляндах
Цветных листов –
как прежде он не мог
Сражаться с бурь свирепой
бандой
Ведь буря – это злобы
рог…
Но рядом с ним поднялися
два сына
Два дуба молодых, что стали, как скала…

1937, 22 февр. – 4 марта.



*

Введение

Не пассажиром ты а
капитаном
На палубу взойди земного
корабля
Пускай твой путь закрыт
туманом
Пускай далёкая неведома
земля
И в блёстках звёзд в зигзагах
бури
Веди корабль свой к той
мете
Где – солнце творческой
лазури,
Где вешний зорецвет.

*

На корабле жизни

Дни пробежали и вдали
Уже матросы видят гавань
Где много света и теней
Где каждая душа в оправе
Забот и помыслов своих
Чтоб в беспокойстве неустанном
В далёком странствии пространном
Ковать своей эпохи стих.

1938. Сентября 6-го, 9:30 утра. Никиша уезжает сегодня в 5:50 в Москву, штат Idaho, учиться там в университете на агронома.

*

Кочевье сердец

Твоей любви цветочной муки
Зари страдальческой полёт
Как в крымских рощах редко буки
В своих корнях приветят лёд.
Как тяжело пиита сердцу
У прозы жизни кочевать
Вкруг видя только иноверцев
Где горсть друзей, а злобных – рать.
Какие облака и склоны
Мне жизнь ещё предложит в час
Когда цветут одни уроны
И луч надежд давно погас.

*

Stellae
(наброски ночью на «Уайт Капе», шхуна)

Вешней ночью над заливом
Звёзды хороши
Их загадочное диво
Вызрело в тиши

Бесконечными путями
Вдаль лучи текут
И затейливыми снами
Мысль к себе влекут.
Звёзды это очи мрака
Звёзды это те миры
Где живут совсем инако
Для тумана и игры.
Звёзд живые хороводы
«Хоры стройные светил»
Отразили моря воды
Обнажая мокрый ил.

*

Звезда падучая

Она скользит дугою золотой,
Роняя искры, тая в темноте,
И кажется моей
несбывшейся мечтой,
Сгоревшей в жизни пустоте.

Печ(атано) Дек. 3-е, Р(усский) Г(олос)

*

Отъезд из дому
(посвящается Никише)

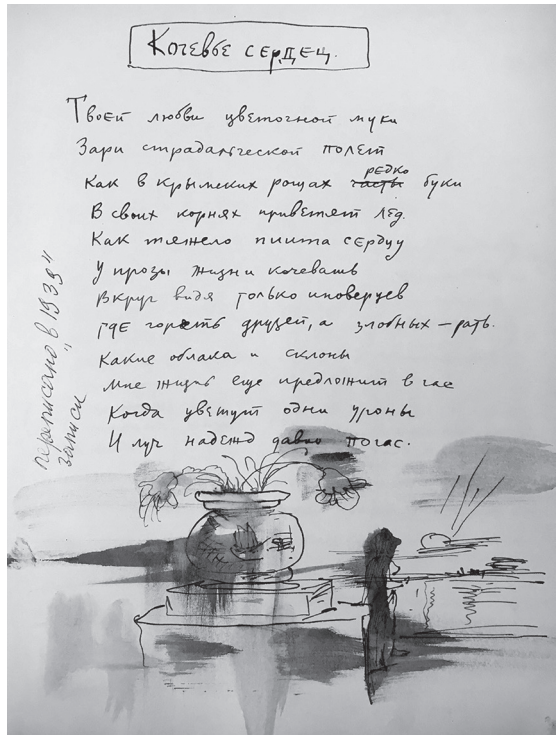
Уже давно в кибитке мчится
Он по дороге столбовой
Над ним кричит ночная птица
И месяц всходит за горой.
Дорога вдаль стрелой уносит
Его порывы и мечты,
Но помнит он девичьи косы
Что на плечи спустила ты
В его уме домашним кругом
Очерчен взлёт последних дней,
Когда как мотылёк над лугом,
Он славил радужность огней!
Златое детство промелькнуло,
Из чаши юности он пьёт,
Забыв о старости сутулой,
Надежд и веры сладкий мёд.
Уже давно в кибитке дрёмной
Дорогой мчится столбовой
Заря спешит за ночью тёмной
Взнести свой факел золотой.

10:50 а.т. 7.IX.1938
Вчера в 5:50 Никиша, наш милый сынок (23 года), уехал на Запад, в штат Idaho, учиться на агронома.
14.IX.1939 в 8:45 утра с 42-й улицы уехал в Москву штат Idaho наш дорогой сынок Никиша. Он пробыл дома с 15-го июня с/г, отдохнул душой и телом.
1940. Весной надеется получить диплом.

*

Воображенья конь

Как на картине Торо, –
воображенья конь!
Вонзи в бока мечтающую
шпору –
Вся наша жизнь назначена
раздору
И всюду – схватки и войны
огонь!
Какая поступь, гром копыт
И сабельных клинков блистанье,
Порыв за досяганий грани,
Где разум достиженьем сыт!!
Великолепен он, воображенья
конь,
Что под седлом идёт блистательной
фантазы
Под флагами бурленья и экстаза
С косматой гривою безудержный огонь.
1 дек. 1938, 9:10, дома



*

Во сне кто-то сказал мне:
– Можешь писать короткие стихи?
– Могу!
Вот сюжеты: счастье и горе.
Счастье – озеро, где солнце отразившися поёт,
Горе мутною рекою бесконечно вдаль течёт.

*

Ночь

Заря поспешно вскрыла банку
С голубоглазой чуткой мглой
И ею обдала крестьянку
С прекрасной шеей и спиной.

А в городе повсюду в троках
Везли поспешно тишину
Чтобы в домах её высоких
Раздать стремящимся ко сну

И напролёт у счастья кассы
Стояли нервные хвосты
Банкир, кухарка, лоботрясы
Под ликом чёрной высоты.

*

Осень

Лес хвастает оранжевой листвой
В тот час как Лето пишет мемуары,
А воздух – свиток золотой
Раскрыл над миром окрылённо чары.

По капле в эту пору пьём нектар, –
Остатка тёплых дней утехи…
О, осень, солнца экономный дар,
Последний вздох испепелённой
неги!

16 окт 1938
Ники в Айдахо. Деви на Хари-апе[6]
С Марусей были с 12 до 7 в Пелгам-Бей парке[7].
3 акварели. Чудная погода.

*

Женщина в пивной

Она, как плод познания добра и зла
Глядела из окна пивной
Виднелось золото волос узла
И глаза очерк неземной…
Она казалася упавшею с иной планеты –
На языке затерянном – поэма,
О коей грезят лучшие поэты,
Когда фантазии под парусом
трирема.
Она была в дыму и кружках
пива
Кружок пересидевших пьяниц
Но бледной лилией склонялась
горделиво
И на щеках отцвёл румянец.
Она не слышала несвязных грубых
слов
Что алкоголя порождает
лира
Она как путь, что снегом занесло,
Она – сестра полночного вампира.

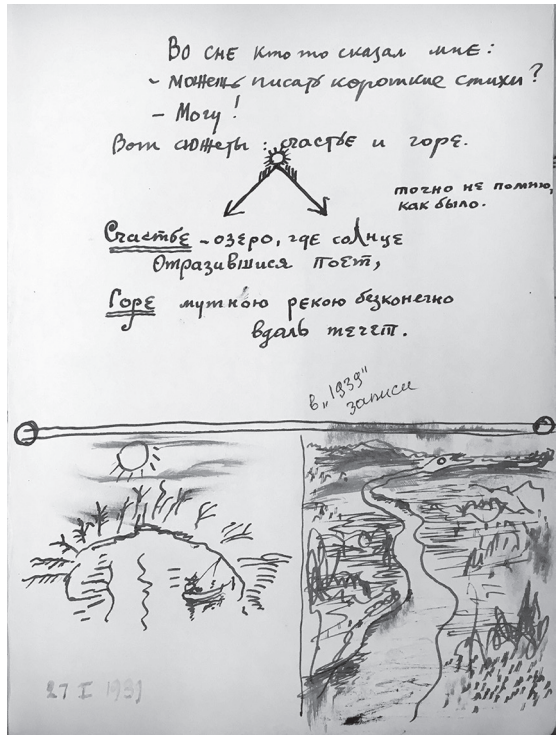
*

Темней чем ночи
И лучезарнее чем дни
И короче чем
падучие огни
Пространство и огонь мы
выражаем часом
Огонь – пространство или время?
Объёмом силой
Огонь одолевает вонь

*

В безмерных городах скупых капиталистов
Осенний дождь неумолкно зол
Он падает из туч и прыгает артистом
На старый нищего камзол.
А в сумерках у стен громадных зданий
Где столько выступов, где столько ниш,
Стоят шеренгами рабы скитаний
Стоят и слушают шум капель ночи тишь

Дождя стрела ложится в лужу косо
Прилежно лижет голую панель
Когда на улице лежит костяк курносо
И мокрых шин сипит уныло трель
Они стоят – страданья-изваянья,
Без цели, без надежд на запоздалый день…
Приют им в нишах дали скупо зданья
Идти им некуда, не нужно, лень…
Они следят, как дождь сечёт панели,
Неумолимый старый флагеллянт!
У них носы и души посинели
Зажаты в камень, в город-фолиант
Они стоят сонатой старой Баха,
В стране богатых – сущий историзм…
Экслибрис здесь для Голлербаха…[8]
«В штрихах прямых – капитализм».
Когда блеснут лучи рассвета новожизни
И мыльным пузырём исчезнут богачи,
Ненужные, обуза мира, слизни
Исчезнут призраки бездомности в ночи.



*

Суровые ночи

За полночь. В мусоре
разведка. Человек
Ему отбросы мира
интересны
Когда звезды над парком стэк.
Решить старается вопросы.
Весна в морях, на лбах
материков
Весна – повсюду в мусоре
и нови
Но он, носитель нищеты
оков,
И ночи для него суровы.

Стихи, написанные в 1 час ночи на улице (10-я и авеню Эй)

*

Я

Я – лишь машина сравнивать
и весить,
Я – лишь забава для других.
Могу в могуществе кудесить
И в шутках тонких скрасить
миг.

*

Осенние мысли

Поздней осени усмешка
Тихо бродит по полям.

Безмерна скорбь в моей груди
Когда так много близких стали тенью
И в путь иду почти один
Чтобы служить поэзии виденью.

Всё меньше в сердце радостных цветов
Осеннее тернии свои шипы раскрыли
А я к отчёту вовсе не готов
И скорые стихи ещё не стали былью.

Как в жизни всё подобно чехарде
Как много спешки, времени нехватка
Мы не себе обязаны – судьбе
И под грозой трясётся наша хатка.

Безмерна грусть во мне теперь
Как синей ночи свисли ея крылья
Так в жизни без конца потерь
А прибылей не вижу я обилья.

Отец и мать в забвеньи стали прах
И к ним ушли мои родные братья
Уныло солнце красное в полях
Осенние поёт заклятья.

Подобно пальцам длится тень
Смотри, она всё поле пересекла
Но я продлю свой творчий день
В полях, где греча, конопля и свёкла.

*

Как стая тигров
жёлтыми глазами
Как светит сад
ночными фонарями
И ураган разорванные
тучи,
Стада надежд,
уносит в край летучий
О, осень, ты,
как вор,
Подкралась невзначай…
Твой жёлтый взор
Унылит лесокрай.

23.VIII.1933
8 час. вечера. Страшный ливень уже 4-е сутки.

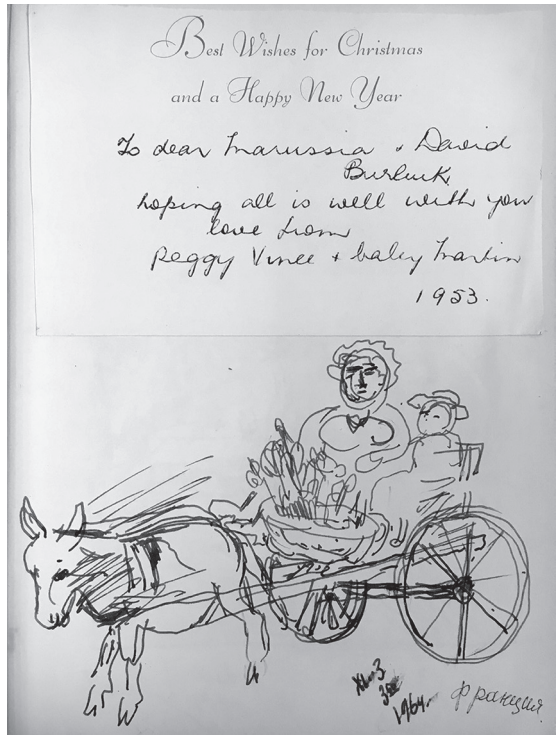
*

Ночной пейзаж

Полночь воздвигает в бархатах палаццо
И пред ней бессильны фонарей стада.
Будем темнотою влажной наслаждаться,
Той, что всех приемлет в лоно без следа.
Послеполуночность на груди лелеет
Дамбы и поляны, и размах полей.
Всюду протянулись чёрные аллеи,
Где блуждают хоры Бёклина теней
Эта непроглядность – призракам понятна.
Сумраков загадки – не глазам живых.
Ночи океаны чёрные отрадны,
Миг успокоенья, погребальный стих.

Ночь с 17 на 18 июля 1933. Написано в автобусе, ехали в Бостон.

*



И Шаттенштейн[9] писал пока,
Но стало два вдруг Бурлюка:
Один живой, живой вполне…
Другой – живой на полотне!!!

29 июля 1933,
Шаттенштейн, 33 West 67 St., NYC.
Закончил мой портрет.

*

Злая милость

Мореплаватель отважный,
Бесконечный непоседа,
Стал теперь клиент
гаражный
Не узнали б его деды.
Рыцарь в панцире калёном,
Гнувший конский крепкий круп,
Ныне всплыл банкиром сонным,
Что на бирже лишь не глуп.
Современный лживый пастор –
В прошлом знал запой трактирный;
В кельи он молельщиц часто
С криком влёк совсем не мирным.
Всё на вид переменилось,
Под другой блуждая маской,
Только солнца злая милость
Неизменной пышет краской.

*

Восход луны у замка

Милая Нелли, захлопни окно,
Видишь, взошла над болотом луна
Стало в долинах далёких темно
К башне тумана ползёт пелена.
Нелли закрыла большие глаза,
Чтобы не видеть в тумане
полёт
Призраков, слёзы которых роса,
Что на цветы по лугам упадёт.

29.VII.1933
9 ч. вечера

*

Луна над парком

Среди домов растут
деревья;
В зелёных кущах ветер свеж…
Бездомных здесь людей кочевье,
Богатства, нищенства – рубеж.
Над листьями взнеслася башня,
На ней работают часы;
Мы, время, знаем твои шашни
И задираем к ним носы.

И лишь один, кто в чёрной
бронзе,
Плюёт на время и стоит,
А мы, как на востоке бонзы,
Оберегаем его вид.
Единственно во всех тревогу
Вселяет движимость луны
Что завернувшись в света тогу
Бежит от каменной
стены.

Madison Square. 29.VII.1933.
8-30 вечера.

*

Пииты в прошлом чтили
свои лиры
И знали рифм и ритмов
строй
Они пред нами – мощные кумиры
Даря пример, не блекнущий собой.

Теперь толпа безмерно обнаглела
И голос муз глушит торговли шум.
И красоты живое дело
Не тешит сердце, не питает
ум.

Всё меньше нас, наследников Парнаса,
Наследья прошлого мы
зорко сторожа
Усердно сознаём, что мы
другая раса,
Сквозь жизнь идём, созвучиям служа.

*

Вешний совет

Когда цветут в садах акации,
И девы белым схвачен стан,
Какой чарующею грацией
Отмечен тучек караван!
Как молодо, свежо и зелено
Объятье вешнее дубрав,
Когда лишь целоваться велено
И труженик – на час – не прав.
Перед тобой в сей миг единственный
Фиал восторга до краёв
Напитком полнится таинственным,
Что счастьем мы в толпе зовём.
Так помни мудрой скуки правила,
И кубок залпом не суши,
Чтобы старым днём судьба оставила
Хоть часть не высохшей души.

23-е июня в ВМГ собвее на Libery Line,
около Atlantic ave, Brooklyn, NY в 3 ч. дня
Ехали с Марусей в Old Mill.

*

Летнее время

В эти ясные минуты
Голубого торжества
Всюду – полная посуда
Жизни бодро-естества.
  В час прогулки вдоль заливов
  Где прилив морской ушёл
  Ты распустишь горделиво
  Девьих кос кудрявый шёлк.
Ветер знаньем куафёра
Озабочен их красой
Завивая их манерно –
Над прелестной головой.

23 июня 1933
Когда с Марусей ездили в Канарси, НЙ.

*

Отрывок
(в ванне)

Уныло напрягалась твердь,
Скрипели снасти и скрестились
Кости
И чрез распахнутую дверь
Вошли непрошенные гости.
  А за стеной для милых уст
  Цвели теплеющие розы
  И в песне изливался дрозд
  На голубевший мукой куст.

*

За окном (отрывок)

В ея уме цветы пленяли грацией
Своих головок ласковых, как сны;
Её спина, пропахшая акацией
Была влюблённостью весны.
  Она скользила плавною походкою
  Как тень над озером, поспешна и
легка
  Под ветром парусною лодкою
  Не знаешь, парус то иль облака?!
  …..
Май 1931, Нью-Йорк

*

Невнимательный сосед
(на лекции для колонистов)

Он спал, когда я ему предлагал свой
план:
Всё человечество счастливым сделать
в сутки,
Когда идей ревел аэроплан,
И с глубиной сплетались прибаутки.

Он – переваривал, как на
поляне бык…
Тот в это время хоть
прядёт ушами.
Но к этой соне я давно
привык
Не злясь… себя – я потчевал
словами.

1931

*

Религиозный предрассудок

Там – прах людей, истлевших под землёю
Лежит покрытый синим снегом
Им всё равно – лежать весной, зимой
Они навек забыли доступ к негам.

В пустыне Смерти разум их затерян
Сознание развеялось, как дым
Полёт времён не взвешен, не измерен,
Скончался старым ты, иль умер молодым

Над ними ветер воет по кустам
Свистит метель прозябшая в кулак
Их костяки лежат в могилах там,
Где чёрный смерти веет стяг.

Об этом мысля, утомим рассудок,
Но выхода – не в силах отыскать
И будет то религий предрассудок
Бессмертием небытие назвать.

8.II.1931 год

*

На фарме

Я приехал на фарму после шума
столицы
наслаждаться нирваной ночной
тишины
Где корицей взывают ноябрьские
рощи
Опахал голубых на стволах лишены.

И на кухне бесед коротаем минуты
Когда чайник вскипает ворча на плите
И на тело ложатся сонливости путы
А в открытую дверь комплименты звезде.

Шелковисты покровы незыблемой сони
Слышать крики цветные горлан-петухов
Тех, что вахту ночную в курином загоне
Неуклонно блюдут в протяженье веков,

А к восьми, пробудившись, увидеть сквозь
окна,
Как в тумане плывут, лиловея, холмы,
И сквозь нити его, голубые волокна,
В краснорыжих кудрях соловеют
дубы.

Позабыв городское, простую повинность
Отбывать, деревенские радости для,
Ведь на ферме осенней особая чинность,
Облачила живущих, леса и поля.

22 ноября 1931. 11 часов ночи. 107E 10 st.
За столом с Марусей. Она записывает дневник, дети спят.

*

Философское

Мы к старости спускаемся долину
Иль всходим к горным высотам
В те дни, как жизни груз горбом
сгибает спину
И иней липнет к волосам.

Ответ готов: внизу цветут
напевы
В долинах среди роз журчат
ручьи
И золото кудрей плетут
лукаво девы
И перси льнут к руке в
ночи

А наверху абстракция огнями
Вечерних туч пылает и зовёт
И вечность смотрится бесстрастными
очами
На человека жизнь, что бабочки
полёт.

1931 год, 15 ноября,
В собвее после Metr(opolitan) Mus(eum)

Примечания:

[1] Евгений Деменок. «Американские друзья „Отца русского футуризма“». «Зинзивер», № 11, 2017.

[2] Сергей Спасский. Маяковский и его спутники. Л., Советский писатель, 1940. С. 26.

[3] Мария Синякова. Из воспоминаний. В кн.: Русский футуризм: теория, практика, воспоминания. М., Наследие, 1999 г., стр. 383-385.

[4] Кручёных А.Е. Наш выход. К истории русского футуризма/Сост. Р.В. Дуганов. М.: Литературно-художественное агентство «RA», 1996.

[5] Псёл – река, левый приток Днепра. Протекает через Сумы.

[6] Давид Бурлюк-младший был заядлым яхтсменом, дни напролёт проводившим на яхтах, которые в полуразрушенном виде покупал за копейки и потом долго восстанавливал. «Hurry Up» – 74-футовая яхта семьи Бурлюков.

[7] Пеллем-Бей-парк (Pelham Bay park) – парк на северо-востоке боро Бронкс, самый крупный в Нью-Йорке.

[8] Эрих Голлербах – русский искусствовед, художественный и литературный критик. По заказу Бурлюка написал о нём две брошюры, изданные в Нью-Йорке: «Поэзия Давида Бурлюка» и «Искусство Давида Д. Бурлюка».

[9] Николай Шаттенштейн (1877-1954) – родившийся в Российской империи художник еврейского происхождения. Эмигрировал в США, был известен как портретист.

«КНИЖНАЯ ПОЛКА» ЕЛЕНЫ СЕВРЮГИНОЙ

В ПОИСКАХ «ВОДЯНЫХ» ЗНАКОВ

(Андроник С.А. Островенное: Стихи на русском языке/ Светлана Андроник. – Киев, Друкарский двор Олега Фёдорова, 2021. – 272 с., ил.)

Читая некоторых современных поэтов, поражаешься их удивительному свойству – жить одновременно в двух мирах: вымышленном, идеальном, и вполне конкретном, имеющем множество географических, этнических и прочих привязок. Светлана Андроник, автор книги «Островенное», своим творчеством ярко это иллюстрирует. Её стихи – редкий сплав европейского и национального менталитета. С одной стороны, они звучат так же напевно, плавно и тягуче, как бесконечные украинские песни. Вспоминаются народные колыбельные – долгие, протяжные, с лёгкой, щемящей ноткой грусти. Эта музыка усыпляет, обволакивает, несёт покой и умиротворение, вопреки даже безысходности, потому что в ней есть искренность и природная, естественная красота.

Однако есть и другая ипостась лирической героини Светланы – женщина-аристократка, жительница мегаполиса, мир которой наполнен атрибутами роскошной, красивой жизни: заморские страны, экзотические рассветы, континентальные завтраки с традиционными для них кофе и французским круассаном. Это слегка завуалированное повествование, в котором контуры личности самого автора только слегка намечены, напоминает философскую фантазию, летопись выдуманной реальности. Но данная черта и задаёт определённый тон всей поэзии Светланы Андроник: она лишена чрезмерной эмоциональности, в ней нет надрыва и, напротив, присутствует некая отстранённость, склонность к самонаблюдению.

А самое удивительное в том, что эти миры, при всей их разности, прекрасно уживаются между собой. Возможно, причиной тому является вода – центральный, связующий образ книги, в котором вскрывается множество идей и концепций: от милетско-ионийской трактовки воды как первоэлемента бытия до чувств лирической героини, в их глубине и полноте уподобляемых водной стихии. Эта характерная особенность художественного мира поэтессы уже была неоднократно подмечена критиками. Так, Гари Лайт, автор предисловия к книге, отмечает, что с единым целым в виде рек, морей и озёр поэт Светлана Андроник всегда была на «ты». Действительно, о чём бы ни писала она в своих стихах, образ воды, жидкости присутствует практически везде и в разных ипостасях: начиная с глотка шампанского и заканчивая бескрайним океаном. Большая это вода или малая – каждый решает сам, но возможно одна из отгадок к трактовке этого образа есть в строках самого автора: *«эквивалентна нежность моя морям»*.

Книга включает в себя восемь разделов – очень разных с точки зрения тематики и хронологии. Первый раздел, «Ветреное», представлен любовной лирикой. Здесь автор от своего лица или от лица своих героев рассказывает читателю о личном, пережитом, и делает это предельно откровенно – островенно. Второй раздел, «Утро вышло из берегов», необычен тем, что в нём почти все стихи написаны от мужского лица. Это даёт оригинальный угол зрения на происходящее – слегка отстранённый, потому что все истории рассказаны разными персонажами. В третьем разделе с характерным названием «Рекам больше некуда спешить» собраны стихи начала пандемического периода – это философские и отчасти тревожные раздумья человека, стремящегося осознать себя в новой реальности, представляющей угрозу для мира. Здесь впервые отчётливо проявляется гражданская позиция автора, настоящего патриота своей страны. Он не остаётся в стороне от происходящих событий, скорбит душой о том, что «где-то там бог отправляет в горячие точки своих людей, верных ангелов…». Поэтому остаётся только обратиться к Всевышнему со словами искренней, чистой молитвы – о прощении и прекращении кровопролития:

Останови, мой Бог, водоворот.
До берега не каждый доплывёт,
Хромой, дурной, случайный и незрячий.
Умерь теченье, вера чтоб не зря, чей
голос дал волнению воды
и ветру знак утихнуть на корме,
пусть только тот помилует, отмерит дни и ночи добрать плоды…

Книга также не лишена иронии, о чём говорит четвёртый раздел «Откуда альбатросы». Понятно, что у иронии этой могут быть разные оттенки – от непринуждённо-шутливого до печального, саморазоблачительного. Но Светлана Андроник не боится самоиронии, осмысленно использует её, демонстрируя тем самым высокий интеллект и жизненную зрелость. Вообще умение посмеяться над собой – это довольно редкое и очень ценное качество любого автора:

Плыви, плыви, ни бухты, ни причала,
и если что-то начинать сначала –
там, где не видно дна и берегов.
Все острова открыты, но «Let's go».
Есть ты и ты, штурвал, пивная кружка…
Не вздрагивай, когда орёт кукушка,
перечисляя тёмные «o'clock».

Примечательно и то, что два из восьми разделов книги – пятый и шестой – представлены переводами. В пятом разделе стихи звучат на украинской мове, в шестом – на английском, в переводах Гари Лайта. Это говорит об интернациональности, универсальности поэзии Светланы Андроник.

Интересен раздел «Убей в себе Алису» – это ранние стихи поэтессы, где, по её собственным словам, «она только начала рифмовать». Впрочем, качество представленного здесь материала говорит о том, что и первые попытки были уже весьма успешны. Наконец, в завершающем разделе «Настанет пора возвращаться» снова звучит гражданская тема, подводятся неутешительные итоги:

беги моя девочка
в доме чужие
у каждого горькая правда
своя
качайся калиной и пей из днепра…
настанет
пора
возвращаться

Но всё же, о каком бы разделе ни шла речь, везде главной темой остаётся тема любви. И следует отдать должное автору – он не тривиален и не банален в ней благодаря чётко выработанной, специфической манере художественного самовыражения и великолепному владению техникой стиха.

Если говорить о конкретных литературных влияниях, то поэтика Светланы Андроник отчасти «бродсковата», но кто этим не грешит в наше время. При этом большой заслугой создателя книги является его способность, уловив общий принцип уже сформированной новой традицией подачи материала, сохранить своё лицо и верность своему стилю – не сворачивая куда-то в сторону и не пытаясь прыгнуть выше головы.

Самое главное заключается в том, что Светлана в своих стихах узнаваема, её не спутаешь с другими авторами, даже работающими в близкой стилистике. Характерная особенность её стиля – метафорический длинностроч ник с множеством сопутствующих приёмов: сложная, двусоставная рифма, нарочитая декламация, акцентологически значимое, послоговое прочтение ключевых фраз, как, например, в стихотворении «Ветреное»:

не врозь, но врозь,
вдвоём, но-не-вдво-ём,
и пожелать грядущее своё,
кому, скажи мне,
другу ли, врагу ли?

Многие могут оспорить этот метод, но в общем контексте авторского замысла он вполне работает и себя оправдывает. Лирическая героиня Светланы не просто делится с читателем своими эмоциями – она рассуждает, повествует и нередко резюмирует в конце, как будто на саму себя и свою жизнь смотрит глазами стороннего наблюдателя. Отсюда герметическая замкнутость её художественного мира, нередкое отсутствие в стихах предельных лирических откровений и образа автора. Ещё одной значимой чертой поэтики является склонность к переносам строки, так называемым анжамбеманам, за счёт чего границы стихотворного текста и повествовательных синтагм практически никогда не совпадают. Поэтический текст становится максимально плотным, вязким, текучим, как «золотистого мёда струя», и воспринимается как словесный монолит, единое целое авторской мысли. Процесс речеговорения, речемысли, по всей видимости, является основой авторского существования. Стихи Светланы Андроник напоминают прерванные и возобновлённые монологи – как будто она ненадолго вышла из комнаты и вернулась, чтобы сразу продолжить непринуждённый разговор. Вообще глагол «говорить» и слова ассоциативно-смыслового поля «разговор» нередко встречаются в её стихах:

Вечер жарок и пьян, задаёт нам такие ритмы,
что сложно не говорить, и он говорит мне,
мол, оставайся на эту ночь и на эту осень,
пепел тёпел в камине, тихо Дассен гундосит,
и бурбон, в цвет листвы за окнами, золотится…

Кто же она всё-таки такая – лирическая героиня предложенной на суд читателя книги? Как уже можно было понять, у неё много ипостасей, как литературные, вымышленные, так и жизненные, глубоко пережитые.

Как уже было сказано, нередко это утончённая аристократка, мечтательница, чья красивая жизнь с неизменными атрибутами роскоши и комфорта очень напоминает кукольный домик Норы из драмы Ибсена или эстетические искания Эммы Бовари – героини романа Флобера. Но в какой-то момент мир искусственно созданного, рутинного уюта становится тесен, и тогда прекрасная затворница пытается разными путями решить эту проблему. Она ищет свой идеал – в любви, в жизни, во всём окружающем. История её любовных отношений нередко сопровождается приставкой «недо» – недосказанность, недолюбленность, недоговорённость. По-ахматовски решается тема мужчины и женщины – двух нередко совершенно чуждых друг другу миров:

я плюхнусь в слёзы
ты же – на диван
возьмешь аполитичную газету
уставишься в тугую пустоту
мы дескать домолчались и ту-ту
нас-не-ту
хотя могли бы сеять сеять сеять
и дальше дождь и правду и неправ…
молчу я от днепра до енисея
молчишь от енисея до днепра

Бывает так, что в стихах Светланы описывается мучительное пограничное состояние между любовью и нелюбовью, когда уже не вместе, но ещё и не порознь, а между «до» и «после» протянута живая нить воспоминаний. Отсюда желание убежать, улететь, избавиться от назойливого образа, порождающее мотив перемещения в пространстве и времени. Действительно, в книге нередко упоминаются различные средства передвижения, особенно самолёты. Наглядно в этом плане стихотворение «Аэропортово», где само понятие перемещения весьма условно и касается не столько географического пространства, сколько пространства воспоминаний лирической героини. Пока что оно непреодолимо, поэтому самолёт, которому должно взлететь, не покидает даже взлётной полосы:

Мой бог, мой свет, ну как тут не краснеть?
Опять, смотри, невыношенный снег
водой демисезонной приземлится
на кромку безответной полосы,
что столько лет изъезжена шасси

Отсутствие полноты бытия – ключевой мотив любовной лирики Светланы Андроник, но героиня её стихов не устаёт нести в себе живительную воду, своё внутреннее море, требующее ответной воды. А когда море ненадолго пробивается наружу, эмоционально сдержанное, субъективно отвлечённое поэтическое высказывание превращается в поэзию выплеснутого подтекста, суггестивный, наполненный чувственностью акт воспоминаний, которые как будто протекают в реальном времени. Так, в стихотворении «Железнодорожное», привычные, будничные действия ЛГ наполнены скрытым или даже явным эротизмом:

Хвоя щекочет ноздри в пустом купе – в чай подливаешь джин,
ищешь 4G, словно новую точку G
в области мозга (что ещё может быть эрогенней).
Пару глотков. В тебе рождается новый гений,
пальцы снуют по спине обнажённого алфавита.
Точка доступа. Точка невозврата. И Дольче Вита…
Ты вся трясёшься, как в минус сорок.

Вольно или невольно, но приходится возвращаться к образу воды, потому что без него художественный мир Светланы Андроник понять невозможно – это средоточие её вселенной, принцип существования, основа композиционной и смысловой организации текста. Вода – это и одухотворяющая сила всего сущего, и главный источник жизни, и сама жизнь в её непрерывном движении. Наконец, это сама поэтесса, которая во всём пытается отыскать признаки воды – водяные знаки, являющиеся залогом не материального, а духовного благополучия, внутренней гармонии.

И конечно ещё раз следует сказать о том, что тематика книги широкоохватна, и даже в любовных историях боль войны, сопереживание всему происходящему проходит по касательной. Героиню полностью захватывает водоворот жизни, но она ему не сопротивляется и уже с первых страниц книги заявляет:

Я вода, вода. Я точу веками
города, яры, берега и камни.
Я впадаю в сны, я втекаю в письма.
Не гони меня, напоись мной

И читатель, безотчётно этому веря, начинает с удовольствием пить живительную воду настоящей поэзии.

УГНАТЬ АВТОБУС И НЕ ОПОЗДАТЬ НА ФЕСТИВАЛЬ

(Халвицкая Аксана. Синопсис о сапиенсах / А. Халвицкая. – М.: Формаслов, 2021. – 114 с.)

Человек в контексте игры, игровая концепция мира и вселенной – эта тема стала краеугольным камнем современной культуры ещё с первой четверти XX столетия. Будучи характерной чертой постмодернистского сознания, она прочно вошла в нашу жизнь, не утратив острой актуальности вплоть до сегодняшнего дня.

Книга Аксаны Халвицкой обращена к данной теме в несколько неожиданном, оригинальном ракурсе и представляет несомненный интерес не только для писателя и филолога, но и для культуролога. Уже само название – «Синопсис о сапиенсах» – характеризует автора как человека остроумного, эрудированного, склонного к философскому взгляду на мир. Жанровая и стилевая подача материала тоже необычны – по сути это трактат, развёрнутая авторская мысль о человеке и человеческой жизни. В доступной для читателя беллетристической форме Аксана Халвицкая задаёт сложнейшие вопросы бытия и даже находит на них свои ответы. Интересно, что само повествование, композиционно поделённое на главы в виде коротких рассказов, верлибров и прозопоэтических миниатюр, кажется абсолютно цельным, скреплённым общей идеей и художественным замыслом. С этой точки зрения произведение может быть названо постмодернистским романом, где нет условно заданных канонов в содержательном, сюжетном или структурном плане.

Сюжет, которого вроде бы и нет, тем не менее, всецело захватывает. Это антология, или даже красочный калейдоскоп игры – всех калибров, мастей, вариаций и смысловых интерпретаций. Да автор и сам виртуозный игрок – как причудливый пасьянс, он раскладывает многочисленные значения слова «игра», и читатель незаметно для себя вовлекается в эту «авантюру», становясь одной из фигур игрового поля.

Пользуясь накопленным багажом знаний, Аксана Халвицкая воспроизводит непростую модель человеческой жизни, каждый аспект которой – своеобразный плэйлист, проигрываемый в определённой тональности. Она может быть драматичной и жизнеутверждающей, деструктивной и созидательной,

тривиальной и неожиданной. В зависимости от того, какая ведётся игра. Художественное пространство книги продумано до мелочей: первый рассказ тезисно определяет ключевое понятие, от которого ответвляются прочие идеи, мысли, аргументы, многочисленные эксперименты автора:

– Всамделишный игрок – зверь диковатый, редкостный. Что там чужих – близких к себе не подпускает. Понимает собака, кто её хочет съесть, понимает и тех, кто пришёл любоваться процессом съедения…

И вот эта дикая собака динго, повинуясь азарту и юношескому задору самого автора, бросается с места в карьер, уводя запыхавшегося от быстрого бега читателя в дебри размышлений о великом и вездесущем homo ludens – предмете вечного беспокойства Эрика Берна, Йохана Хейзинга и прочих выдающихся культурологов с мировым именем. Мы узнаём о зловредных неписях, склонных вести игру самостоятельно, не подчиняясь игроку, о том, что каждый момент нашей жизни – это, в сущности, «выпавшая карта», не всегда счастливая. В конечном итоге, мы осознаём главное – что бы мы ни делали, мы всегда играем. И неважно, какого рода игру мы затеваем: компьютерную, азартную, с жизнью и смертью, с самими собой, с окружающим миром. Важно, что последствия всегда непредсказуемы и даже опасны, ибо никогда не знаешь наверняка, кто ты – могущественный создатель игры или марионетка. А может, просто рыбка на крючке у заядлого рыбака, для которого сам улов – не более чем символ свободы и успеха:

Неведомая сила тянет меня из воды. Слепит солнце. Нечем дышать. Страшное существо хватает меня. Встряхивает. Бьёт по голове. «Какая была жизнь!» – думаю я. И умираю.

Человек – игрушка в руках судьбы, он может проиграть или выиграть, его сопровождает удача или злой рок, сам он азартен либо пассивен, склонен рисковать либо остерегается любого риска, создаёт вокруг себя альтернативные миры либо разрушает уже имеющиеся. Ассоциативно-смысловое поле игры бесконечно и многоуровнево, но собственно об этом и хочет рассказать нам автор, прекрасно владеющий всеми повествовательными жанрами – от комических рассказов до научной фантастики и философского эссе.

Не всегда герои Аксаны Халвицкой удачливы – порой они ведут игру со смертью, и вторая выигрывает. Так произошло с дядей Ваней, в чьих пирогах с палтусом неожиданно оказалась опасная для жизни начинка, и с незамужней, стареющей Алевтиной Павловной, утонувшей в море её собственных нереализованных желаний. Кому-то из героев везёт чуть больше – например, страдающая «синдромом второстепенного персонажа» Леночка в конечном итоге обыгрывает более удачливую Катюшу и на веки вечные отбирает у неё куклу Мальвину, а психически больной Ромочка получает шанс на счастье до тех пор, *«пока оранжевый шар полностью не растворится в весеннем небе»*.

Все рассказы книги сотканы из искромётных аллюзий, аллегорий, постмодернистских приёмов. Из них вырастает общее полотно игровой концепции мира. Например, автор удачно обыгрывает общеизвестные цитаты в новом художественном и социокультурном контексте: *«Тьма сгустилась в доме номер 60 по улице Ленинградской»*. От апокалипсических библейских мотивов через роман Булгакова ниточка тянется в современность, где фраза «the connection is lost» звучит как самое страшное пророчество. Но, наверное, ещё страшнее мир, в котором любовники-биороботы и японские тамагочи в виде кошечек и собачек с высоким уровнем симуляции жизни способны заменить настоящие чувства и человеческие привязанности:

Алло, Алекс, чёрт тя дери, возьми трубку! – Привет, милая! – прозвучал бархатистый мужской баритон. – Слушай, я совсем забыла сказать: у Катюши гуппи накрылась, третья за месяц. В этот раз она её из аквариума выловила и об стену со словами: «Всё равно неживая».

Ещё одна характерная черта рассказов Аксаны Халвицкой – виртуозно сделанные, развёрнутые метафоры, становящиеся сквозными образами-мотивами повествования. Так, метафора моря очевидна – это море житейских волнений, океан страстей, который может полностью захлестнуть человека, волны, качающие нас и уводящие то вперёд, то назад. Но композиционно книга выстроена так, что повествование постепенно усложняется и в образном и в смысловом плане.

Отметим, что она состоит из двух частей – первая рассказывает о «неписях и героях», вторая – о том, как «мы будем счастливы». Так, ближе к концу первой и во второй части книги метафора игры разрастается до уровня предельных обобщений, а в авторской интонации появляется нотка грусти.

Здесь уже игра воспринимается как узаконенная человеком условность – зыбкая реальность, кочевая, обманчивая, непостоянная. Символом такого непостоянства у Халвицкой становится общежитие – временный дом с такими же временными и порой довольно странными обитателями. Все они – азартные игроки, но игра у каждого своя, и можно запросто оказаться на чужой территории, вынуждающей играть

не по своим правилам. Революционно настроенная Марьяшка, мечтающая уехать в Индию Эля, внезапный и непредсказуемый, похожий на хиппи Женечка – все они, по сути, люди перекати-поле, с летающими домами, как с воздушными шариками, в руках, не имеющие корней, оседающие то здесь, то там, прорастающие друг в друге то понарошку, то чуть более всерьёз. Вопрос только в одном: что остаётся после этой игры, и остаётся ли что-нибудь? Или мы все, как взрослые дети, успеваем только поиграть во взрослые игрушки, так и не начав жить…

Лирическая героиня Аксаны Халвицкой приходит к мысли о том, что даже в самой азартной игре с причудливыми игроками и непредсказуемым финалом должна быть какая-то постоянная величина – абсолютная ценность, добываемая в процессе духовных поисков. Ведь игра – это примерка разных личин и костюмов, но только до той поры, пока не найдёшь что-то, подходящее тебе по размеру. Это ты сам, твоё подлинное «я», твои друзья и любимые – совершенно особенные, непохожие на других. Тема поиска счастья, глубоко личная, философская, становится центральной во второй части книги – она определяет и характер выбранного автором художественного материала. Верлибров и прозопоэтических миниатюр становится больше, они явно преобладают над прозой и добавляют нечто новое в центральную тему книги. Её автор стремится отыскать рецепт универсальной игры, и обретает, как минимум, две находки: любовь и творчество, или даже любовь к творчеству. Потому что только в этих двух ипостасях игровая деятельность является абсолютно созидательной, формирующей человека по законам красоты и гармонии:

Когда понимаешь – тебя-то я и искала.
Не выбирала литературу, просто любила –
слово от диких собак, лангольеров,
исписанных маркером подоконников
отскакивало в шелестящую темноту
амурского побережья.

И всё же героине Аксаны Халвицкой для полного счастья необходимы вечный поиск и вечное движение *«на ласточках, электричках, качающихся из стороны в сторону, ступеньках идущего вниз эскалатора с Парка Победы до наступления темноты…»*. А ещё ей ну просто жизненно важно, вовлекая и читателя в свою игру, угнать автобус и не опоздать на фестиваль. Вот она кубарем обрушивается в салон, пьёт протянутое ей кем-то шампанское, смотрит на окружающие её карнавальные маски и костюмы.

Всё это происходит в эпилоге, и, казалось бы, на этом история заканчивается. Но не тут-то было – по правилам хорошей игры всё только начинается. И, чтобы безошибочно это понять, достаточно одного единственного признака – лежащей в углу «свежевышедшей» книги автора.

НЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ИЛИ ПОЭЗИЯ «КОНЦА»

(Ильинская В. Анекдоты о дожде. Стихотворения / Владислава Ильинская. Предисловие Виктора Ерофеева. – Киев, Форс Украина, 2020. – 112 стр.)

Столкновение с творчеством Владиславы Ильинской (именно столкновение) воспринимаешь как последствия автомобильной катастрофы. Подобное не проходит бесследно, потому что автор нередко попадает в болевые точки читателя, идёт по тем же доскам шаткого моста, что и каждый из нас хотя бы раз в своей жизни.

Виктор Ерофеев, автор предисловия к сборнику стихов поэтессы, очень точно подметил одну значимую деталь – это поэзия чёткого осознания конца, «поэзия расставания» с навсегда уходящей в прошлое «культурой слова, ума, безумия и любви». Владислава Ильинская резка и эгоцентрична в своём творчестве – в конце весьма невесёлой истории она вроде бы не оставляет миру ни единого шанса. Впрочем, это становится ясно уже в самом начале, когда героиня, лёжа на обломках угасающей цивилизации, лишает себя последних воспоминаний и отправляет их в закупоренной бутылке по бескрайнему океану. Сцена вполне в духе голливудского фильма, о чём говорят последние строки авторского лирического отступления: *«Лишённая последних воспоминаний, она забирается в привязанную к арматуре шлюпку, раскрывает зонт попутному ветру и уплывает из кадра».*

Но именно с момента ухода автора его голос становится в полной мере слышен читателю. Это голос-предупреждение об опасности или, если говорить точнее, голос – констатация факта уже свершившейся беды. Главная интонация книги задана уже в названии – «Анекдоты о дожде». Читателю не сразу становится ясно, о чём собственно речь, но постепенно он начинает понимать, что это отсыл сразу к двум выдающимся книгам Габриэля Гарсиа Маркеса – «Сто лет одиночества» и «Полковнику никто не пишет». Стихотворение «Полковник» – единственное в книге посвящение Виктору Ерофееву – становится и единственным

перекидным мостиком, соединяющим автора с реальным миром. Здесь присутствует диалог двух поэтов, которые поняли друг друга на уровне чувств, настроений, культурных кодов:

пусть за плечами невелик пробег –
полковник спит, не поднимая век,
ведь из-под них струится тёплый снег
и дарит долгожданную свободу…

и вот уже по горлышко в воде
он вспомнит анекдоты о дожде,
которые одна из лошадей,
пыталась рассказать на переправе…

Положив в основу названия книги заведомый абсурд-противоречие (анекдоты о дожде совсем не вызывают смеха), автор дал читателю очевидный намёк на главную тему своих раздумий. Это конечные судьбы цивилизации, рассказ о том, чего уже нет или чему никогда не суждено сбыться. Поэзия Владиславы Ильинской – мир не цветной, а приглушённый, лишь намеченный неясными штрихами, размытыми дождём. Дождь – символ божьей кары, на которую люди обречены за свою недальновидность.

Всё, о чём мы читаем далее, напоминает страшную летопись событий, оставленных героем, чудом уцелевшим в эпоху апокалипсиса. Он ходит по обломкам прежней жизни, как по самому жуткому в мире музею – и тщетны его попытки найти формы живой материи. Связь с настоящим навсегда разорвана – его больше нет, как нет самого времени. Оно остановило своё движение – сохранились только обломки прошлого и призрачные контуры невозможного будущего. Остаётся только угадывать, что здесь было любовью, что – родственной привязанностью, что – обыкновенным человеческим счастьем. Здесь и сама память умирает оттого, что когда-то люди престали верить в её ценность. Ведь самый большой парадокс в том, что настоящее исчезло из-за отсутствия потребности в прошлом и будущем:

что толкнуло к охоте – не помню. таков рецидив,
что гоняет по засранным стройкам, ночным подворотням.
оказалось, достаточно просто себя убедить,
что на всё наплевать, что существенно только «сегодня»…

и когда, по прошествии долгих сегодняшних дней,
не нашёл за спиной ни любви, ни восторга, ни правды,
я остатками памяти вывел на первой стене,
что существенно всё – и вчера, и сегодня, и завтра.

Так невольно всплывает поднятая Фицджеральдом и Хемингуэем ещё в начале XX столетия тема «потерянного поколения». Но если прежде у планеты хватало сил на возрождение, то сейчас, возможно, она не переживёт очередного рецидива болезни. Даже если мир не рухнет окончательно – прежних форм существования уже не вернуть. Нет абсолютно никаких гарантий, а значит, нет и надежды. Таким настроением безнадёжности пронизана вся лирика Владиславы Ильинской. Любовь, вера, духовность, справедливость, человечность – всё исчезает под воздействием страшного вируса вражды:

вирус заражён. смертельно.
по-детски беспомощен.
в жёлтой пыли,
за хрусталиком третьего глаза,
панцирем вымощен –
станешь бесчувственным овощем.
иммунитет – безнадёжней последней заразы.

Очевидно, что тема войны, Донецка и Донбасса, поломанных человеческих судеб незримо присутствует в каждом стихотворении этой книги. Уроженка Одессы, дитя Украины, Владислава Ильинская не смогла бы писать иначе. Война в её творчестве может принимать конкретные и абстрактные формы, но всегда ощутима как злая разрушительная стихия, после которой не остаётся ничего, кроме воды – первоэлемента всего земного:

как беспощадная и бессмысленная стихия
развороти вшая целый мир на своём пути –
выйдем мы на берег чистые и сухие,
с новыми силами, спрятанными в горсти.
с новыми песнями про чарующую свободу,
с девственной памятью, выбеленной душой…
не забывая лишь то, что вернёмся в воду
сколько бы каждый из нас с тобой не прошёл.

Вывод безрадостен: люди погрязли в ненависти и тем самым лишили себя естественных радостей жизни, заменив одни чувства на другие: на смену любви приходит тихое комфортное существование, «сереньких будней подслеповатый мул», родственные привязанности разрушаются, становятся порочными, а духовная жизнь с её радостями открытия, познания нового и вовсе превращается в химеру. Остаётся жалкое существование, где все «ни живы ни мертвы» и ждут уже окончательного исчезновения:

сигареты вымывают кальций,
воздух переварен и ворсист.
время, искривляясь, режет пальцы
о пространства акварельный лист.

не мертвы лежат они, не живы,
извиваясь в бежевом песке…
как, скажи, попробовать наживу,
чтоб не очутиться на крючке?

Но стоит ли окончательно падать духом, когда автор с совершенной очевидностью задаёт вопрос: «Мир умер, и я вместе с ним»? Нет, всё не так безысходно: в этой «поэзии конца» всё же звучит приглушённое, но жизнеутверждающее: я всё-таки осталась, берите и читайте меня – хотите залпом, хотите по частям». Да и так ли уж всё плохо с миром – ведь бутылка с закупоренным посланием всё же куда-то поплыла и наверняка рано или поздно найдёт своего читателя.

А ещё можно вспомнить об эгоцентричности автора книги. Да, это так, но как же прекрасен этот эгоцентризм! И как не хватает его многим авторам, которые в погоне за связями, семьями, милым и засасывающим домашним уютом перестают слышать голос беды, не хотят видеть очевидного неблагополучия этого мира. А вот Владислава Ильинская не желает прятаться от правды. Такие, как она, не погрязают в уюте, заведомо не помещают себя в зону комфорта. И пусть иногда это чувство кажется немного декларативным – всё же поэту вредно долго пребывать в атмосфере спокойствия и бездействия, а значит, творчество никогда не иссякнет. Оно будет существовать как ответная реакция на любой катаклизм:

но по синусоиде писана –
даже через пару тысяч лет –
всё, что убивало и спасало,
непременно обратится в свет.

СКВОЗЬ РЕШЕТО ЭРАТОСФЕНА

(Вольфсон Б.И. Канатоходец, или После постмодерна / Б.И. Вольфсон. – СПб.: Алетейя, 2020. – 220 с.)

Открывая книгу ростовского поэта Бориса Вольфсона, читатель должен быть заранее готов к столкновению с двумя парадоксами. Один, древний как мир, уже хорошо известен русской и зарубежной литературе – это совмещение в одном человеке таланта физика и лирика. Но, кажется, что Вольфсон открыл в этом вопросе новую страницу – он не просто совмещает, а скорее преобразует одну материю в другую. Математика у него органично существует в поэзии и как будто сама становится ею, а поэзия иной раз поражает музыкой чисел и цифр. Возможно, поэтому Перельману на страницах представленной книги легко ужиться с Галичем и Оденом.

Второй парадокс состоит в названии книги. Она называется «Канатоходец, или После постмодерна», но при этом остаётся очевидным, что напрямую автор ни к постмодерну, ни к постпостмодерну отношения не имеет. Нет, это классика по большей части своей – хорошая, добротная и доступная для читателя. Просто автор действительно умеет изящно «жонглировать словами» и понятиями, пряча за внешней

бравадой свои нередко грустные и тревожные мысли. Думаю, Бориса Вольфсона скорее всего интересует теоретический вопрос, как будто зашифрованный в двух частях названия: сможет ли мир удержать равновесие после постмодерна, найдутся ли в хаосе и сумбуре зачатки музыки и гармонии:

Сумбур – не вместо музыки, сама
гармония в обличии сумбура –
сводящая с беззвучного ума
в семь нот и семь цветов клавиатура…

II Пифагор квадратных чёрных дыр
не видит, где горит его лампада.
Нацелившись в зенит, летит в надир
безумная мелодия распада…

Чтоб сунув руку вечности в карман,
нащупал там иную партитуру
иных гармоний новый меломан,
отдавшись с упоением сумбуру.

Кажется, что автор всё время старательно «нащупывает» эти две составляющие будущего благополучия человечества. Читателю легко следить за его мыслью, потому что она, в отличие от мысли многих представителей современных авангардных направлений, не растворяется полностью в языке, а остаётся вполне понятной и ощутимой. Хорошо ли это? В какой-то степени да, потому что мало кто сейчас из пишущих сохраняет в себе способность вести разговор «от сердца к сердцу».

Кажется, что Борис Вольфсон может написать абсолютно обо всём – с пытливостью репортёра он изучает настоящее, как на уровне личных, так и на уровне исторических событий. При этом его взгляд нередко обращён в прошлое и будущее, потому что ему в равной мере важны и памятные сердцу даты, и важные для потомков изменения в области культуры и социума. Подобно блогеру-колумнисту автор ведёт личный дневник, в котором рассказывает о взволновавших его событиях.

А своё «неравнодушие» легко спрятать под маску немного ироничного мечтателя, острослова-балагура, смеющегося там, где пора заплакать. Но здоровая самоирония всегда спасает автора от душевного и духовного кризиса:

Спокойствия психического ради,
к ментальному не склонный неглиже,
лежу себе, как слива в маринаде,
и никого не трогаю уже…

В условиях тотального заката
я защищён, мне крепко повезло,
что здесь со мной надёжные ребята, –
нас в этой банке ровно три кило!

Вроде бы и драматизм момента снят, и у читателя появляется улыбка на лице, но нет-нет да и проскользнёт в очередном каламбуре чеховская мысль о бессмысленности какого-либо духовного усилия в мире обывательщины. Отрицание мещанской ущербной психологии, побуждающей довольствоваться малым и вести жизнь гусеницы, а не бабочки, делает поэзию Вольфсона актуальной, злободневно звучащей. По мысли поэта, именно леность духа и мысли, погрязших в быту, заставляют русских «емель» добровольно вести себя на заклание во время очередной бойни и не делать никаких выводов из опыта исторического прошлого. Подобные тревожные мысли нередко терзают его накануне чего-то нового – например, накануне Нового года, который сулит не только радость, но и, возможно, новые катаклизмы:

I Итак, почти допечён пирог,
откупорен жбан пивной.
Год на исходе, тяжёлый рок
висит над моей страной…

Забиты котлу все пробки в бока,
царицын халат парчов,
Емеля спит на печи – пока, –
фамилия – Пугачёв.

Ну где ты там? Подавай пирог,
прославленный общепит!
Из всех колонок – тяжёлый рок,
Емеля пока что спит.

Но не только в жанре гражданской злободневной лирики работает Борис Вольфсон – ему подвластно практически всё: и любовные истории, и философские зарисовки, и эпические формы (если вспомнить двухчастную поэму о некрополях), и даже короткие юмористические двустишия. Юмор, как мы уже говорили неоднократно – для автора залог спасения и «удержания на плаву». Это лучший антидот «в дни сомнений и тягостных раздумий», когда тяжёлой правде можно противопоставить только форму игры: каламбура, шутки, случайной остроты. И автор острит, сталкивая «таз» и «экстаз», переосмысливая общеизвестные пословицы и устойчивые выражения, помещая себя «в круг ассоциаций» с помощью омонимов. Правда, нередко из удачно построенной аллегории, как чёртик из шкатулки, внезапно снова выскакивает не выдержавшая долгой игры в прятки правда:

Видение и композитор – ГЛЮК.
Рука и виноград – назвал бы КИСТЬ я.
Бессон и дырка – несомненно, ЛЮК.
Бумага и деревья – это ЛИСТЬЯ.

Я в круг ассоциаций помещён:
в реальном мире вечная война я
с самим собой, но дух мой укрощён –
мораль, как бухгалтерия, двойная.

В туннеле свет и в тёмном царстве луч –
не различимы, коль из жизни выбыл.
Кастальский КЛЮЧ или тюремный КЛЮЧ –
лишь два ключа, звенящие на выбор.

Особое место в творчестве Вольфсона занимают так называемые «возрастные» стихи – это авторская рефлексия по поводу своего предназначения в жизни, промежуточное подведение итогов, жизненный опыт, пропущенный «сквозь решето Эратосфена». Да-да, это тот самый момент, когда автор может легко «поверить алгеброй гармонию» и сравнить человеческую жизнь с алгоритмом, позволяющим отделить простые натуральные числа от составных. Только здесь сквозь это решето проходят не цифры, а человеческие дни, полные светлых и грустных, удачных и неудачных моментов, гениальных открытий и ложных выводов. Это своего рода селекция, или естественный отбор лучшего, что происходит в нашей жизни:

Где солнца спрут головоногий,
как сатана, не правит балом,
белеет парус одинокий, –
он на закате станет алым.

Сквозь решето Эратосфена
летят, как мячики литые,
дням золотым моим на смену
дни далеко не золотые…

И в итоге, после всех этих раздумий, невольно задаёшь себе главный вопрос: почему же всё-таки канатоходец? Образ яркий и выразительный, неизменно подводящий к мысли о природном равновесии и в то же время о неминуемом риске сорваться вниз. Такова участь поэта – он либо будет услышан и возвышен толпой, либо будет сброшен в «пучину народного негодования».

Такова участь любого человека, народа, государства – неизменно ходить по канату в надежде, что трос выдержит, бесстрашие не изменит, голова не закружится при взгляде вниз. И где-то в подсознании мелькает мысль: что произойдёт, если всё же случится падение, изменится ли мир, или всё будет, как прежде? Случайна или закономерна череда падений и триумфов?

Где-то дождик, где-то ветер, где-то всполохи огня,
и голодное пространство широко открыло пасть.
Равновесие в природе не зависит от меня:
я простой канатоходец – самому бы не упасть.

А быть может, и зависит, а быть может, это мной
сбалансирован сей шаткий и весьма непрочный мир.
Упаду – он уцелеет, только будет он иной:
тир со сбитою мишенью, согласитесь, новый тир.

В этой нравственной дилемме лирический герой Вольфсона склоняется ко второму варианту развития событий: он ни в коей мере не снимает с себя личной ответственности за всё происходящее в мире, поэтому старается сохранить равновесие во что бы то ни стало. Более того – он верит, что, в ходе естественного отбора, человек может и должен сохранить всё то, что станет его личным вкладом в гармонию мира. Даже неутешительные на первый взгляд результаты не должны вызывать когнитивный диссонанс – это просто очередное побуждение к действию, к очередному «встряхиванию решета».

И когда Вольфсон-математик столкнётся с очередной аксиомой, Вольфсон-поэт ему ответит, что в жизни окончательных решений не бывает и при делении числителя на знаменатель всегда что-то сохраняется в остатке:

Но решето встряхнув порезче,
мы вновь просеем, как пшено,
все чувства, числа, части речи…
И ничего не решено!

СИНДРОМ ДЕМИУРГА

(Дмитрий Близнюк. Снегопад в стиле модерн – издательство Ridero, 2020. – 100 стр.)

В современном речевом обиходе всё чаще встречаешь необычные слова-определения поэзии. Одно из них, наиболее яркое и провокационное, запомнилось и отозвалось особенно: поэзия – это антиразум. Развивая идею далее, хочется дополнить: поэзия – это ещё и антимир, антимир антиразума, где действуют совсем иные законы; изнаночная сторона бытия.

Одной из таких совершенных, хотя и весьма необычных версий мироздания, является книга Дмитрия Близнюка – автора журнала «Знамя» (№8, 2016: https://magazines.gorky.media/znamia/2016/8/sladkie-pylnye-yagody.html) и поэта, уже хорошо известного и за рубежом. Число его публикаций в США и Великобритании (на английском, в переводах С. Герасимова) перевалило за сотню, и в числе наиболее важных, знаковых можно назвать такие издания, как «Poet Lore» (USA), «The Pinch» (USA), «Willow Springs» (USA), «Grub Street» (USA), «Salamander» (USA) и некоторые другие. Отметим, что первые выпуски журнала «Poet Lore» были посвящены поэзии таких светил, как Рабиндранат Тагор, Райнер Мария Рильке, Стефан Малларме и Поль Верлен.

Вот и к бескрайней, самостановящейся галактике Близнюка необходимо привыкнуть, адаптироваться к особому микроклимату, научиться дышать чистым, беспримесным воздухом поэзии. Близнюк-верлибрист неизменно рождает ощущение глубины – это бесконечное подводное путешествие команды Жака-Ива Кусто, погружение с батискафом на самое дно. И если вначале ощущения могут быть непредсказуемыми (например, головокружение от избыточного давления атмосфер), то впоследствии, когда ты оглядываешься и переводишь дух, внутреннему зрению открывается невероятная перспектива, созерцая которую, ты ловишь себя на мысли: ведь это и есть настоящая жизнь.

Есть и ещё две устойчивые ассоциации, которые рождаются при чтении стихов Дмитрия Близнюка: непрерывное, усиленное движение сквозь пелену-преграду и духовный эксгибиционизм – стремление настолько обнажить, обнаружить перед читателем свой подлинный внутренний мир, что это приводит к необходимости показывать лирического героя на уровне синхронно-диахронного среза, проникая в его прошлое и пульсирующее настоящее. Поэтому художественное пространство данной книги при всей его причудливости и экзотичности – по сути, только видимость, а на самом деле продуцирование, продлевание в придуманной им же реальности субъективного «я» автора, процесс подробного выговаривания себя

в окружающую действительность. А всё потому, что у Близнюка особые отношения с жизнью: мистик и антиурбанист, он регулярно вырывает себя из сетей мегаполиса, чтобы проснулись его внутренние джунгли, пробудилась мускульная сила, дающая яркие острые ощущения на уровне первозданных, природных реакций.

«Все мы – животные», – утверждает автор, и смело сдирает с себя оболочку цивилизованного человека, не боясь показать истинное, дикое, необузданное внутри себя. И тогда на месте мегаполиса расцветают джунгли, а мир начинают наполнять грациозные гепарды, красочные анаконды и даже «лакированные детёныши виолончели». Мир превращается в одну большую развёрнутую метафору жизни, где любое событие, любая встреча приобретает космические масштабы, где лицо и ласки любимой подобны планете или мистическим вратам в потустороннее, а жители мегаполиса страдают оттого, что «сломался лифт эволюции».

а сейчас я смотрю в твои глаза и вижу в них вечность
зеркала накрытые темно-бронзовым покрывалом
Et si tu n'existais pas я бы искал тебя в других глазах плечах
попах но я рад что сегодня нашёл тебя в тебе

Каждый стих Близнюка – это дышащая, живая субстанция, непрерывно растущая кристаллическая решётка – она делится, делится и далее, уже за пределами текста, остаётся и видоизменяется в твоём сознании и впечатлении, потому что тебя уже засосало в эту воронку, из которой нет выхода. Ты поддался провокации вечно голодной, глотающей миры и впечатления анаконды и стал её жертвой и пищей, но вот уже ты и сам анаконда – демиург собственной жизни, где всё самое важное происходит на пике ощущений, на пределе физических и духовных возможностей, и где простой телесный импульс может открыть путь к истине. И в итоге не остаётся ничего, кроме жажды полноты ощущений на уровне чувственном, полубессознательном, становящимся пропуском через материальное к идеальному. Да, у Близнюка одно другое не отменяет, а даже в какой-то мере обуславливает – и эта черта сродни здоровому эротизму счастливого человека, не изувеченного городом и цивилизацией. Поэтому вопреки тому, что «человечество – больное дерево», чьи «ветки трухлявы», лирический герой способен ощутить присутствие в мире и внутри себя «мерцающего фиолетового зверя вселенной» и преодолеть в себе бренное, рутинное:

да, я волшебник.
и пусть нет у меня власти над миром,
прямой и грубой, как хотел бы мой живот, мой кошелёк.
но, когда записываю в уме формулы звезды и песка, бурьяна,
высасываю из дырочки яйца птенца,
происходит оцифровывание бытия для Бога.

В этой антиномии двух, казалось бы, противоположных величин заключается уникальность мировидения Дмитрия Близнюка. Он, ратующий за телесное, провозглашающий телесное как форму полноты жизни, одновременно и отвергает его, вступая в полемику с Богом, усиленно доказывая:

я не простой кусок глины, не нищий уран,
не биологическая игрушка, не разумный болванчик.
не горшок на палке
для выращивания одуванчиков сознания

Автор данных строк напоминает мифологического кентавра, гармонично сочетающего в себе физическую, животную силу и человеческую мудрость. Более всего его волнует вопрос о неизбежности распада материи и конечности земного существования. Поэтому он пребывает в нескончаемом поиске эликсира бессмертия, и кажется, что успех близок, о чём свидетельствует образ снегопада, ставший связующим звеном всех стихов данной книги.

Именно благодаря этому образу, у которого может быть множество смысловых интерпретаций, книга воспринимается как нечто композиционно и художественно выстроенное, подчинённое общей идее. Понятно, что снег – это, прежде всего, метафизическая, экзистенциальная категория: это и некая очищающая стихия, и что-то праздничное, родом из детства, говорящее о взрослении и вхождении в новую жизнь. Многие стихи Близнюка действительно чем-то похожи на игрушечные стеклянные шарики, при встряхивании которых начинает идти бутафорский снег, скрывающий какую-то новую радужную перспективу.

А ещё кажется, что искрящиеся, непрерывно летящие куда-то снежинки – версии альтернативных миров – знают особенную тайну, представляющую интерес для алхимика. Например, они могут рас-

сказать о том, как преобразовать текущий момент бытия в вечную, непреходящую ценность. Они могут объяснить, что на такую метаморфозу способно только время – точнее, его протяжённость и способность отдалять предметы на расстояние воспоминания о них. Воспоминание делает событие прошлого формой бессмертного существования человека. Поэтому снегопад – это взгляд на мир сквозь пелену событий, людей, ощущений. Всё это хорошо осознаёт автор данной книги:

и нечто прикрепляется к жизни –
воображение?
создаёт не эликсир бессмертия, но живучую образность,
и понимаешь – ради этих слонят на обоях стоит жить,
чтобы однажды, через годы, вспомнить, провалиться,
и понять – вот это живее тебя самого.

Привлекают внимание и характерные черты поэтики Дмитрия Близнюка. Его стихи пластичны и безразмерны, как сумочка Гермионы. Дай ему волю, они бы никогда не кончались, потому что его образность всегда в избытке, и он с сожалением ставит точку в конце каждого текста. А потом снова натягивает и натягивает нити на доске, и фактически разобраться в их логике может только он. Подобно факиру или магу, он нажимает на тайную кнопку – и перед читателем возникают гигантские картины-голограммы, напоминающие сцены из западного вестерна. Близнюк – человек-проектор.

Но при этом в книге ощущается также влияние литературной традиции. Её автор в какой-то мере становится наследником Уильяма Фолкнера, Луи Арагона, Андре Бретона, Уитмена. Сюрреалистическими мазками он рисует мир ощущений – яркий, красочный, образованный номинативными конструкциями и запоминающимися словами-маячками.

Близнюку также не чужд бунинский метод синестезии – избегая конкретики и прямых наименований, он выводит целостный художественный образ из глубины зрительных, слуховых, обонятельных, осязательных ассоциаций, а потом показывает его с различных ракурсов – то крупных планом, то в отдалении, то как реальность, то как дорогое сердцу воспоминание.

Можно также отметить, что в основе организации художественного времени и пространства у Дмитрия Близнюка лежит окказиональная метафора – метаметафора, ассоциативно сближающая отдалённые значения и чуждые мифологические системы. Так мир людей может толковаться в терминах природных явлений, астральных тел или даже неодухотворённых предметов:

у неё внутри работает кондиционер.
едва слышно. щелчки.
что-то переключается при улыбке,
даже когда обнимаемся и я целую, внутри –
под блузкой и атласной кожей…

Воссоздавая, реконструируя мир до уровня его синкретичного, абсолютно недискретного состояния, Близнюк – эволюционер, чекист времени, путешественник-демиург – торопится создать ещё и новые миры, затягивая в них и своего читателя. И если это матрица, то лично я не против такой, потому что соткана она из подлинной поэзии и абсолютно искренней любви к жизни:

многие хотят по-быстрому с жизнью переспать,
но я хочу влюбиться по-настоящему.
что же мне делать…

А делать нужно не так уж и много – просто писать стихи…

«КНИЖНАЯ ПОЛКА» АЛЕКСАНДРА КАРПЕНКО

СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ, ИЛИ ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ АНДРЕЯ БАРАНОВА

(Андрей Баранов, Полёт бабочки. Роман. – М., Издательские решения, 2021. – 240 с.)

Для поэта Андрея Баранова «Полёт бабочки» – первый опыт большой прозаической книги. Андрей давно в литературе, у него прекрасный язык, он человек с большим жизненным опытом, так что первый прозаический блин априори не мог выйти у него комом. Просто мастер стихосложения попробовал себя в другом жанре. И всё получилось. Автобиографичность «Полёта бабочки» помогла новоиспеченному прозаику справиться со всеми сложностями, подстерегающими новичков. Андрей Баранов поднимает в своём романе вечный вопрос о том, что такое человеческое счастье, в разных его проявлениях. Можно ли быть счастливым за счёт другого человека? В чём, в конце концов, смысл нашей жизни? Баранов рассказывает нам о дружбе и предательстве. И всё это даётся на широчайшем историческом просторе от гражданской войны между белыми и красными до наших «ковидных» дней. Искромётный язык автора и его философская подготовленность делают «Полёт бабочки» увлекательным чтением не на один раз, собеседником в жизни. Бывают моменты, когда человеку нельзя выжидать, медлить с активными действиями. Пассивность приводит к поражению и потере смысла жизни. Переосмысливая роман Андрея Баранова, мы можем многое понять и в собственной судьбе, научиться ценить то хорошее, что встречается нам на жизненном пути.

«Полёт бабочки» – это роман о зрелости человека. «Зрелость, – говорит Баранов, – это прощание с вечностью. Ты вдруг не абстрактно, а по-настоящему понимаешь, что смертен, на самом деле смертен, и каждый прожитый год приближает тебя к неизбежному финалу». «При пандемии, – домысливаем мы вслед за автором, повторяя фразу булгаковского Воланда, – человек ещё и внезапно смертен». Современная ситуация в мире делает роман Андрея Баранова в высшей степени актуальным.

К «Полёту бабочки» очень подходит определение «сердц*а* четырёх». Четверо институтских друзей разыгрывают между собой пасьянс своей жизни. Павел и Игорь, Ната и Римма всё время проводят вместе. Это люди, которые родились в Советском Союзе и впитали в себя лучшие человеческие качества, унаследовав их от родителей, бабушек и дедушек. Они, студенты, хотят немного изменить советский строй, сделать его более человечным и привлекательным. Пусть это будет «социализм с человеческим лицом»! Мы видим из романа Андрея Баранова, что такие попытки были не только в Чехословакии.

Павел, главный герой романа, организует дискуссионный клуб о достоинствах и недостатках социализма. Но молодого политика вызывают в обком партии и там прессуют так плотно, что он впадает в глубокую депрессию и теряет интерес к жизни. Пройдёт всего несколько лет, и такие дискуссионные клубы станут повсеместными. И друг Павла Игорь легко воплотит в жизнь идею своего товарища. Андрей Баранов создаёт удивительный, потрясающий образ настоящего друга. Игорь проносит преданность Павлу через любовную драму (друзья всю жизнь спорят за одну и ту же женщину). Ревность не только не убивает дружбу, но и делает её тонкой, чуткой, человечной. Именно потому, что это друг. Дружба и любовь образуют в романе Андрея Баранова фугу жизни.

Игорь в конечном итоге оказывается лучшим другом, нежели Павел. У меня даже возникло ощущение, что именно Игорь – настоящий главный герой романа, который пронёс дружбу и любовь через все испытания. Он затмевает Павла по гибкости, интуиции, смекалке. В самые тяжёлые минуты он не лишается способности думать на несколько ходов вперёд. Это такие «шахматы жизни». Поэтому он и побеждает. Единственное, что ему не под силу – добиться от Риммы, любимой женщины, ответных чувств. Тем не менее, в какой-то момент она позволяет ему себя любить и выходит за него замуж. Как бы в знак благодарности за его преданность. Иногда лучше синица в руке, чем журавль в небе.

Но человек устроен так, что всё равно хочет журавля. Счастье как синица и счастье как журавль – спорят между собой в течение всего романа. Имеет ли человек моральное право на журавля, имея уже синицу? Можно ли изменить синице ради журавля? Или же нужно было изначально ждать журавля, идти за журавлём? К сожалению, все эти вопросы человеку приходится решать в юности, когда он не очень-то готов их решать. Он идёт по наитию и верит, что всё ещё можно будет исправить. Юная жизнь не ищет Бога. Но дважды войти в одну реку невозможно. А затем чувства, подавленные в себе ради супружеского долга, вырываются на поверхность, подобно тому, как трава пробивается сквозь асфальт. Сама жизнь невольно выступает в роли режиссёра любви. Если бы Павел и Римма случайно не встретились в день похорон его отца, между ними ничего бы не произошло. В дни утрат мы наиболее уязвимы и потому обнажены. Хочется компенсировать потерю близкого человека нежностью души, чем-то хорошим, устремлённым в будущее.

Мир интимных чувств – очень тонкая сфера. Маленькая обида – и горячая любовь сменяется отторжением на годы. Что важнее – любить самому или быть любимым? Понятно, что взаимная любовь лучше всего, но в жизни такая синхронность встречается нечасто. Трудно дождаться взаимной любви в юношеском нетерпении. Хочется как можно быстрее создать семью, гормоны не дают молодому человеку покоя. И если в молодости можно жить почти с любым представителем противоположного пола, то в зрелости планка требовательности у человека повышается. Роман Андрея Баранова – энциклопедия жизни в разном возрасте.

Фактически в романе Баранова мы видим не любовный треугольник, а любовный квадрат. Другое дело, что квадрат в плане отношений между мужчиной и женщиной – фигура неустойчивая. Он всё время норовит «упроститься» до треугольника. Правда, по аналогии с шедевром Малевича и держа в уме финал романа, можно трактовать эту геометрическую фигуру как чёрный квадрат любви. Почему главные герои романа внезапно умирают в финале? На мой взгляд, потому, что они не использовали в своей жизни великий шанс, который даётся немногим. Мы верим автору и принимаем «несчастный» финал романа. Почему? Да потому, что Андрей Баранов везде на протяжении повествования правдив и естествен. Правдивый человек честен с читателем до конца. Шанс на любовь, дарованный судьбой, не может длиться бесконечно! Один раз дали его героям. Второй, третий… ну сколько можно? Наверное, поэтому они и уходят от нас навсегда. «Запретная» любовь не в состоянии перерасти у них в устойчивую, творческую, семейную.

Помимо дел сугубо лирических, «Полёт бабочки» интересен тем, что анализирует всю нашу новейшую историю, начиная ещё с гражданской войны. Некоторые эпизоды романа читаются как откровение. «Павел понял, что большевики смогли предложить России проект будущего и поэтому победили. У белых не было такого проекта, они звали вернуться в прошлое, и народ за ними не пошёл. Потому-то объективный ход истории оказался на стороне красных. Белые не услышали и не поняли душу народа, не смогли предложить ему прекрасного волшебного замка, ради которого не жалко было бы умереть». Принимаю такую историческую версию от Андрея Баранова! Также очень интересно и парадоксально Баранов пишет о «несовпадении» человека на работе с тем же человеком дома (по поводу Ивана Матвеевича, отца Наты). «Наверное, и эсэсовцы в быту были милыми домашними людьми». Всё это раздвигает линейный мир, показывая его в цветущем разнообразии, в неоднозначности и даже порой амбивалентности. Андрей Баранов рассчитывает на умного читателя, и это большое достоинство книги. Такого рода откровения – не редкость в «Полёте бабочки». И это не может не радовать в век доминирования оглупляющего искусства.

Поэт Андрей Баранов написал настоящий роман, со сквозным образом бабочки, пронизывающим повествование. Образ бабочки у Андрея многофункционален. Это и красота, парящая над ужасами жизни, и детская мечта, и пестрота крыльев, на которых человек поднимается в небо за своей мечтой. Бабочка у Баранова – это ещё и волшебный ковёр-самолёт, сев на который, человек отправляется в путешествие к своим предкам. Можно, наверное, метафорически сказать и так: «Ната и Римма – две яркие бабочки в жизни главного героя». А ещё, конечно, есть бабочка-любовь.

Удалась ли героям Баранова их жизнь? Однозначного ответа на этот вопрос у автора нет. Как поётся в популярной песне «Под музыку Вивальди», жизнь была напрасной и жизнь была прекрасной. Самые глубокие вещи сотканы из противоречий. Павел и Римма вырастили детей, но семейная жизнь не задалась. Сын Павла уехал на ПМЖ за границу, оставив родителей в одиночестве. Самым счастливым из четверых друзей можно, с некоторой натяжкой, назвать Игоря. Он хотя бы прожил жизнь с любимой женщиной. С неверной, не любящей, но зато любимой. Мы видим, что все герои Андрея изменяют своим супругам: кто-то из-за любви к другому человеку, кто-то просто из одиночества. Как трактовать супружескую измену? Если Бог есть любовь, то изменяющий любви, получается, убивает Бога. Но не всё так просто. У Андрея Баранова герои, скорее, изменяют друг другу от отсутствия любви. Это такая ловушка, в которую часто попадают даже самые достойные люди. Любой наш поступок можно оправдать логикой. А логику человек выстраивает сам, в зависимости от своих текущих интересов.

Есть у меня и небольшие замечания к автору романа. Постельные сцены в романе выписаны, на мой взгляд, чересчур натуралистично. Натурализм тянет на себя одеяло, отвлекает внимание читателя. Мне кажется, это не совсем вписывается в стилистику «Полёта бабочки». В другом произведении такая бьющая через край интимная откровенность, возможно, была бы уместной. Хочется большей органичности повествования. В концовке романа отвлекают на себя повышенное внимание второстепенные персонажи. Им, на мой взгляд, уделено слишком много текста. Уже пошла кода, уже над Риммой и Павлом завис дамоклов меч судьбы. Автор словно бы нарочно оттягивает концовку, не желая расстраивать читателей.

Многовекторность «Полёта бабочки» удивляет и радует. Когда автор рассказывает нам о мире ребёнка, маленького сына Павла, может показаться, что мы читаем детскую книгу. У Андрея, очевидно, есть нераскрытый потенциал детского писателя. Пушкин, конечно, немного лукавил, когда говорил, что его «лета к суровой прозе клонят». Дело, мне кажется, не в этом. Просто некоторые художественные идеи лучше реализуются в виде прозаического текста. Возраст тут ни при чём, писателю просто требуется большая усидчивость и больший, по сравнению со стихотворением, объём работы. Хочу пожелать Андрею Баранову не бросать прозу. Проза получается у него хорошо, достойно, певуче! Это «умная» проза человека, который пытается осмыслить своё время.

КИНО НА БУМАГЕ, ИЛИ ДВОЙНОЕ ЗЕРКАЛО МИРА

(Светлана Астрецова, Зеркальный лабиринт. Сборник стихотворений с иллюстрациями автора. – М., Издательство АСТ, 2021, 128 с.)

Светлана Астрецова – это «двойное зеркало мира». Красивая, высокая женщина, она сама является объектом пристального внимания ценителей женской красоты. Женская привлекательность Астрецовой выходит далеко за рамки рядовой комплиментарности. Эта красота кажется настолько возвышенной, не от мира сего, что ею восхищаются даже сами женщины. Мастерство Астрецовой-поэта, может быть, не так велико, как у людей, занимающихся преимущественно поэтическим творчеством. Но в нём есть стиль, в нём есть большая личность. Светлана талантливо использует свои сильные стороны – погружённость в мировую культуру и режиссёрский взгляд на окружающий мир. Стихи Астрецевой – это «кино на бумаге», визуализированная лирика художника и кинематографиста.

Ещё одна грань дарования Светланы Астрецовой – художественное оформление своих произведений. Цветная и чёрно-белая графика. Профессиональные художники высоко оценивают работы Светланы. Мне же её графика навевает воспоминания о творчестве Обри Бердслея, Митрохина, Феофилактова, Александры Экстер, мирискусников и других художников Серебряного века. Мы видим, что поэзия для неё заключена не только в стихотворных строчках. Вот что рассказывает о себе Светлана: «Рисовала я с самого детства. Я любила рисовать красивых дам в шляпах, старинных туалетах и даже помышляла о том, не стать ли мне модельером. А писать я стала довольно поздно. Наверно, мне было лет 13-14. Мне нравилось участвовать в литературных конкурсах, потому что нас освобождали от уроков. И была конференция по Шекспиру, где надо было перевести несколько сонетов. Я села и перевела и совершенно неожиданно получила первое место. И я стала потихонечку переводить. Это сначала были переводы с английского и с французского, а потом я начала писать свои стихи. Я подсела на поэзию как на наркотик, и это часть моей жизни, с которой я не могу расстаться».

Сверкая, зеркала скрывают
В груди вселенные. В зените
Стоит светило, я сражаюсь
С желанием его похитить.

Образ лабиринта, заимствованный нами у древних греков, постоянно присутствует в русской литературе. Например, известный прозаик, культуролог и телеведущий Виктор Ерофеев издал двухтомник статей об искусстве «Лабиринт один» и «Лабиринт два». И так подписал мне одну из своих книг: «Саше на выход из лабиринта». Подразумевалось, что лабиринт – это мучительное блуждание в поисках истины. А вот зеркальный лабиринт Светланы Астрецовой не вызывает у меня желания немедленно его покинуть. Может быть, потому, что лабиринт, отражённый в зеркале, теряет свою одиозность, свою беспросветную замкнутость. Жизнь ведь тоже, в сущности, лабиринт, но выйти из него хочется как можно позже.

Сюжет, как феникс, вышел из пожара
(Он был хитёр и дьявольски красив),
Рос, точно жемчуг, в недрах будуара
И в сердцевинах раковин морских.

Листы ложились высохшей листвою,
И образы срастались в острова.
Герои обретали жизнь, присвоив
Бесстыдно голос и мои слова.

В раскрытое окно из зарослей акаций
Слетались и кружили близ лица
Фантазии, привыкшие питаться
Горячей кровью своего творца.

Секрет успеха Астрецовой-поэта заключается в том, что она абсолютно естественна в том, о чём пишет. Она говорит «о своём», даже если действие происходит в Средние века. В её душе «потрескивают искры, по венам льётся ток». У писательницы есть другие таланты, которые разнообразят её личность. Она – известный кинорежиссёр-документалист, автор фильмов о Вертинском, о Дягилеве, об Академии русского балета им. А.Я. Вагановой. «Зеркальный лабиринт» – уже вторая книга молодого (30 лет) поэта. Несмотря на молодость автора, творчество Астрецовой отмечено вниманием таких выдающихся деятелей нашей культуры как Лев Аннинский, и Владимир Микушевич, Эдвард Радзинский, Дмитрий Воденников, Денис Драгунский, Андрей Максимов, Лев Прыгунов, Николай Цискаридзе… боюсь, список далеко не полный.

Кинорежиссёр – человек зависимый. Не всегда есть работа, поскольку работу должно заказать государство. В свободное от работы время Светлана Астрецова, подобно Эльдару Рязанову, пишет стихи. Пандемия только многократно усилила это стремление. И, как мы видим из её новой книги, она пишет не только стихи. А ещё – она путешествует, и это тоже отражено в её книгах. «Нет большего счастья, чем открыть для себя новый город. Одни города открываются оглушительно, как бутылка шампанского, к другим приходится осторожно подбирать ключ, перепробовав всю связку. Я часто вижу во сне готические шпили и пряничные домики, разноцветные мостовые и площади с фонтанами городов, где мне довелось побывать, и тех, где никогда не буду. Романы с городами обрушиваются на меня куда чаще, чем романы с людьми». Качество прозы Светланы Астрецовой таково, что я не могу говорить о «Зеркальном лабиринте» исключительно как о книге стихотворений. Её произведения настолько насыщены культурными смыслами и реминисценциями, что обилие сносок под ними выглядит абсолютно естественным. «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам», – обмолвился Шекспир. Светлана Астрецова – наш проводник. Наш «дантовский Вергилий» в мире культуры.

Астрецова – не поэт мейнстрима. Её лирика находится вне традиционного контекста русской женской поэзии. Её поэзия, в этом смысле, беспола, и это не мыслится как недостаток. Вместе с тем, Владимир Микушевич говорит о «воинствующей интимности» её стихов. Очевидно, что интимность эта не женская, а художническая. Порой возникает впечатление, что автор пытается реанимировать отжившую эпоху начала XX-го века и вдохнуть в неё новую жизнь. Не случайно в книге возникает фигура Жана Кокто. Он, хотя и не относится к нашему Серебряному веку, является связующим звеном между литературой и золотым веком кино. А Серебряный век русской поэзии – серебряный только по названию. Для нас он самый что ни на есть золотой!

Я скептически отношусь к «Зеркальному лабиринту» как симфонии нового декаданса. Сам этот образ – суперсовременный и свойствен, в первую очередь, метаметафористам, в частности, Константину Кедрову. Какой же это декаданс? Это, скорее, авангард! Другое дело, что Светлана не раскрывает эту метафору как авангардную. Но в чём же её упадничество? Дез Эссент, герой культового романа Гюисманса «Наоборот», бежал от общества, уединившись в нарциссическом самолюбовании». Но ведь Светлана Астрецова – не затворник, а подвижник! Она работает с огромными коллективами! В общем, не вяжется как-то у меня её облик с традиционным декадентством. А вот эстетизм, с некоторым привкусом имморализма, отрицать в её произведениях сложно. Есть в новой книге и цветные фотомодельные портреты Светланы Астрецовой. Ещё одна «зеркальность» её лабиринта.

«Что в имени тебе моём?». В фамилии «Астрецова» слышится древнегреческое αστήρ – «звезда, светило». И она, несомненно, стремится быть звездой, в широком смысле этого слова. У Светланы много интересных мыслей, которые выдают в ней глубокого человека, склонного к парадоксальному мышлению. Так, например, в одном из своих ранних стихотворений она говорит о том, что истинное бессмертие – не извлекать Галатею из мрамора. Согласно Астрецовой, тайное лучше явного, а недовоплощённость глубже завершённости. Это идеи великого Микеланджело Буонаротти. А вот как аукается в стихах Светланы Максимилиан Волошин, один из любимейших, наряду с Северяниным и Цветаевой, её поэтов Серебряного века. Помните, у Волошина: «Я стал строками книги в твоих руках… Меня отныне можно в час тревоги перелистать». А вот что пишет Астрецова:

Восторженно, жадно, неосторожно
(Так вор глядит на алмаз)
Со всех витрин, стеллажей, обложек
Я буду смотреть на вас.

Вы тронете книгу (обложка – не кожа!),
И я не приму отказ.
Обманом, бесчестно, бесстыдно и всё же
Я буду в руках у вас.

Есть в новой книге Светланы и другие интересные идеи. Вот, например, она искусственно делит людей на чёрных и белых, и это отнюдь не цвет кожи. Наверное, лучше было бы сказать «светлые» и «тёмные», но Светлана, видимо, не хочет, чтобы всё это ассоциировалось с героями Сергея Лукьяненко, тем более, что это не совсем одно и то же. В моём понимании, «белых» и «чёрных» можно определить по тяге к запретному. Кто-то культивирует такую тягу, а кто-то её в себе подавляет. Кто-то этого запретного попросту не приемлет. Именно поэтому, на мой взгляд, Лев Толстой обругал Шекспира. Конечно, Лев Толстой и Ральф Эмерсон – это типичные «белые», а Шекспир и Оскар Уайльд – «чёрные». Караваджо – «чёрный», а вот Иоганн Себастьян Бах – «белый». «Белым» неуютно рядом с «чёрными», поэтому каждый «клан» стремится общаться преимущественно со «своими». Любопытная теория!

Кроме стихов и прозы, в «Зеркальном лабиринте» широко представлены переводы из Жана Кокто. Светлана отлично понимает, что процесс художественного перевода неизбежно связан со смысловыми, эмоциональными или мелодическими потерями. И искусство переводчика заключается, прежде всего, в том, чтобы сделать эти потери минимальными. Книгу Светланы Астрецовой приятно держать в руках. Она прекрасно оформлена, в ней есть неистощимое разнообразие жанров. Книга составлена из различных дарований автора. Новинка, несомненно, уже стала заметным явлением в одолеваемой избыточностью персоналий книжной среде.

ЖИЗНЬ КАК ОБРАТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА БОГА

(Александр Лазарев. Жисть. – М., Стеклограф, 2020)

«Жисть» Александра Лазарева – это своего рода духовный дневник. Лазарев – врач, который давно занимается творчеством, выражает себя в музыке и песенной поэзии. Одновременно он пишет хорошую, качественную прозу. Чехов и Розенбаум, Аксёнов и Булгаков, в наши дни Лада Миллер продемонстрировали нам первоклассные образцы русской поэзии и прозы «от врача». Безусловно, перед глазами врачей проходит несоизмеримо большее количество страданий, чем у «обычных» людей. У некоторых врачей даже профессионально притупляется сострадание. Но те врачи, у которых постоянно болит душа, приходят в литературу. Лучшие страницы прозы Александра Лазарева дышат беспокойством. Конечно, кроме знания жизни необходимо ещё и хорошее владение слогом, и у Александра Лазарева оно есть. За словом он в карман не лезет. А ещё у него есть редкий дар – драматургически «вкусно» компоновать свои тексты.

Герою Александра Лазарева неожиданно открылась обратная перспектива. Собственные поступки, которые раньше его вполне устраивали, теперь стали вызывать мучительные приступы стыда. Быть или не быть? Бытие как-то незаметно сосредоточилось внутри человека. Прошлое не переделаешь, и, если начинать переформатировать себя, создавая версию 2.0, приходится начинать с настоящего, с сегодняшнего дня. Конечно, не всякое самокопание и самобичевание идёт человеку на пользу. Но духовные поиски помогают нам стать лучше, чище, благороднее.

Поток самосознания у Александра Лазарева хорошо структурирован. Всё наше земное бытие возвращается к вопросам культуры, совести, целесообразности. «Жисть» заставляет нас задуматься, что же являет собой духовный путь человека. И вот что мы видим. В какой-то момент человек осознаёт, что больше не может жить по-старому. Он может услышать голос, как это случилось с Савлом, ставшим впоследствии апостолом Павлом. Чаще – человек просто начинает размышлять и смотреть на себя «новыми глазами». Часто к переформатированию судьбы приводит какой-нибудь экстренный случай, подобный эшафоту у Достоевского.

Александр Лазарев показывает действительность через ощущения. Как выразился однажды Виктор Коркия, «искусство нужно не для того, чтобы тебя поняли, а для того, чтобы тебя почувствовали». Герой Лазарева остро реагирует на любую несправедливость. Он убеждён: и малый, и великий грех проистекает из одного источника – нарушения Божественного закона. «Саморазоблачения» автора не идут у него под эгидой церковности. Это делает «Жисть» ещё более ценной. Мы понимаем, что есть духовное очищение и вне религии.

То, что Александр Лазарев ещё и поэт, и музыкант, здорово помогает его прозе. Её хочется цитировать. Ритмика завораживает. В сущности, «Аура» – это маленькая поэма в прозе. По замыслу и структуре «Жисть» напоминает мне «Опыты» Мишеля Монтеня. Редкий, полифоничный жанр. Александра не слишком заботит неравнозначность составных частей. Знания, цитаты, воспоминания, озарения переплавляются в едином тигле, имя которому жизнь. В отличие от Монтеня, Лазарев – не скептик. Он – идеалист. Есть в мире и такие люди. И, на мой взгляд, это благо для мира. Они не дают нам окончательно опуститься ниже плинтуса. Быть таким человеком архисложно: ты невольно сам становишься, как говорил Достоевский, «полем битвы». Александра Лазарева всё волнует, любая деградация его печалит, даже надписи в общественном транспорте. Местами его проза очень ершиста. Но такое неравнодушие – дорогого стоит!

«Жисть» заразительна в плане внутреннего зрения. Вслед за автором начинаешь потихоньку раскручивать собственную жизнь на предмет маленьких «стыдно». Конечно, у каждого в жизни такие эпизоды есть. «Жисть» – это крик души: «Люди добрые, что же творится в нашей стране? Как мы с вами живём?». Это сигнал тревоги, это SOS неравнодушного человека. Жизнь, сказал Горький, звучит гордо, а вот жисть – это жесть. Мир, покинутый пассионариями, заполнили «менеджеры среднего звена». Причём они пришли не сами. Просто именно такие профессии оказались наиболее востребованными в начале 21-го века. И проблема гораздо шире, чем чисто российская. Везде в мире одно и то же, все одним миром мазаны.

Мы живём на пороге болезненного обновления мира. В том, что происходит с нами, даже в том, что кажется нам разложением и гибелью мира, заложен некий космический смысл. Цивилизация, как и отдельно взятый человек, живёт пульсациями: она то сжимается, то разбрасывается, расширяется. Ценности устают от самих себя, здоровый консерватизм дряхлеет – и везде, будто грибы, начинают произрастать как будто никому не нужные новые виды деятельности. «Разбрасывание» цивилизации, отягчённое пандемией, вызывает к жизни много пены и мусора, однако без этого был бы невозможен грядущий синтез. Просто не из чего было бы построить гармоничный ряд, тонику более высокого порядка. Неискушённый наблюдатель видит только пену и сетует, что раньше было на порядок лучше. И в чём-то он прав: он может ведь и не дожить до светлого будущего. Однако пульсации цивилизаций носят необратимый характер, и этот космический механизм никто ещё не смог остановить.

«Жисть» Александра Лазарева – это интонационная проза, с настолько живыми интонациями, что сразу воображаешь себе говорящего. По роду занятий я много читаю разного рода литературы. А вот такой прозы ещё не читал. По сути, все рассказы Лазарева – скрытая автобиография. Монолог, искрящийся искренностью. Мы многое узнаём из книги о личных пристрастиях писателя. Он – меломан. Увлекательно рассказывающий о «Битлах», о концертах Элтона Джона. Писатель периодически использует оксюморонную оптику, когда высокое и низкое помещаются рядом. Такого рода амбивалентность сплошь и рядом присуща нашей жизни. Автор постоянно разговаривает с читателями, он провоцирует их на ответные действия. Лазарев повсеместно использует принцип контраста. Параллельно наблюдениям героя рефреном идут «новости», самые душераздирающие: кого-то где-то растлили, кого-то где-то зарезали. Всё это мы постоянно слышим с экранов телевизоров. А настоящих людей – не слышим, как будто все они спрятались, ушли в катакомбы.

«Отовсюду лезут, прутся ко мне рекламщики, девелоперы и прочая нечисть – с предложениями. Напористо, без спроса, без стука! Трапезничаешь ли, а то, наоборот, в туалете – всё одно прут радостно-ясными оползнями, с абсолютно безмозглыми личинами энтузиастов. Я им: „Пошли нах!“ А они: „Зачем нервничать?“ Хочу – нет, страстно жажду, – как Хома Брут, очертить вокруг себя круг мелом… Очертил, дух перевел, к они лезут и лезут: бьются о невидимую преграду, мнут, корежат её, сползают по ней смрадной слизью, но продолжают переть и переть! Имя им – легион! И ничто не может их остановить: ни проклятия, ни „брысь“, ни „сгинь“!!! И ведь отравляют вокруг себя всё, калечат созревающие юные души!».

Обратите внимание на количество восклицательных знаков в этом тексте. Это создаёт особую экспрессию в тексте. Люди у Лазарева распознаются… по реакции на других людей. У Александра есть целая теория подразделения людей по тому, как они реагируют на обращения посторонних. Доверительность – показатель культуры. Если у Пруста герои пребывают в поисках утраченного времени, у Лазарева идут поиски утраченных ценностей, поиски культуры, в широком смысле слова. Жизнь у Александра – обратная перспектива Бога. А дьявол – как водится, часто настигает нас в мелочах. Регулируя эти мелочи, мы можем прийти к Богу. Всё, что развивает человека, делает его лучше.

Язык Александра богат и точен. Его наблюдательности и самокритике можно позавидовать. Лазарев схватил своё время, перестав «жить на скорости».

Исповедь Александра Лазарева незаметно для читателей переходит в проповедь. «Так жить нельзя!» – вслед за Луиджи Пиранделло и Станиславом Говорухиным говорит нам Лазарев. Редкий писатель, которому веришь.

«НЕБО КАК ПЛАЩАНИЦА»

(Константин Кедров, Взметаметафора. Серия «Озарения». – М., Интернациональный Союз писателей, 2020. – 100 с.)

Если раньше поэзия часто существовала за счёт жизни, то теперь жизнь существует за счёт поэзии. Раньше поэзия укорачивала жизнь поэта, а теперь она его продлевает. Сочиняя стихи, поэт сохраняет до глубокой старости все рецепторы постижения мира. Прав был Маяковский, «лет до ста расти нам без старости». Но сам до старости не дожил. Жизнь прожить – не поле перейти. Константин Кедров являет собой пример необыкновенной жизнеспособности в поэзии. Он начал писать необычные стихи ещё в детстве. Пронёс их через испытание непризнанием в советское время. И сейчас продолжает нас радовать глубокими произведениями, меняясь с течением времени. Не так давно он заболел ковидом, попал с этим смертельным диагнозом в больницу, но продолжал писать стихи даже на больничной койке. И вёл оттуда прямые видеорепортажи! Стойкость духа, достойная подражания. Сегодня мы поговорим о его новой книге «Взметаметафора».

ДОЖИТЬ ДО ВЕЧНОСТИ

В айфоне я как Феофан Затворник
Сижу и в понедельник и во вторник
Дожить до вечности вот хитрая наука
Дожить до вечности такая мука
Я дожил но отнюдь не доживаю
А с каждым днём всё боле оживаю
И если вы со мною оживёте
До вечности со мною доживёте
Нет не прожить
До вечности дожить

Сквозь поэзию Кедрова проходит, как выразился Флоренский, «водораздел мысли». Считалось, что Кедров – поэт преимущественно метафизический, поэт умозрения, верлибрист по призванию. Но во «Взметаметафоре» он широко переходит в силлабо-тонику, хотя доминанта афористического, метафорического зрения в нём осталась. Причём метафора у него активная. Взметаметафора. Именно метафора, расширяющая владения поэта вширь и вглубь – тот самый глагол, которым он, как пушкинский пророк, «жжёт сердца людей». У него «небо как плащаница» – поэт спеленал себя космосом как плащаницей Бога. «Метаметафорой беру в бою Берлин», – говорит Кедров. Обращение к классическим стихотворным размерам «перепрограммировало» творчество Кедрова таким образом, что на первый план вышел человек чувственный.

От жизни мало остаётся
Но остаётся что поётся
Все что само собой поётся
Навеки с вами остаётся

Все ноты в сердце замирают
Мелодии не умирают
А что такое звук мелодий
На раны пролитый коллодий

(классический четырёхстопный ямб)

«Горла нет, а песня продолжается», – говорит поэт в другом стихотворении из «Взметаметафоры». Эта книга, возможно, позволит читателю по-новому взглянуть на творчество Кедрова, которое раньше ассоциировалось исключительно с нерифмованным авангардом. Кедров свободен в своих стихах, у него нет страха неудачной строки. Поэт самодостаточен в своём творчестве, уверенный, что находки с избытком покрывают недоделки. Поздний Кедров – это акынство человека мироздания. Я слышу в поэзии позднего Кедрова влияние поэтики Вознесенского. Может быть, это память о друге, проникающая в поры человека, оставшегося в одиночестве на этом свете. «Пошли мне, Господь, второго», – Господь послал Вознесенскому Кедрова, а Кедрову Вознесенского. И, когда я нахожу в новых стихах Кедрова такие слова как гёрла, сука, плейбой, это в нём проговаривается ушедший от нас Вознесенский.

Позволь мне собой поделиться,
Чтоб далее в космосе длиться
Но это недолго продлится
Пока я могу поделиться
Позволь мне остаться собою
Небесному бою плейбою
Позволь мне собою остаться
Позволь мне с тобой не расстаться

(классический трёхстопный амфибрахий)

«Поэзия есть высшее проявление свободы», – считает Константин Кедров, – форма не должна довлеть над содержанием, и смысл важнее формы. «Школа» часто даёт поэту технические знания, но закрепощает его. А в умении мыслить образами нетривиально Кедров-поэт всегда на высоте.

В лирике Кедрова важно то, что он человек научного склада. Он раздвинул мир, расширив ареал обитания поэзии. В 21-м веке он стал писать по-другому. Если раньше Кедров писал длинные поэмы верлибром, иногда с использованием акцентного стиха, то в новом времени поэт часто пишет в рифму. Акцент в новой книге смещается именно в сторону лирики. Хотя и от «старого» стиля он не отказался. Ну вот, например:

Следующая тристанция Изольда
Плачет Изольда ледяными слезами
Нет мне нигде тристанища

Космос у Кедрова – это ещё и внутренний космос души, космос творчества. Поэзия как игра («я играю ни на чём обо всём»). Поэзия как лекция. Поэзия как пение. «Пишу всё время иначе». «По правилам идёт игра без правил». «Условны даты и условны числа, но я борюсь за расширение смысла». Уже упомянутое «метаметафорой беру в бою Берлин». Метафоризм и царственная небрежность создают у него особый стиль письма, предполагающий импровизацию. Именно в этом качестве близок Кедрову Дмитрий Пригов.

Все лежат в ожидании Годо
И над всеми звучит нота до

Где-то на вершине бытия поэт уже, перефразируя меткое выражение Пастернака, «впал, как в ересь, в неслыханную простоту». У Кедрова – это простота энциклопедиста. Поскольку Кедров ещё и художник (и в поэзии, и на холстах), он часто пишет автопортреты. Но это – автопортреты духа. Как правило, такие автопортреты у Кедрова концептуальны. Но они очень искренни, и, пожалуй, никто не расскажет о Кедрове-человеке лучше, чем Кедров-поэт. Вот, например, стихотворение «Аэроним». Мне кажется, это знаковые стихи для «нового» Кедрова. И, вместе с тем, и в этой стилистике он узнаваем.

Давайте думать о ранимом
Ранимом Господом хранимом
И я раним и ты раним
Блаженный я иероним
Во всех кострах самосожженный
Живу скаженный и блаженный
На небе звёздные костры
Огнеупорны и пестры

Я знаю я конечно спорен
Как Аввакум
Огнеупорен
Всё небо в огненных лакунах
Галактики из Аввакумов
А я по-прежнему раним
Блаженный ваш Аэроним
Среди небесных пантомим
АэронимбАэроним

ПОЭТ ПОЛУСВЕТА, ИЛИ РАСКАДРОВКА ЖИЗНИ ЮРИЯ ВЛОДОВА

(Людмила Осокина, Фильмы о Юрии Влодове. Документальный проект. – М., «Вест-Консалтинг», 2021. – 94 с, илл.)

Миссия Людмилы Осокиной – собирание материалов, так или иначе связанных с Юрием Влодовым. Долгие годы совместной жизни дали ей внутреннее право заниматься инвентаризацией поэтического «имущества» известного поэта. Битва за значимость поэзии Влодова продолжается и после его смерти. Многие считают его поэтом гениальным, единственным в своём роде. Поэт полусвета, он был широко известен в узких кругах. Таких поэтов советской эпохи, которых сложно классифицировать, сложно отнести к тому или иному «лагерю», достаточно много. Новая книга Людмилы Осокиной подбавляет жару в эту полемику. По сути, это пьеса-жизнеописание Юрия Влодова, показывающая истоки его личности и творчества. Поэт вышел у кинематографистов живым, со всеми достоинствами и недостатками. И, конечно, в фильмах звучат стихи в авторском исполнении.

Листва в Иудее опала…
Бездомье пришло и опала –
Вся крыша судьбы протекла…

Он молвил: «послушай, Иуда! –
Теперь мне действительно худо, –
Рискни, приюти до тепла…

Мне худо, ты слышишь, Иуда?
Что далее – голод, простуда,
И может быть, даже – арест!..»

Иуда взмолился: «Учитель!
Ты – мученик наш и мучитель!
Спасенье для гения – крест!..»

Без лишних упрёков и прений
Ушёл успокоенный гений,
Убрёл от людского тепла…

А зимней природы опала
Дождями и снегом опала…
Вся крыша судьбы протекла!..

Юрий Влодов, сполна познавший нищету и бесприютность, пишет своего Христа из личного опыта, что делает его стихи живыми и прочувствованными. В советское время, в эпоху соцреализма это звучало как невероятная, ни с чем не сравнимая смелость. За такие тексты легко можно было надолго сесть в тюрьму.

Обращает на себя внимание подчёркнутая нейтральность Людмилы Осокиной по отношению к тому, что говорит её муж и что снимают киношники. Фильмы – это летопись прошедшего времени. Людмила считает себя не вправе что-либо изменять в них или приукрашивать. Пусть будет, как было! И в этом – несомненное достоинство новой книги. Книга Осокиной поднимает вопросы о личности, судьбе и деяниях Юрия Влодова и на некоторые из них даёт ответы. Так, например, теперь мы понимаем, откуда у поэта постоянная внутренняя борьба: от родителей. Папа с мамой часто ругались на национальной почве. Любовь и непримиримость – в этих полярных человеческих проявлениях протекало детство будущего поэта. Христос у Влодова, Иуда, Магдалина – все они очень необычны, поскольку поэт переносит человеческие страсти на известных библейских персонажей. Думаю, верующий человек согласится далеко не со всеми текстами Влодова. Но есть среди них и очень хорошие. И они тоже звучат в фильмах. Например, вот это:

«Отче!…
Хочу оторвать от земли преклоненные очи!..»
«Сыне! –
Ты можешь ослепнуть от солнечной праведной сини!..»

«Отче!…
Дозволь заглянуть в непроглядные пропасти ночи!..»
«Сыне! –
Душа охладится от лунной губительной стыни!..»
«Отче!…
Какая дорога к тебе, по-земному, короче?»
«Сыне! –
Последуй за тем, кто блуждает в житейской пустыне!..»
«Мне стыдно, Отец мой…
Я глаз от земли не подъемлю…»
«Люби свою землю!..
Люби свою землю!..»

Безусловно, в вербализации фильма тоже есть недостатки. Например, мы не слышим реальный голос поэта, тембр его голоса сложно передать словами. Порой отсутствие видеоряда может ввести читателя в заблуждение. Например, когда Влодов говорит, что это Пастернак был с ним знаком, а не он с Пастернаком, непонятно, то ли поэт шутит, то ли у него не на шутку разыгралось самомнение. Интонация, с которой он произносит эту фразу, могла бы прояснить нам истинное положение вещей. Конечно, для исследователя идеальным было бы, если бы подстрочный текст шёл вместе с «живым» фильмом. Но, наверное, можно почитать, а потом посмотреть. Или наоборот. Все фильмы есть в интернете в свободном доступе.

Юрий Влодов рассказывает в первом фильме о том, что он является родственником знаменитого Мишки Япончика. И, мне кажется, все его криминальные юношеские приключения – биографический отголосок этого родства с Япончиком. Как и у Константина Кедрова, у Влодова родители были бродячими актёрами. Актёрство прослеживается и в стихах Влодова, и в его поступках. Его судьба во многом мифологизирована при жизни им самим. Теперь, благодаря книге Людмилы Осокиной, мы знаем, «откуда растут ноги». «Вот откуда, видимо, мои гены», – говорит в первом фильме сам поэт. Родители-актёры способствовали «игровому» постижению мира. Юрий Влодов был «человек играющий» (формулировка Йохана Хейзинги). Он играл, перевоплощаясь, в своих стихотворениях, и был дерзновенен в этих перевоплощениях.

В фильме творческого объединения «Лад» Влодов пишет письмо королю Швеции с просьбой предоставить гражданство этой процветающей стране. «Прошу Вас, ваше Величество, приютить на шведской земле бедного, загнанного поэта с семьёй». Если честно, я отношусь отрицательно к подобным эскападам. Где родился, там и приходился – особенно если ты поэт. Тем не менее, для Влодова это был элемент игры, характеризующий его как романтика. Получится – хорошо. Не получится – тоже хорошо, потому что – драйв. Видимо, он понимал, что, скорее всего, не получится. Эмигрантская публика начала в это время уже возвращаться на родину. И стихи о Христе уже можно было опубликовать в толстых журналах. Конечно, у Влодова есть оправдание – он не один и просит не только за себя, но и за членов своей семьи. Второй и третий фильмы показали, что и на родине поэт стал востребованным, а многострадальные «Люди и боги» были, наконец, изданы.

Сам факт того, что государственное российское телевидение снимает сюжет о предоставлении гражданину России политического убежища в другой стране, примечателен. Советский Союз разрушен, но степень свободы в новой стране «зашкаливает». В другие времена подобные проступки (и стороны кинематографистов тоже!) трактовались однозначно: как предательство Родины. Парадокс – оказывается, стране предавать своих граждан можно, а гражданам страну – нельзя! Но вернёмся к Юрию Влодову. Мне кажется, к 60-ти годам поэт банально устал от собачьей жизни. И, сможет быть, само участие в фильме было для него попыткой напомнить государству о своей судьбе. Объяснения Влодова, что «он едет в Швецию издавать журнал», неубедительны. Все границы к тому времени уже открыты настежь. Но это наш взгляд на то время из будущего. В кинохронике, вербализированной Людмилой Осокиной, много места уделено и делам семейным. Проникновенные, светлые кадры посвящены дочери Юрия Влодова и Людмилы Юле.

Когда Господней смерти лапа
Меня потащит в рай,
Проснётся дочка: «Папа! Папа!
Я здесь! Не умирай!»

И заскулит в ночи спросонок,
Заголосит во тьму,
Моя травинка, мой ребёнок,
Не нужный никому.

Трагедия жизни поэта – в том, что дочка Юля умерла раньше, чем её папа. Человека нет, а фильм – есть. И книга – есть. И в ней все они – живые.

Фильмы о Влодове разноплановы. Если подходить к ним со стандартными мерками искусства, то, может быть, первый из них, фильм творческого объединения «Лад», профессиональнее остальных. Ко второму фильму – режиссёра Сергея Князева – у меня много вопросов. Второй фильм очень ершистый, но именно он даёт нам Влодова непричёсанного и «гиперболизированного», большого выдумщика, раздираемого страстями и чувством несправедливости. Второй фильм ещё сильнее показывает Влодова с не лучшей стороны, в сущности, создаёт ему антирекламу. Третий фильм –наиболее универсальный. Автор картины Юрий Беликов, человек тонкий и очень талантливый поэт, дружил с Влодовым. Это фильм поэта о поэте.

Я воспринимаю фильмы о Влодове, а вслед за ними и книгу Людмилы как исповедь поэта, как документ эпохи. Многие стихи Влодова уже опубликованы. Но опубликованы – не значит прочитаны. Людмила Осокина заостряет наше внимание на судьбе поэта, через судьбу – на его творчестве. Моя вовлечённость в проект Осокиной подстёгивается тем интересным фактом, что Влодовы жили в Чертаново в одном из соседних домов, буквально рядом со мной. Но мы тогда не пересеклись, не сложилось. В заключение, хочу пожелать неутомимой Людмиле Осокиной плодотворной работы с архивами выдающегося поэта. И при этом не забывать о своём собственном творчестве.

«ЗАГОВОРЁННЫЕ». ОКОЛЬЦОВАННАЯ БЕСКОНЕЧНОСТЬ

(Лада Миллер, Заговорённые. Роман. – М., ЛитРес, 2021)

У Лады Миллер есть и дарование поэта, и талант прозаика. Эти таланты разные по своей наполненности. Если Лада-поэт романтично пишет о женском счастье, но за пределы этой темы выходит редко и не совсем охотно, то Лада-прозаик, отталкиваясь от своей врачебной практики, пишет обо всём на свете. Это и философия жизни, и психология, и многое-многое другое в сплетении человеческих судеб. Проза даёт ей счастливую возможность договорить о жизни, разложить сценарий жизни на роли. В прозе она делает то, к чему плохо приспособлена любая лирика. Многим читателям полюбились её «Мурашки». «Заговорённые» тоже «промурашивают» читателей до косточек. Почему роман называется именно так? Заговорённые – это люди большой жизненной силы, которых остерегаются неудачи. Они никогда не сдаются и потому выпутываются из самых сложных ситуаций. Их словно бы «заговорили», напутствовали на победу.

Лада Миллер пишет так ярко, что читателей не покидает ощущение: у нашей жизни точно есть высший смысл. Ещё немного, и мы его узнаем. А ещё роман Лады – своеобразный памятник профессии врача. Читателю «Заговорённых» кажется, что среди врачей плохих людей либо нет вообще, либо на порядок меньше, чем в большинстве других профессий. Стать врачом – уже поступок, уже донорство. Причём ведь Лада описывает в своём романе ещё «доковидные» времена! У врачей – телескопический взгляд на мир. Вот несколько ярких цитат из романа.

«Улица бежит и бежит, и ты бежишь по ней, но вот уже пора бы и притормозить, стой, глупая, стой, цель, конечно, требует движения, но не всё, что движется, приводит к цели».

«Вся правда – вот она где. Только выпусти. Она положила себе руку на сердце».

«Она и раньше не была толстой, а сейчас сквозь неё можно было увидеть небо».

«Завтра случится новый день, и новые маленькие победы – над собой, всегда над собой, потому что над остальным миром ты не властен,и слава богу».

«Илья обнимает её за плечи, море лижет им ноги, и время останавливается. Солнце зависает у самой кромки воды, смотрит на влюблённых, хочет предупредить Ирку, что каждый поцелуй – это всего лишь рыболовный крючок, но машет рукой:

– Разбирайтесь сами, – и ныряет в море».

«Кто знает, может быть то, что происходит с нами во сне и есть настоящая жизнь? А то, что кажется жизнью, всего лишь сон?»

«Заговорённые» – роман о «среднем» этапе в жизни автора, о первой стране эмиграции. Книга интересна ещё и в познавательном плане, для тех, кто не живёт в Израиле и ни разу там не бывал. Эта странная страна не похожа ни на Россию, ни на Европу. Как укорениться на земле обетованной? Как найти себя и обрести там счастье? Герои Лады решают эти сложные вопросы по-своему. Должно многое сойтись, чтобы человек почувствовал себя в этой стране своим. Но главное для человека –профессиональная востребованность. Спутник жизни рано или поздно найдётся. Как и везде, многое в жизни зависит здесь от поддержки родных, друзей и от везения. Юлю, главную героиню романа Лады Миллер, поддерживают мама, папа, бабушка, брат. Целая большая семья! Конечно, они помогают друг другу выжить, зацепиться за открывающиеся возможности. Учат иврит – русский язык распространён везде, но с ним трудно продвинуться в своей профессии. И всё приходит с опытом и потерями.

Пациенты рассказывают Юле истории своей жизни. Она сочувствует каждому, но ставит себе психологическую задачу – не умирать вместе с каждым своим пациентом. Умирать вместе с больными очень тяжело и не очень профессионально. Первое время она смотрит на мир исключительно глазами страданий.

Проза Лады Миллер захватывает и уже не отпускает. Для меня показатель качественной прозы – если её хочется цитировать. Ещё одна цитата из романа:

– Э, деточка, заблудиться можно где угодно, –о тозвался водитель, посмеиваясь в седые усы, – А самое страшное – в самом себе.

Лада Миллер поднимает в «Заговорённых» очень интересные вопросы. Например, боязнь говорить на неродном языке и необходимость всё-таки это делать. Вот как описывает писательница это ощущение: *«Для меня это настоящая пытка, особенно в самом начале. Будто вышел из моря на пляж и понял, что купальник с тебя волной сорвало, а вещи, которые оставил на берегу, пропали».* Лада – из того удивительного типа людей, которых интересует любая жизнь в любой стране в любых проявлениях. Она отважна и любознательна. А тут – поди ж ты – и ехать никуда не надо, судьба сама тебя привела надолго в другую страну. Эмиграция провоцирует умного человека на размышления об устройстве мира. Вот, например, в России в реанимацию родственников больного не пускают вообще. А в Израиле – пожалуйста. Каждый день можно приходить.

«Заговорённые» – книга «вкусная». Но в ней есть особо эмоциональные фрагменты. Автор не злоупотребляет сентиментальностью, катарсис наступает внезапно. Герои романа постоянно решают сложные вопросы. Что делать: рушить семью ради новой любви, жить втроём или оставить всё как есть? Наверное, каждый человек в той или иной степени сталкивался на практике с такого рода проблемами. Любовь трансформирует человека, переформатирует его личность. Иногда, если повезёт, – в лучшую сторону.

Когда Лада сначала делает экскурс а прошлое, а потом неожиданно рассказывает о том, что случилось в будущем с одногруппниками её героини, у меня наворачиваются слезы. Просто и страшно так смотреть на нашу жизнь. Но именно этим и ценен писатель. Быт в «Заговорённых» неожиданно перерастает в бытие. У Тарковского есть такое стихотворение – он во сне приходит к своим друзьям в канун войны, уже зная наперёд, кто из них погибнет. Лада Миллер, путешествуя из прошлого в будущее, использует, в сущности, тот же литературный приём, что и Арсений Тарковский, но у меня сложилось впечатление, что в прозе такой приём работает лучше, чем в поэзии. В прозе существует эффект неожиданности. Ты совсем не ждёшь, читая об израильском быте героев, экскурса в будущее, где героев уже нет. И это работает как катарсис. А вот руки больных с лагерными татуировками – портал в прошлое. Передвижениями на машине времени автор раздвигает пространство повествования. Она, как Господь, заранее знает будущее своих героев. Но ведь писатель и есть творец!

Писательница убеждена: жизнь – это не только то, что происходит с нами в данную конкретную минуту. Жизнь – это и то, что было, и то, что будет. Окольцованная непрерывность. Закольцованная бесконечность. *«Чтобы примирить человека и жизнь, надо испытать смерть».*

Лада Миллер – не только врач, но и психолог-микроскопист. Складывается впечатление, что на мир она смотрит гораздо большим количеством глаз, нежели обычные люди. «Заговорённые» расширяют философский кругозор читателей. Вот, например фрагмент романа о Библии в жизни человека. «Библия», – говорит героиня Лады, – книга о том, как жили люди до и после десяти заповедей Моисея. И вот что интересно. Люди как нарушали заповеди до их появления, так и продолжали их нарушать после установления этих заповедей. Жизнь сама по себе, мораль сама по себе». Если довести эту мысль до логического конца, жизнь в принципе противоположна Богу. «Библия – книга о том, как жить нельзя», – говорит Лада Миллер.

Во второй части романа действие словно бы замедляется, будто сама жизнь ещё толком не знает, чем это всё закончится. А герои неожиданно… выныривают из будущего, живые и невредимые.

БОРИС ФАБРИКАНТ: «РОДИНА – ЗНАЧИТ ЛЮБОВЬ»

(Борис Фабрикант, Еврейская книга. Стихотворения. – М.: Стеклограф, 2021. – 64 с.)

Когда я читаю «Еврейскую книгу» Бориса Фабриканта, я не могу избавиться от ощущения, что эта книга больше меня, её читателя. И не то, чтобы я вдруг почувствовал себя маленькой песчинкой мироздания. Просто автор ворочает такими временными глыбами, что вся твоя жизнь кажется ничтожно малой перед величием этой живой истории. Назвать так свою книгу – очень простое и очень смелое решение. И, мне кажется, здесь оно вполне оправданно.

«Еврей о будущем не помнит» – говорит Борис. Слишком много исторической памяти. И пускай это были совсем другие евреи, не похожие на нынешних, прапамять о бедах, выпавших на их долю, передаётся из поколения в поколение. Особенно свежа, конечно, память о погромах и о холокосте. Она впечатана в генетическую память огромного количества людей. И объём памяти невольно довлеет над будущим.

Еврею главное веселье – погрустить
и в стену плача упереться лбом,
и, помня Бога, думать о былом,
еврей о будущем не помнит. Чья вина,
что на пути еврея всюду ждёт стена,
и яма плача сорванной землёй,
как содранною кожей,
покрыть не может детской плоти божьей.
Как спрятать их надёжней, наконец?
Хотя бы в дыме, вот они плывут,
и скрыты очертания телец,
и над землёй летают, навсегда
там, где дожди и прочая вода,
как будто небо – это детский пруд.
Омытые от дыма не видны,
прозрачные, взлететь не могут выше,
пока все не отмолены, мы дышим,
мы дышим ими, стоя у стены

Борис организовал книгу таким образом, что ведущая тема держит силовыми линиями своего поля всю книгу. Они словно бы обволакивают основную тему другими образами и сравнениями. И даже стихи, впрямую, казалось бы, к ней не относящиеся, вроде «Вероны», стали неотъемлемой частью книги как единого целого. Это очень похоже на то, как «ненужные» вроде бы леса помогают в строительстве дома. Так это и работает.

Одного удачного стихотворения бывает достаточно, чтобы не только заявить тему, но и в какой-то степени исчерпать её, заложив фундамент будущей книги. Для Бориса Фабриканта еврейская тема – не линейная. Тема у него разрастается, становится объёмной, появляются вариации и ответвления. И, конечно, все обобщения идут через личный опыт, с самого раннего детства. Иногда всё проговаривается у поэта на таком нерве, на таком высоком градусе повествования, что невозможно прочесть несколько таких стихотворений и не попросить паузу, чтобы побыть наедине с собой. Особенно запомнилось мне стихотворение о младшем брате, на которого старший несправедливо взвалил вину. Это произошло ещё в детские годы, но та давняя вина до сих пор не даёт старшему брату покоя. Увы,ничего изменить уже нельзя. Прошлое только даёт пищу для угрызений совести.

В процессе подрастания, пока
важнее хмель, чем вкус, легки прицелы,
глаз не поймёт про взгляд издалека,
желания сильны и чувства целы.

Мальчишеский не разберёт задор –
количество ценней, чем пониманье.
И где-то впереди такой простор,
что путь к нему не требует вниманья.

Пока приходит всё само собой,
реестр возрастной переполняя,
мы скачем в парке детскою гурьбой,
не зная слов «люблю, тебя, родная».

Но нам потом покажут их в кино,
и мы привыкнем к этому размену,
когда – люблю – за слово за одно
приносят жизнь, не называя цену

Детское неведение, неразделённость жизни на понятия мыслятся позже как огромное благо, как потерянный рай. Фабрикант владеет магией переключения одиночества на общество, камерности на соборность. Он говорит удивительные вещи, о которых мог задуматься только поэт: «На рентгеновском снимке каждый всегда один». Даже когда Фабрикант говорит о грустном или трагическом, он старается дать людям надежду, и поэзия возвышается над драмой. Поэт «вытягивает» из жизни боль, он словно бы совершает волшебство, делая пассы поэтическими строчками. Нежнейшие строки Бориса посвящены маме.

Себя простим. Пока живой, прощён.
Пока я помню радости мальчишки,
Он мало изменился и ещё
Читает с фонарём в постели книжки.

И входит мама: «Спать давно пора!».
Край ночи снова тлеет на восходе,
А завтра в школу. Уплыла луна.
Он засыпает, счастлив, до утра.
И до сих пор не знает, что она
Уже не входит, никогда не входит

Поэта постоянно посещают сны о золотом детстве.

Горячее молоко, сода и мягкий мёд,
масло плывёт, как желток, островком.
Этот рецепт со мною живёт
впитанный с маминым молоком.
Если простуда, гланды, можно лежать-читать,
в школу ходить не надо, туда-обратно.
Но одеяло к печным изразцам прижать,
чтобы теплом накрыть меня старым ватным.

Стихи Фабриканта человечны. Он рассказывает так, как будто бы сам во всех временах побывал, увидел и сохранил в своём сердце, чтобы когда-нибудь поведать об этом людям. Вот стихотворение «Исход», разве это не чудо? После описания самых горьких событий читателю Фабриканта ещё сильнее хочется жить! Поэт всегда несёт людям утешение.

Заблудился мальчишка, свобода нелёгкая суда.
Шёл со всеми оттуда. Шаг в сторону, в сторону, ведь
там рождённая только что бабочка вверх из-под спуда
всё пыталась, пыталась взлететь.
Непросохшие крылья слипались, как пластырь, слипались.
Не оставь её, Пастырь! Она всё качалась слепая.
Мёрзла бабочка, дымка уснувшее солнце скрывала,
разноцветный клочок неизвестного нам одеяла.
Как упала, взлетела и, будто спасаясь от пули,
полетела зигзагом на лёгких воздушных ходулях.
За спиною защёлкнулось море под небом пустым.

Мальчик молвил: «Будь славен, о Боже,
будь славен, о Боже!»
и за бабочкой вышел к своим.
Ну, а пуля и дым, ну, а пуля и дым
уже позже догнали его, уже позже

«Исход» я невольно проецирую на судьбу самого поэта. Судьба Бориса Фабриканта разбивает сложившиеся за последние десятилетия стереотипы об эмиграции. У Бориса это уже абсолютно безболезненная эмиграция. Как будто это и не эмиграция вовсе, а просто перемещение в пространстве. Эмиграция новейшего времени перестала быть для человека трагедией. Он добровольно отправляется за границу и так же добровольно возвращается в страну своего прежнего пребывания. Наряду с лирикой, я слышу в новой книге Бориса и стихи с сильной социальной подоплёкой («Три голоса»). Есть в «Еврейской книге» и стихи, в которых автор без обиняков, чётко расставляет точки над «и» в извечных дискуссиях о родине. «Где дожил до отцовства», где покоится прах предков, там и родина.

Еврей, я был рождён на Украине,
Полжизни Львов, Москва не навсегда,
Я в Англии живу у моря ныне,
Израиль навещаю… Что тогда
Отечеством мне верно обозначить?
Где горе мыкал, счастлив был тем паче?
Где мама в землю навсегда легла?
Где ночью темнота светлым-светла?

Я сам себе и родина и знамя.
Моя семья – отечество и кров.
Границ не строю. Разжигаю пламя –
Тепло друзьям, защита от врагов.
Прости за лозунг. Ты за всё в ответе.
Трудись во благо, пой, живи, пляши!
День начинай с открытий, пей, пиши!
И за руки держись за всех на свете.

Еврейская книга Фабриканта внутренне полемична. «С чего начинается Родина?» – эти строки знакомы каждому с детства. Родина – это пространство сердца, это жизнь, одновременно и земная, и небесная. И в этой жизни нам снится Господь, а в параллельном сне, возможно, мы снимся Господу. Мы видим, насколько разнообразны стихи Бориса Фабриканта стилистически. И, верится, это только начало большого творческого пути.

«ЛАСТВУЙСЯ И ВЫСОТСТВУЙ». ЛЕТОПИСЬ ЛЕТА И ПОЛЁТА

(Герман Власов, Пузыри на асфальте. Стихи и переводы. – Киев, Друкарский двор Олега Фёдорова, 2021. – 112 с.)

Герман Власов «наплывает» на мейнстрим современной русской поэзии со своим оригинальным стилем письма. Он ищет и находит поэзию везде. Ловит её, как покемонов, в самых обыкновенных местах окружающего мира. Собирает, как грибы, в поэтическую корзинку. Иногда это просто более острое, чем у многих других, зрение. Кто-то уже прошёл здесь до Германа, но никаких грибов не заметил. Когда поэт находит собственный почерк, возникает вопрос об универсальности такого стиля письма. У Германа Власова – большой спектр охвата действительности. В подобном ключе можно писать обо всём на свете. «Пузыри на асфальте» – это книга поисков и находок. Герман идёт не только за смыслом, но и за звуком. «Поэзия – это, прежде всего, звук», – убеждён известный поэт, литературовед и телеведущий Игорь Волгин.

голуби прилетели
значит совьют гнездо
это как в донном теле
нота поётся до
домини и господствуй
строй свой уютный дом
ластвуйся и высотствуй

ласточка там при том
что остаются силы
воздух высотный мять
господи до могилы
дай мне восторг принять
не помешать зарнице
целить янтарный нож
ласточки и синицы
сонная молодёжь
строится и гуляет
летним безбедным днём
мы же садимся в ялик
яузой уплывём

В этом стихотворении поэт говорит о самых обычных птицах: ласточках, синицах, голубях. Выйди во двор – и ты непременно их там увидишь. Но как преображается птичий мир у Германа Власова! Словно он и впрямь орнитолог, наследник по прямой футуристической поэзии Велимира Хлебникова. Герой Власова творчески преобразует привычный нам мир, и «высотствует», то есть священнодействует. Почитайте это стихотворение вслух вполголоса, и вы обязательно попадёте под магию воздействия его музыки.

Поэзия может вырастать просто из наблюдательности. Существуют предметы, которые становятся приметами времени. Читаю у Германа: *«Там шарик отвинчен один / с эмалевой спинки кровати, / и ходят в избу-магазин, / и носят толстовки на вате»*. На меня сразу пахнуло запахом детства. Случалось, я сам отвинчивал эти шарики со спинки кровати. И ходил в избу-магазин, и носил ватные толстовки. Всё – моё, всё – забираю себе. Поэт подсмотрел, а я, каюсь, подзабыл уже эти детские впечатления, растерял их, будто что-то неважное, второстепенное. Сила Германа Власова и заключается в том, что он берёт якобы второстепенное, не главное, и даёт его так пронзительно, что это становится яркой ностальгической приметой времени. Это редкий талант преобразовывать быт в бытие. Те же пузыри на асфальте у поэта настоящие, он словно бы продолжил тютчевскую «грозу в начале мая». Лирический герой не испугался грозы, не убежал – и досмотрел её до конца, до пузырей на асфальте.

Герман Власов в творчестве, прежде всего, лирик и живописец. У него достаточно оптимистический, радостный взгляд на мир. «Пузыри на асфальте» – и есть такого рода оптика. О Власове можно сказать строчками из Мандельштама: «Он опыт из лепета лепит/ и лепет из опыта пьёт». При этом Герман строит внутреннюю гармонию стихотворения из большого числа компонентов. Вместе с тем, в стихах постоянно ощущается большая внутренняя сила, присущая автору. Его герой его «тих и непреклонен пройти чистилище и ад». Иногда в стихах Германа появляются герметизм и стереометрия. И о таких произведениях говорить сложно, поскольку можно нафантазировать себе совсем не то, что изначально закладывал в стихи автор. Например, мне сразу показалось, что Мария из стихотворения «Мария не пряла не вышивала» – это именно дева Мария, хотя автор нигде об этом не говорит. Но у меня связались «Мария» и «хамсин». Непорочное зачатие девы Марии хорошо вписывается в эстетику чудесного, присущую поэзии Германа Власова и расширяет диапазон его поэзии. Власов порой в одном и том же стихотворении переходит на разные семантическое планы, на разные уровни сознания. Он словно бы приглашает читателей к соразмышлению. Читая «Пузыри на асфальте», понимаешь: дело Алексея Парщикова живёт и здравствует. При этом Герман Власов романтичен и загадочен. Таинственно стихотворение «Кто по лицу плывёт…». Загадочны «Два стихотворения». По мельчайшим деталям первой части диптиха и собственным опытам в герменевтике я догадался, что речь здесь идёт об Иисусе Христе (плотник, но не Иосиф, на его рубахе проступает симпатическими чернилами Слово) и Деве Марии. Поэт сопрягает быт и стихию, космос и мифологию. И делает это очень по-своему, по-власовски.

«Пузыри на асфальте» – книга в основном летняя. *«А где-то есть гармония на свете, / шаги в густом, медовом этом лете»*, – говорит поэт. Вот и книга Германа Власова – «шаги в лете», летопись лета и полёта. Лето у Власова – это даже не столько время года, сколько состояние души. У поэта и апрель, в сущности, лето, поскольку в водоёмах уже плещется «сестра, серебряная рыба золотая». Когда мы что-то по-настоящему любим, мы видим следы нашей любви везде, где только можно. Пианист Горовиц искал «Шопена» у всех композиторов, которых исполнял. Так вот, лето – это «Шопен» Германа Власова. Лирика Германа проявляет, скорее, даже не смыслы, а чувствования, ощущения, осязания. Природа словно бы «помогает» автору: так, кедры у него ловят радиосигналы мира своими хвойными антеннами.

Достаточно большое место в новой книге Германа Власова занимают переводы. Переводы помогают нам понять эстетические предпочтения, характерные для данного автора. Безусловно, для создания поэтического перевода так же необходимы и вдохновение, и творческое соревнование с текстом оригинала.

Русский переводчик, вдохновлённый иноязычным текстом, если он пишет ещё и собственные стихи, предстаёт перед творческой дилеммой: переводить чужое или написать своё. Вот Лермонтов, например, взял гётевские «Горные вершины» и написал свой шедевр. Переводы Германа Власова открываются стихотворением Мэри Элизабет Фрай «Не плачь, не стой у скорбных плит». Честно говоря, вначале я подумал, что Евгений Евтушенко позаимствовал его идею для своего известного стихотворения «Приходите ко мне на могилу, / На могилу, где нету меня». Уж очень похож лирический посыл там и там. Однако выяснилось, что он не мог этого сделать, поскольку Мэри Элизабет Фрай сама никогда не публиковала это стихотворение. Вот такие интересные вещи узнаёшь, читая книгу Германа Власова «Пузыри на асфальте».

В заключение, хочется сказать доброе слово об издателях книги. В непростое время «Друкарский двор Олега Фёдорова» поддерживает русскоязычную поэзию Украины, не забывая при этом и о лучших поэтах самой России. Вот и новая книга Германа Власова вышла в этом киевском издательстве. Вышли также книги Татьяны Вольтской, Евгения Чигрина и автора этих строк. Жизнь продолжается, и, может быть, всё не так плохо, как нам предоставляется в реалистично-пессимистичном видении мира. Бывает, что и творчество берёт верх над политикой.

«ШКАФ»

АЛЕКСАНДР РУДНЕВ

«ЗАЧЕМ МЫ, ПОЭТЫ, ЖИВЁМ?» о творчестве Ильи Рейдермана

Название книги стихов Ильи Рейдермана «Из глубины», вышедшей в издательстве «Алетейя» в Санкт-Петербурге в 2017 г., заставляет вспомнить заглавие известного произведения Оскара Уальда «De profundis»[1], с которой, правда, стихи И. Рейдермана не имеют ровным счётом ничего общего, но несомненно указывают на богатство культурно-исторических и литературных реминисценций.

Илья Исаакович Рейдерман принадлежит к числу тех ныне здравствующих поэтов, которых часто называют «поэтами милостью Божией». И это не для красного словца. Его поэзия – это в самом деле «именины сердца», если употребить известное выражение Гоголя. Принадлежа к старшему поколению, современник и сверстник Е. Евтушенко, А. Вознесенского, Р. Рождественского, Б. Ахмадулиной – последняя ему как-то ближе в отличие от других названных поэтов, – корни его творчества уходят почти целиком в поэзию русского «Серебряного века» и даже много раньше, и не случайно поэтому его называют «одним из последних с корабля великой русской поэзии».

По своей литературной позиции И. Рейдерман во многом консервативен и не приемлет многих современных новаций, в частности, активно не принимает постмодернизм, о чём он совершенно прямо заявил в своём «Интервью с самим собой», которое опубликовано в конце книги. И не случайно его стихи по своему строфическому и метрическому репертуару очень традиционны, очень классичны, мы бы сказали, – в лучшем смысле этого слова.

В отличие от большинства своих знаменитых и именитых столичных современников, он прожил всю свою большую 83-летнюю жизнь в разных провинциальных городах – в одном из маленьких городков Донбасса, а затем в Перми, но очень значительный по протяжённости кусок его жизни связан с «провинцией у моря» – пёстрой, шумной, колоритной Одессой и вне Одессы его, пожалуй, даже трудно себе и представить. В столицах он бывает, видимо, только наездами и такой способ существования и творчества ему, видимо, вполне по душе, а не просто потому, что так сложилась жизнь. Но по своему уровню это, конечно же, во всех отношениях столичный поэт – о какой бы то ни было периферийности, провинциальности, особенно, в одиозном смысле этого слова, здесь даже не может идти и речи.

По его собственному признанию, он всегда избегал литературных тусовок, хотя, конечно, раком-отшельником, по-видимому, тоже не был, а тусовки, как известно, очень любят многие литераторы – как столичные, так и провинциальные. И. Рейдерман предпочитает уединённое и углублённое, почти лишённое ярких внешних впечатлений, творчество. Поэтому он, очевидно, и смог так много сделать. Но был во многом одинок в своём времени, насколько можно судить, как это часто бывает у некоторых творчески одарённых и выделяющихся из толпы людей.

Его ранние поэтические опыты привлекли сочувственное внимание Анны Ахматовой, у которой он побывал в её последний приезд в Москву в 1966 году, Павла Антокольского, Анастасии Цветаевой, которая как-то написала ему; «Вы – замечательный поэт! <…> Порадуйтесь вместе со мной», Андрея Сергеева, которого Рейдерман почитал своим учителем и наставником, что в свою очередь вызвало одобрение всегда сдержанной на похвалы А. Ахматовой. О поэзии Рейдермана в переписке с автором доброжелательно отзывались

и не так давно ушедшая из жизни Инна Лиснянская, и известный критик и литературовед Ирина Роднянская, о нём писали и говорили известный современный поэт и прозаик Виктор Широков, искусствовед Елена Шелестова, писательница, кандидат филологических наук Вероника Коваль, литературный обозреватель журнала «Нева» Елена Зиновьева, писатель и критик Юрий Кувалдин, а также музыкант Юрий Дикий, руководитель миссии Святослава Рихтера и Давида Ойстраха в Одессе, петербургский врач, профессор медицины Андрей Гнездилов – и этот перечень можно было бы продолжать ещё долго.

Те, кто писал о поэзии И. Рейдермана, неизменно обращали внимание на значительное философско-интеллектуальное наполнение его стихов. «Философы были поэты, поэты были философы», – заметил по этому поводу известный философ, профессор В.Н. Порус.[2] И поставил И. Рейдермана в следующий в высшей степени достойный литературный ряд: «Державин, Баратынский, Тютчев, Бродский, Рейдерман».[3] Никто, я полагаю, не будет спорить с тем, что это дорогого стоит.

И читая, признаться, впервые стихотворения И. Рейдермана, я целиком и полностью присоединяюсь к такого рода высоким мнениям. И. Рейдерман, вне всякого сомнения, выдерживает сравнение и в определённом смысле даже конкуренцию с самыми великими классиками, хотя, как хорошо всем известно, существует огромное количество «поэтов хороших и разных», по известным словам В.В. Маяковского.

Но более всего исследователи и критики обращали внимание на глубинную внутреннюю связь поэзии И. Рейдермана с О. Мандельштамом, что видно даже на достаточно поверхностный взгляд. Поэтому совершенно справедливы слова известного пермского литературоведа, доктора филологических наук Р.С. Спивак, заметившей, что И. Рейдерман – позднеромантический поэт, наследник «серебряного века», обладатель редкого в наши дни высокого поэтического слова. Он странным образом существует где-то между символизмом и акмеизмом, пожалуй, ближе других ему Мандельштам, о чём свидетельствует беспримерное количество стихотворений, посвящённых ему или написанных под его эпиграфами».[4] И не случайно писавшие о И. Рейдермане замечали, что в его стихах эпиграф является как бы темой, а содержание самого стихотворения – вариацией на эту тему. Таким образом, можно увидеть, что стихи И. Рейдермана построены по принципу музыкального произведения, и сами по себе, по своей строфике и ритмике, по своим поэтическим образам в высшей степени музыкальны. Можно сказать даже, что поэзия и музыка здесь слились воедино, чего например, никак не скажешь о стихах (прежде всего детских) Корнея Чуковского, которые, напротив, поражают своей немузыкальностью, или исполненные внутренних диссонансов и определённой внутренней дисгармонией стихи Марины Цветаевой. О своей природной музыкальности и бесконечной любви к музыке поэт рассказал в своём очень интересном «Интервью с самим собой». И это настолько любопытно и показательно для него, что мы приведём этот фрагмент полностью; «В маленьком городке *(Дружковке на Донбассе – А.Р.)* можно было покупать книги. И пластинки. Праздником была покупка полукруглого чемоданчика – это был у нас уже не патефон, а как бы примитивный электропроигрыватель. И в дом вошли Моцарт и Бетховен. В маленькой комнате в коммунальной квартире по вечерам мы слушали музыку с мамой. Как сладко! Как мучительно! Я не мог заснуть и проигрывал в голове целые концерты для фортепиано и скрипки, хотя и вполне в духе великих авторов. Эта внутренняя музыка захватывала меня и днём. Музыкальное безумие продолжалось несколько лет. Мама мне рассказала, что в возрасте трёх с половиной лет она показала меня музыканту-профессору и тот сказал, что у мальчика абсолютный музыкальный слух, его обязательно нужно учить музыке. <…> Что такое абсолютный слух – я тоже не понимал. Потом я прочитал у Бориса Пастернака, как он забросил музыку, ибо вдруг узнал, что у него нет абсолютного слуха! Жаль ненаписанной музыки Пастернака. Что же касается меня – то из того, что я слышал внутри, я не мог записать ни единой ноты. Если я был рождён композитором, – то несостоявшуюся музыку заменила поэзия. Впоследствии я много лет не без успеха занимался музыкальной критикой»[5].

Мы уже сказали о том, что кумиром всей жизни и творчества И. Рейдермана всегда был Мандельштам. Но к этому мы бы добавили с полным основанием и имя Пастернака, который также и не менее, быть может, присутствует в поэзии И. Рейдермана со своей «пастернаковской» музыкальностью. Поэтому Рейдерман имел все основания написать:

Все стихи Мандельштама – написаны мной.
Я – безумец, ещё недобитый,
Что стоит перед той же китайской стеной,
И терзается той же обидой.

Или ещё более выразительно:

Пирую с вами посреди чумы!
Борис и Анна, Осип и Марина.
(как мне по имени окликнуть всех?)
Ввиду объявленного карантина,
Поговорить мы можем без помех.

Говоря собственно о поэзии И. Рейдермана, мы бы условно могли разделить то, что нам известно

из неё и вышло в рассматриваемую книгу, повторяем, очень условно, на три основных раздела.

Первый – это стихи с выраженным философско-интеллектуальным наполнением – они нам представляются наиболее характерными для поэзии И. Рейдермана. К ним относятся следующие стихотворения, вошедшие в книгу «Вместе»: «Спешим, а жизнь ветшает с каждым днём», «Умом своим мы дорожим, как домом», «Да, я умру – ведь всё живое хрупко».

Из книги «Боль»: «Вот человек – он нечто иль ничто?», «Душа – это что-то большое».

Из книги «Дело духа»: «На исходе седьмого десятка», «Порядок вещей», «Жить основательно на свете».

Из книги: «Надеяться на пониманье»: «Хайдеггер нам дал совет», «Экзистенциальные диалоги».

Вторая рубрика – это стихи с религиозными мотивами, вошедшие в книгу «Молчание Иова», особенно в раздел «Из подражаний Псалмам».

Третья – это стихи на музыкальные темы, отличающиеся почти акмеистической точностью, в духе Мандельштама: книга «Музыка» и в ней выделяются в наибольшей мере такие стихотворения, как «Любимый мой, о, Вольфганг Амадей», «Что на нотной полочке? Си бемоль?», «Владимиру Спивакову», «Моцарт», «Концерт № 23 ля мажор Моцарта», «Десятая симфония Дмитрия Шостаковича», «Дуди дружок, играй рожок», «Похороны охотника» (фантазия на тему первой симфонии Густава Малера) и др.

Затем следует раздел стихов о природе также с философскими вкраплениями и даже медитациями, написанных Рейдерманом с высоты своего жизненного и творческого опыта. В сборнике «Из глубины», где собраны стихотворения из разных книг, обращает особенно на себя внимание стихотворение «Человек, ты царь природы», отличающееся классической, почти пушкинской ясностью и прозрачностью и, одновременно, философической глубиной.

Побыть бы в осени невиданной,
в её природе необъятной,
чтоб в жизни – книге недочитанной, –
всё стало, наконец, понятным.
<…> Да, жизнь идёт к концу действительно,
мы мудрой учимся печали.
Душа измучена, но держится,
не ведая последних истин.
А может, истина забрезжится?
И взгляд прощальный бескорыстен.

И ещё одну рубрику мы хотели бы отметить, которая тоже, несомненно, выделяется в поэзии И. Рейдермана. Это – ряд стихотворений, посвящённых памяти ушедших, очевидно, многих близких ему людей; «Смерть поэта», «Год Пастернака», «Памяти Бориса Гашева», «Памяти Инны Лиснянской», «Марина Ивановна, знаете?» и др.

Таким образом, подводя резюме, следует сделать вывод о том, что перед нами – истинный, настоящий, подлинный поэт, который пусть и находясь уже на склоне лет, всё же полон творческой энергии и, стало быть, несомненно, молод душой, несмотря на естественную усталость от многих жизненных передряг.

От всего сердца мы желаем Илье Исааковичу Рейдерману доброго здоровья, душевного покоя (который пусть нам не только снится), если перефразировать известную строчку А. Блока из цикла «На поле Куликовом», и ещё желаем много, очень много столь же прекрасных, талантливых, классических стихов.

Примечания:
[1] Из глубины *(лат.)*
[2] И. Рейдерман. «Из глубины», с. 9.
[3] Там же.
[4] Цит. изд., с. 7.
[5] Цит. изд., с. 398-399.

ББК 84 (4 Укр-4 Оде) 62я45
Ю 195
УДК 821.161.1'06 (477.74) – 94

Підписано до друку 30.08.2021 р.
Формат 60х70/8. Гарнітура Garamond Narrow.
Папір офсет. Друк офсет. Ум. друк. арк. 23,00
Зам. 1450. Тираж 500 прим.

Видавництво КП ОМД (свід. ДК № 774 від 17.01.2002 р.)
Надруковано в КП «Одеська міська друкарня»
65012, Одеса, вул. Пантелеймонівська, 17